ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ ФИЛОСОФІЯ?



ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ ФИЛОСОФІЯ?

58 81

ЭТЮДЪ

В. ЛЕСЕВИЧА.

X

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1891.

1в

2-й экз.

Пров. 1959

Пр

Библиотека ООН
Академия наук СССР
011
49

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ ФИЛОСОФІЯ?

ГЛАВА I.

Введеніе.

Не разъ была уже повторяема исторія о томъ, какъ древняя всеобщая наука—философія постепенно выдѣляла изъ себя одну за другой отдѣльныя спеціальныя науки и какъ, въ концѣ-концовъ, содержаніе этой нѣкогда всеобщей носительницы знанія всецѣло ушло въ отдѣльные ручьи, такъ что ветхой деньми «наукѣ наукъ» предстояло или отождествиться съ общею ихъ совокупностью, или перестать существовать. О томъ, какъ разрѣшилась эта дилемма, мы скажемъ послѣ, а теперь остановимся только на той безспорной истинѣ, что рѣшеніе грядущей судьбы философіи, успѣвшей преодолѣть кризисъ, обусловленный отторженіемъ отъ нея отдѣльныхъ наукъ, должно воспослѣдовать не въ силу мечтательныхъ пареній, грёзъ, бреда, созерцанія, прозрѣнія или чего-нибудь подобнаго, а въ силу развитія положительнаго знанія, т. е. знанія, опирающагося на факты, имѣющаго своею основою данную опытомъ фактичность. Понятіе о такой философіи познанія или «научной философіи», угрожая празднoболтанію и мечтательности, встрѣчается, конечно, не особенно гостепріимно тамъ, гдѣ сила привычки, рутина, косность, мистическія блужданія сжились съ представленіемъ философіи, посягающей познать все вдругъ, стремящейся миновать

шими на ихъ долю, они знаютъ, что имъ доводится переживать такой кризисъ философіи, подобнаго которому нельзя отыскать въ прошедшемъ, а потому перипетіи этого кризиса и исходъ его поглощаютъ все ихъ вниманіе.

Философія въ прежнемъ значеніи этого слова перестала существовать; содержаніе ея разобрано по частямъ отдѣльными науками, послѣдняя изъ коихъ установилась на томъ остаткѣ всеобщаго знанія, который иные продолжаютъ и до сихъ поръ считать отдѣльною наукою.

Передъ тѣмъ, кто не раздѣляетъ такой иллюзіи, возникаетъ такимъ образомъ во всемъ своемъ объемѣ вопросъ о томъ, что же такое философія, гдѣ она, гдѣ должна быть? Разрѣшая этотъ вопросъ, приходится прежде всего выяснить границы, отдѣляющія историческое значеніе понятія философіи отъ того живого и дѣйствительнаго ея значенія, которое вытекаетъ изъ положенія вещей настоящаго времени и неуклонно требуется логикою, считающеюся съ этимъ положеніемъ. Очевидно, что если бы удалось опредѣленно обозначить эту разграничительную линію, то сдѣлалось бы возможнымъ представить времени экстенсивную сторону дѣла. Разъ воззрѣнія, составляющія содержаніе рутиннаго понятія философіи, будутъ признаны мнимыми, фиктивными, они навсегда перейдутъ въ пережитое преданіе и сами по себѣ станутъ уже предметомъ изученія, какъ симптомъ тѣхъ фазисовъ, черезъ которые проходило развитіе человѣческой мысли. Изъ достоянія мнимой науки симптомъ этотъ станетъ достояніемъ науки о мнимомъ, попадетъ въ вѣдѣніе той части психологіи, которая занимается изученіемъ первобытнаго мышленія и работа которой идетъ по пути, прямо противоположному тому, которымъ создалась мнимая наука. Тогда какъ эта послѣдняя заключалась въ систематизаціи мнимыхъ воззрѣній и иллюзорныхъ представленій, задачею положительной науки является разложеніе ихъ, опредѣленіе ихъ составныхъ элементовъ, указаніе ихъ психическихъ корней: тѣхъ стимуловъ, импульсовъ, эмоцій,—словомъ, всего того процесса, благодаря которому могли вырости и окрѣпнуть представленія и понятія, являющіяся теперь отжившими, отслужившими свою службу. Но

если жизнь какого-нибудь воззрѣнія будетъ прослѣжена отъ его колыбели и до могилы, если смерть его будетъ достодолжно констатирована, то что должны мы будемъ сказать о тѣхъ, которые станутъ брать его сюжетомъ своего рода сказки о бѣломъ бычкѣ? Томительный пересказъ пережитаго, подогрѣваемый или патологическими импульсами, или искусственнымъ паѳосомъ, можетъ, конечно, мѣтить только на людей соотвѣтственныхъ настроеній и серьезнаго значенія въ себѣ не заключаетъ. Давно, очень давно, еще въ XIII столѣтіи, была высказана мысль, что «желаніе послужить потомству не однимъ только многорѣчіемъ побуждаетъ къ изложенію мыслей, нетронутыхъ еще другими... Излишнія же рѣчи человѣка, занятаго повореніями, не приносятъ пользы, а могутъ лишь внушить отвращеніе». Еще опредѣленнѣе высказался одинъ изъ мыслителей нашего вѣка:

«...der menschliche Geist durchläuft in seiner Entfaltung
Ganz denselben Prozess wie der organische Leib.
Erst verzehrt er den Stoff heisshungrig und wandelt ihn in sich;
Hat er ihn assimilirt, wirft er das Unnütze weg.
. . . . . .
Aber wie in der Natur Schmeissfliegen verzehren den Unrath
Mit Appetit und Genuss, weisen Gesetzen gemäss,
Also...»

Итакъ, оставляя далеко за собой невразумительныя иллюзіи обаятельныхъ въ оное время глашатаевъ импровизированнаго знанія, философія при свѣтѣ критики и опорѣ положительной науки осмотрительно выступитъ на новый путь, новый—для философіи, старый—для опытнаго знанія,—путь, прославленный всѣми прочными завоеваніями человѣческаго ума и едва-едва извѣстный для представителей высшихъ обобщеній, такъ какъ только весьма небольшая группа мыслителей сдѣлала изъ него и путь философіи.

Новый штандпунктъ философіи является діаметрально противоположнымъ тому, на которомъ она стояла въ эпоху послѣднихъ для метафизики торжествъ по-Кантовской реакціи. Тогда Гегель восклицалъ, что онъ, подобно мореплавателю, долго носившемуся по бурному морю, видитъ, наконецъ, твердую землю, «настоящее отвлеченное мышленіе», мышленіе Декарта — первый шагъ къ его собственному «чистому умозрѣнію»; теперь «чистое умозрѣніе» заволоклось туманомъ, никакой твердой земли въ «настоящемъ отвлеченномъ мышленіи» не оказалось, миражъ исчезъ. Теперь не случайность должна открыть намъ «берегъ», «твердую землю», теперь мы твердо и сознательно вступаемъ на него и знаемъ, что на этомъ берегу, на этой «твердой землѣ» давно уже красуется несокрушимая работа цѣлаго ряда поколѣній, что дальнѣйшая работа трезвой человѣческой мысли будетъ идти или здѣсь, или нигдѣ.

Начало выработки указываемой нами точки зрѣнія восходитъ, какъ извѣстно, къ Локку и Юму; позже, подъ вліяніемъ успѣховъ положительнаго знанія, выработка эта идетъ все болѣе и болѣе твердою поступью; отдѣльныя науки крѣпнутъ и все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе тѣснятъ обособленную область философіи и, наконецъ, когда эта послѣдняя сводится къ одной теоріи познанія, возникаетъ вопросъ: что же станется съ философіей, когда и теорія познанія завоюетъ себѣ положеніе отдѣльной и самостоятельной науки?

Роль теоріи познанія, стоящей теперь на стражѣ научнаго духа философіи, опредѣлилась ясно. Когда подъ вліяніемъ успѣховъ психологіи она возросла и окрѣпла до значенія вполнѣ научнаго, отъ старой всеобъемлющей и не расчлененной науки— философіи — не осталось никакого обломка, которому можно было бы приписать свойства универсальнаго всеобъемлющаго познанія; мѣсто такого познанія занялъ рядъ отдѣльныхъ самостоятельныхъ наукъ, и философія — если ей хотѣли придавать прежнее значеніе — исчезла. Многіе мыслители оставили названіе философіи за теоріей познанія; другіе съузили такое значеніе теоріи познанія, придавъ ей названіе философіи въ тѣсномъ смыслѣ,—и самую философію отождествили съ наукой,

не тою или этою наукой, но наукой вообще, наукой въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; третьи, какъ мы и увидимъ въ послѣднихъ главахъ статьи, остановились только на этомъ послѣднемъ значеніи и окончательно отвергли возможность существованія философіи какъ отдѣльной науки. Намъ и предстоитъ ознакомить читателя съ фактами указываемой нами эволюціи. Извѣстное направленіе ея и характеръ заключительнаго ея момента мы приписываемъ воздѣйствію поднявшейся до высоты науки теоріи познанія. Она, какъ средоточіе критики всѣхъ научныхъ понятій, какъ провѣрочный пунктъ, гдѣ подвергали испытанію ихъ смыслъ и значеніе, привела, наконецъ, умы къ сознанію необходимости великой перемѣны,—необходимости разлуки съ одною изъ тѣхъ иллюзій, къ которымъ вѣковая привычка заставила относиться какъ къ чему-то необходимому, неизбѣжному. Стало ясно, что философія, древняя всенаука, распалась, разложилась, превратилась въ цѣлый рядъ твердо отграниченныхъ, самостоятельныхъ и опредѣленныхъ частей. Что же будетъ далѣе? Ужели жаждущіе познанія останутся безъ философіи? Нѣтъ, есть еще выходъ изъ этого кризиса,—воскликнули почитатели священной тѣни,—пусть философіей будетъ тотъ послѣдній обломокъ, который остался отъ распаденія старой всеобъемлющей науки. Ничего не значитъ, что эта новая философія является лишенною той гордости, которая внушала ея предшественницѣ сознаніе законодательствующей роли въ области знанія; ничего не значитъ, что скромная теорія познанія не живетъ уже мыслью о пренебреженіи къ опыту и о воздѣйствіи на познающую мысль посредствомъ какого-то превыспренняго созерцанія; все это не важно; лишь бы ничей кощунствующій языкъ не дерзнулъ произнести дерзкихъ словъ: философія болѣе не существуетъ! Всѣ эти опасенія были, однако же, совершенно напрасны: если философія перестала существовать какъ отдѣльная наука, то это не значитъ еще, что она исчезла. Ея нѣтъ здѣсь, нѣтъ тамъ; но за то она есть вездѣ, она есть во всякой отдѣльной наукѣ и во всѣхъ наукахъ вмѣстѣ; она есть вездѣ, гдѣ познаніе имѣетъ органическій ростъ, гдѣ она сливается въ обобщенія, гдѣ она поднимается

до отвлеченій, гдѣ она умѣетъ овладѣвать своимъ матеріаломъ и не застываетъ на первыхъ стадіяхъ своего роста. Философія, переставъ быть отдѣльною самостоятельною наукой, сдѣлалась мѣрою высоты и захвата познающей силы; она не отдѣляетъ себѣ особой области, не претендуетъ на отдѣльный объектъ и свой собственный методъ; но ей и не нужно всего этого: она опять стала наукой въ широкомъ значеніи этого слова, она опять получила значеніе познанія въ возвышеннѣйшемъ и прекраснѣйшемъ смыслѣ этого слова.

Можно сказать, нѣсколько измѣняя, впрочемъ, мысль одного поэтизирующаго мыслителя, что напрасно думаютъ, будто опытная наука—не вся наука, будто она только преддверіе ея и будто предстоитъ пройти не мало дверей, прежде чѣмъ удастся попасть въ самое святилище. И что же? Вступающій въ это святилище тотчасъ же можетъ замѣтить, что онъ очутился какъ разъ въ такомъ же положеніи, въ какомъ не разъ бывалъ посѣтитель храма Аммонъ-Ра, лицомъ къ лицу съ тайною, съ закрытымъ ковчежцемъ. Но вотъ гіерофантъ открываетъ ковчежецъ—и тамъ ровно ничего нѣтъ. Тогда только становится ясно, что поиски были направлены не въ ту сторону, что разгадка нигдѣ не лежитъ какъ кладъ, что поразившая насъ пустота содержанія того объекта, на который мы произвольно и неосмысленно возложили всѣ наши надежды, знаменуетъ ту великую полноту міра, который вѣчно раскрытъ нашему пытливому взору и отъ котораго мы отвращаемъ глаза свои только потому, что заранѣе рѣшили найти всеразрѣшающую разгадку тамъ, гдѣ царитъ безнадежнѣйшее ничто.

Если роль теоріи познанія въ выработкѣ того взгляда на философію, на который мы теперь указываемъ и который мы изложимъ позже съ большею полнотой, намѣчена нами вѣрно, то придется согласиться, что трудно преувеличить важность этой новой науки для всего современнаго научнаго строя. Сколько пустой, безполезной работы разъ навсегда устранено; сколько плодотворныхъ силъ направлено на вѣрный путь; сколько праздныхъ и безтолковыхъ споровъ обойдено! Иной скажетъ, пожалуй, что этой же цѣли достигъ и Ог. Контъ помимо всякой

теоріи познанія, къ чему же она? Но утвержденіе это будетъ большою ошибкой. Ог. Контъ не достигъ, а только хотѣлъ достигнуть этой цѣли; но его пріемъ именно и вскрывалъ причину его неудачи. Основоположенія Конта догматичностью своею производили впечатлѣніе какихъ-то внушенныхъ произволомъ декретовъ, да къ тому же, декреты эти никогда и не давали достаточно твердыхъ и опредѣленныхъ указаній и самъ законодатель путался именно въ томъ, что̀ законы его брались разъяснить вполнѣ и окончательно. Да и какъ же случилось, — спрашивалъ пытливый слушатель, — что изъ цѣпи фактовъ неизвѣстно почему оказалось вынутымъ звено? Развѣ актъ познанія — не фактъ, достойный изученія? Тамъ, гдѣ вопросы такого рода еще возможны, нѣтъ еще достиженія цѣли, указанной нами выше, нѣтъ завершенія эволюціи, о которой мы говоримъ.

Но, кромѣ общаго воздѣйствія на ходъ развитія понятія философіи въ новѣйшее время, теорія познанія имѣетъ еще и свое опредѣленное и важное значеніе и для каждаго отдѣльно взятаго момента развитія. Теорія познанія, какъ трибуналъ всѣхъ научныхъ понятій, становится основною дисциплиной научной философіи, и отсутствіе этой дисциплины, какъ то было много разъ указываемо, оказывается всегда не безнаказаннымъ ни для какой философіи, ни для какого отдѣльно взятаго философа.

Но, скажутъ намъ, слышатся голоса, могущіе служить предостереженіемъ относительно опасностей, лежащихъ на томъ пути, на который мы вступили,—говорятъ, что теорія познанія самымъ предательскимъ образомъ скрываетъ за собою метафизику, такъ что у поддающагося чарамъ новой сирены легко можетъ «увязнуть коготокъ» и самъ онъ неизбѣжно попадетъ во «власть тьмы». Н. Я. Гротъ, напримѣръ, утверждаетъ, что теорія познанія есть наука полуметафизическаго, полупсихологическаго характера, а г. Козловъ, какъ извѣстно, противникъ г. Грота, видитъ въ философіи двѣ неотдѣлимыя другъ отъ друга стороны: метафизику и теорію познанія и опредѣляетъ соотношенія этихъ сторонъ слѣдующимъ образомъ: «всякая философская система первоначально собираетъ и указываетъ факты познанія

(данность познаваемаго міра), далѣе переходитъ къ метафизикѣ или предположенію (гипотезѣ) о сущности міра и потомъ этою гипотезой повѣряетъ данное познаніе, т.-е. теорія познанія переходитъ въ метафизику и эта, въ свою очередь, опять въ теорію познанія» *). Профессоръ же Краковскаго университета Рациборскій приписываетъ мнѣніе о неуловимомъ переходѣ теоріи познанія въ метафизику не кому иному, какъ одному изъ представителей научной философіи, Фридриху Паульсену **). Какое значеніе имѣютъ эти предостереженія?

Что касается предостереженій со стороны гг. Грота и Козлова, то какой бы антагонизмъ ни раздѣлялъ ихъ, для насъ все же таки мнѣнія ихъ обоихъ одинаково не убѣдительны: г. Гротъ, увлекаясь своимъ псевдо-научнымъ неразличеніемъ мышленія и познанія, былъ неизбѣжно приведенъ къ отрицанію научной состоятельности «такъ называемой» теоріи познанія; онъ утверждаетъ, что если теорія познанія останавливается на такихъ вопросахъ, какъ вопросы о пространствѣ, времени, причинномъ отношеніи и т. д., то этого уже и достаточно, чтобы признать метафизичность однимъ изъ присущихъ ей свойствъ (стр. 13 и 15). И, однако же, въ другомъ мѣстѣ своей книги онъ съ полною опредѣленностью выясняетъ, что не содержаніе вопроса обусловливаетъ метафизичность его характера, а методъ его разрѣшенія. Онъ говоритъ, что метафизическія понятія о матеріи, о душѣ и т. д. составляютъ только опыты обработки отвлеченныхъ понятій,—опыты, которые всегда будутъ составлять лишь ступень къ развитію совершенно новыхъ образованій—научныхъ идей, построенныхъ при участіи вполнѣ научныхъ или «экспериментальныхъ» методовъ и исключающихъ всѣ тѣ субъективныя воздѣйствія нашихъ чувствъ, которыя играютъ еще весьма важную роль при первоначальной обработкѣ этихъ понятій (стр. 227). Изъ этого ясно видно, что теорія познанія можетъ обойтись и безъ «витанія въ области со-

*) Н. Гротъ: «Къ вопросу о реформѣ логики», стр. 13 и 15. А. Козловъ: «Очерки изъ исторіи философіи», стр. 6.

**) A. Raciborski: «Podstawy teoryi poznania w systemie logiki J. S. Milla». T. I, str. 28.

вершенно произвольныхъ отвлеченій» (стр. 47) и, слѣдовательно, можетъ стать изъ метафизической и полуметафизической вполнѣ научною. Да если бы этотъ счастливый исходъ не представлялся совершенно осуществимымъ, возможно ли бы было самому г. Гроту поставить рядомъ со своими психостатиками и психодинамиками собственную «свою теорію познанія»? Находя именно эту «свою теорію познанія» на стр. 221-й, мы не имѣемъ никакого права считать ее даже и полуметафизическою, а всенеизбѣжно признаемъ наукою въ полномъ значеніи этого слова. Само собою разумѣется при этомъ, что предостереженіе, внушаемое намъ реформированною логикой, теряетъ для насъ всякое значеніе. Еще менѣе внушительнымъ представляется намъ предостереженіе, исходящее со стороны г. Козлова. У этого мыслителя познаніе, едва вырвавшееся изъ объятій спеціально ему посвященной теоріи, кидается въ лоно метафизики и затѣмъ, тотчасъ же, безъ дальнѣйшихъ преліминаріевъ, ставитъ уже вопросъ о «сущности» міра. Но, спрашивается, при чемъ была тутъ теорія познанія, если она оставила эту злосчастную идею «сущности» безъ малѣйшаго съ своей стороны воздѣйствія и съумѣла сохранить за ней всю ту примитивность, которая была сообщена идеѣ породившимъ ее наивнымъ, обыденнымъ мышленіемъ? Если только таковъ результатъ скитанія идей отъ теоріи познанія къ метафизикѣ и обратно, то, повторяйся онъ три или трижды три раза, познаніе отъ того въ выигрышѣ все равно не останется. Теорія познанія такого пошиба, само собою разумѣется, всегда можетъ переходить въ метафизику, такъ какъ ее можно и совсѣмъ упразднить, нисколько не измѣняя плачевныхъ судебъ самого познанія. Изнываніе надъ вопросами о «сущностяхъ» и т. п. фикціяхъ, т.-е. погруженіе въ пучины метафизики, остается неотвратимымъ; но неотвратимое для показной теоріи познанія не остается неизбѣжно таковымъ же и для теоріи познанія реальной.

Переходя теперь къ замѣчанію г. Рациборскаго, мы для провѣрки его должны обратиться къ статьѣ, на которую ссылается Краковскій профессоръ, и удостовѣриться, правильно ли

сдѣлана ссылка. Ознакомленіе со статьей Паульсена, къ счастью для насъ, не будетъ экскурсіей въ какую-нибудь сопредѣльную область, а явится только пополненіемъ и завершеніемъ занимающаго насъ вопроса. Смѣемъ надѣяться поэтому, что читатель не посѣтуетъ на насъ за удлиненіе этой главы еще лишнею страницей

Статья Паульсена, появившаяся 11 лѣтъ тому назадъ въ философскомъ журналѣ Авенаріуса, тѣмъ для насъ и дорога, что съ первыхъ же страницъ устанавливаетъ чуждое всякимъ колебаніямъ различеніе всѣхъ философскихъ системъ на гносеологическія или критическія и догматическія или метафизическія. Основными вопросами системъ первой группы Паульсенъ считаетъ вопросъ о значеніи познанія и о происхожденіи его, основными вопросами системъ второй группы—проблему качества частей и состава цѣлаго. Уже въ этомъ, сдѣланномъ твердою рукой, подраздѣленіи видно ясное противопоставленіе теоріи познанія метафизикѣ; но различенія, сопутствующія общему изложенію теоріи Паульсена, отнимаютъ даже и малѣйшій поводъ къ какому бы то ни было недоразумѣнію. Паульсенъ начинаетъ съ того, что указываетъ на давленіе, претерпѣваемое теоріей познанія отъ метафизики вслѣдствіе предпочтенія, обычно отдаваемаго послѣдней. Тѣсное сближеніе этихъ двухъ дисциплинъ стѣсняло развитіе той, которой придавали подчиненное положеніе, потому что ее разрабатывали и цѣнили съ чуждой для нея точки зрѣнія. И между тѣмъ какъ всѣ отдѣльныя науки стали въ наше время до такой степени независимыми отъ метафизики и самостоятельными, что попытка опроверженія ихъ выводовъ при помощи вмѣненія имъ извѣстнаго вредоноснаго философскаго значенія показалась бы старосвѣтскою,—пріемъ этотъ считается и теперь еще имѣющимъ значеніе по отношенію къ теоріи познанія. Здѣсь остается и до сихъ поръ цѣлесообразнымъ указаніе на подозрительный характеръ выводовъ. Забота о томъ, что сенсуализмъ или эмпиризмъ ведутъ къ матеріализму и ниспроверженію всякаго идеализма, и что поэтому ихъ слѣдуетъ признать вредными независимо отъ вопроса о ихъ правильности, торчитъ еще во многихъ головахъ какъ первая гно-

сеологическая аксіома. Вторженіе подобныхъ притязаній могло бы встрѣтить большія препятствія, если бы теорія познанія, подобно физіологіи или астрономіи, была признана самостоятельною наукой, если бы и съ нея было снято обязательство служить какой-то «добропорядочной» философіи. И эта самостоятельность была бы признана, благодаря самостоятельности и имманентности образованія основныхъ понятій взаимно-противоположныхъ гносеологическихъ направленій. Эмпиризмъ и раціонализмъ представляютъ собою лишь различныя воззрѣнія на методъ познаванія и имѣютъ съ матеріализмомъ и спиритуализмомъ, напримѣръ, почти столько же общаго, какъ съ нептунизмомъ или вулканизмомъ. При этомъ могло бы быть признано еще, что теорія познанія занимается на самомъ дѣлѣ нѣкоторыми, во всякомъ случаѣ, очень близкими метафизикѣ вопросами,—вопросами, которые могутъ разсматриваться даже почти какъ вступительныя по отношенію къ ней изслѣдованія. «Различіе заключается, однако же, въ томъ, что мы, — говоритъ Паульсенъ, — даемъ указываемому соотношенію метафизики и теоріи познанія обратный смыслъ и признаемъ, что теорія познанія, также какъ и всѣ остальныя самостоятельныя науки, подвигаются впередъ совершенно независимо отъ метафизики, тогда какъ эта послѣдняя должна ожидать рѣшеній теоріи познанія и ранѣе не можетъ установиться какъ наука» *).

Переданный нами ходъ мыслей Паульсена ясно показываетъ, что г. Радиборскій читалъ цитированную имъ статью недостаточно внимательно. Различеніе теоріи познанія отъ метафизики проведено у Паульсена, какъ всякій согласится, вполнѣ ясно, и если метафизикѣ предоставлено ожидать рѣшеній теоріи познанія, чтобы стать наукой, то въ связи со всѣмъ предыдущимъ тутъ звучитъ такая иронія, подчеркивать которую мы считаемъ совершенно излишнимъ.

Не оставимъ, наконецъ, безъ опроверженія и еще одного замѣчанія, которое намъ случилось встрѣтить въ Revue phi-

*) Fr. Paulsen: «Ueber die principiellen Unterschiede erkenntniss-theorethischer Anschauungen» (Vierteljahrschrift für wiss. Philosophie, I Jahrgang, 2 Heft).

losophique. «Нельзя съ достаточною осторожностью вступать въ область метафизики,—сказано было тамъ,—будетъ ли цѣлью нашей лучшее разсмотрѣніе населяющихъ область эту сущностей, или изгнаніе ихъ». Замѣчаніе это является, очевидно, какъ результатъ крайне смутнаго понятія о теоріи познанія или даже совершеннаго невѣдѣнія ея. Наука мнимаго смѣшивается здѣсь съ наукою о мнимомъ и обѣимъ предписывается въ одномъ и томъ же смыслѣ благоразумная осторожность. Осторожность, конечно, въ научномъ дѣлѣ никогда не вредила, но если бы кто-нибудь вздумалъ ставить на одну доску какого-нибудь, положимъ, брамана, благоговѣйно вникающаго въ свои Веды, и истолковывающаго эти Веды санскритолога, тотъ сдѣлалъ бы, конечно, ту же ошибку, что и авторъ приведеннаго выше замѣчанія. Борьба съ метафизическими понятіями продолжается только до тѣхъ поръ, пока они сохраняютъ объективное значеніе. Лишаясь этого значенія, они, такъ сказать, выдыхаются. Съ этого момента они становятся предметомъ совершенно новаго и самостоятельнаго изслѣдованія, и тотъ, кто предается этому изслѣдованію, не становится ео ipso метафизикомъ, точно также какъ изслѣдователь психологіи младенческаго возраста не становится, благодаря роду своихъ занятій, младенцемъ.

Вырабатывая содержаніе теоріи познанія, какъ отдѣльной науки, и отрицая метафизику, научная философія, съ одной стороны, отымала у философіи стариннаго типа послѣднее ея достояніе, а съ другой—лишала крова и пріюта всѣ пустыя, безсодержательныя понятія и всякое вообще праздное разглагольствіе. Такимъ образомъ дѣло шло само собой, неудержимо и безповоротно, къ упраздненію философіи, какъ отдѣльной науки, въ силу раздѣла ея содержанія между выдѣлившимися изъ нея науками опредѣленнаго содержанія, и недопущенія возстановленія ея въ видѣ безпредметныхъ продуктовъ созерцанія и интуитивнаго постиженія. А такъ какъ этотъ раздѣлъ области познанія и это огражденіе ея отъ кочевыхъ скитальцевъ по безпредѣльнымъ пустынямъ мысли, залитымъ словеснымъ наводненіемъ, не упраздняло выработку тѣхъ обобщеній, которыя должны были являться результатомъ взаимной связи между от-

дѣльными науками, и такъ какъ обобщенія эти подъ зоркимъ глазомъ теоріи познанія могли безбоязненно подняться до тѣхъ высокихъ понятій, которыя имѣли въ виду всю совокупность содержанія наукъ, то, какъ то само собой и очевидно, философія, переставъ быть отдѣльною наукой, проникла собою всѣ науки, растворилась въ ихъ содержаніи, стала не наукою философіею, а философіею наукъ или научною философіею. Названіе это, такимъ образомъ, не придумано для нея, не присвоено ей произвольно, а естественно вытекло изъ того положенія вещей, среди коего такая философія возникла. Если и другія философскія направленія присвоили себѣ это названіе, то ихъ дѣло оправдать его, и все же таки, какъ бы они его ни оправдывали, право научной философіи въ объясненномъ выше смыслѣ называться такъ, какъ она себя называетъ, остается при ней и не представляетъ ничего невразумительнаго и загадочнаго для всякаго непредубѣжденнаго человѣка.

Итакъ, вопросъ нашъ: что такое научная философія? предполагаетъ такое значеніе, которое установится не на почвѣ, освобожденной только отъ мусора, оставшагося послѣ паденія метафизики, но также и отъ всѣхъ остатковъ философіи какъ отдѣльной науки, имѣющей свой особый объектъ, свой собственный методъ и т. д. Разсмотрѣніе разнообразныхъ опредѣленій метафизики и разнообразныхъ пріемовъ борьбы съ метафизикою, такъ или иначе понимаемою, должно явиться такимъ образомъ какъ преходящій фазисъ аргументаціи; фазисъ этотъ остается затѣмъ позади, какъ препобѣжденный, и на первый планъ выступаетъ преодолѣніе философіи какъ отдѣльной науки. Показать, какъ вырабатывалось устраненіе этого послѣдняго препятствія для рѣшенія нашего вопроса, и дать затѣмъ понятіе о самомъ его значеніи—вотъ задача, которую поставилъ себѣ авторъ этого этюда.

И если читатель пожелаетъ слѣдить за нимъ по тому пути, который онъ избралъ, то безпристрастное сужденіе о качествѣ его труда сдѣлается возможнымъ только при томъ условіи, если не станутъ требовать отъ него того, чего онъ не обѣщаетъ. Трудъ автора—не критическое изслѣдованіе, а этюдъ или аб-

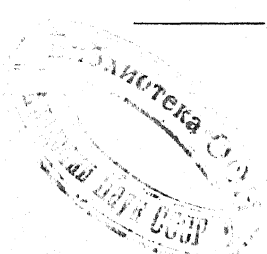
рисъ картины, долженствующей изобразить ходъ развитія избраннаго имъ понятія и окончательную его формулировку. Авторъ прибѣгаетъ къ критикѣ только тогда, когда онъ имѣетъ передъ собою уклоненія отъ пути, ведущаго къ рѣшенію его вопроса; но когда онъ, по устраненіи всѣхъ побочныхъ развѣтвленій, выходитъ, наконецъ, на путь, который онъ считаетъ вѣрнымъ, приводящимъ къ ясному, твердому и окончательному рѣшенію вопроса, онъ ограничивается только сопоставленіемъ резюме избранныхъ имъ авторовъ, дѣлаетъ изъ нихъ соотвѣтственныя выписки и изрѣдка прибѣгаетъ къ необходимымъ, по его мнѣнію, поясненіямъ и сближеніямъ. По самому характеру своей работы авторъ не пытается выставить какой-нибудь своей философіи, а даетъ лишь отчетъ о той, которая сложилась силою совокупной работы цѣлаго ряда поколѣній и путемъ взаимодѣйствія мыслителей различныхъ народностей. Такой общій сводъ свѣдѣній, собранныхъ авторомъ изъ первыхъ рукъ, представляется ему какъ соотвѣтствующій извѣстнымъ потребностямъ интересующихся философіей читателей и, во всякомъ случаѣ, является гораздо болѣе для нихъ поучительнымъ, чѣмъ предъявленіе какой бы то ни было индивидуальной философіи, ждущей еще санкціи компетентной и нелицепріятной критики.

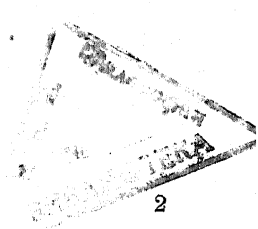
Все, на что при такихъ условіяхъ притязаетъ авторъ, заключается въ признаніи за нимъ скромной роли труженика, задумавшаго планъ предлагаемаго теперь читателю этюда, собравшаго для него матеріалъ и обработавшаго этотъ матеріалъ согласно требованіямъ намѣченной имъ цѣли. Выпуская трудъ свой въ свѣтъ, авторъ хорошо помнитъ то, что было высказано ранѣе его и бо̀льшимъ его, а именно: «до какой степени великъ рискъ всякаго рѣшающагося напечатать книгу, такъ какъ представляется изъ всѣхъ невозможностей невозможнѣйшею (de toda imposibilidad imposible) написать ее такъ, чтобы она удовлетворила всякаго, кто станетъ читать ее».

Въ заключеніе два слова о выполненіи указаннаго выше плана. Имѣя въ виду ознакомить читателя съ ходомъ выработки понятія научной философіи, мы сочли нужнымъ прослѣ-

дить предшествовавшія и родственныя ей направленія, выразившіяся во французскомъ и англійскомъ позитивизмѣ, и затѣмъ уже перейти къ современному состоянію ея въ Германіи. Мы рѣшились дать лишь общій очеркъ главныхъ явленій, относящихся къ нашей темѣ, и коснемся поэтому частностей лишь по стольку, по сколько то будетъ нужно для подкрѣпленія нашей основной мысли. На исчерпаніе чрезмѣрно обильнаго матеріала, представляемаго литературою нашей темы, мы не посягаемъ, а имѣли въ виду лишь дать читателю только то, что считаемъ совершенно необходимымъ для оріентировки среди разнообразныхъ философскихъ направленій, теченій и переживаній. И если такіе общіе контуры современнаго положенія нашего вопроса все же таки способны будутъ достигнуть намѣченной нами цѣли,—если читатель при нашей помощи въ состояніи будетъ дать себѣ совершенно опредѣленный отчетъ о томъ, какимъ образомъ научное установленіе теоріи познанія привело къ паденію обособленнаго положенія философіи, какъ отдѣльной науки, и дало въ результатѣ то общее понятіе, которое читатель встрѣтитъ въ послѣднихъ главахъ этого этюда, то мы не только получимъ право считать свой трудъ потраченнымъ не напрасно, но и останемся при пріятной надеждѣ, что тотъ, кто лучше насъ разрѣшитъ поставленный нами вопросъ, разрѣшитъ его окончательно.

1905





ГЛАВА II.

Огюстъ Контъ и его школа.

Общая совокупность отдѣльныхъ отраслей научнаго знанія въ то время, когда Ог. Контъ писалъ свой «Курсъ позитивной философіи», представляла картину весьма пеструю: однѣ науки находились уже въ фазисѣ зрѣлости, другія же не успѣли еще подняться такъ высоко и подчинялись вліянію метафизики, и отчасти даже и мистики. Если астрономія давно уже перестала быть астрологіей, а химія—алхиміей, то въ наукѣ о человѣкѣ, такъ же какъ и въ наукѣ объ обществѣ, не было и слѣда того кризиса, который предполагается перемѣною названія двухъ упомянутыхъ наукъ. Задумавъ установить систему общей совокупности положительнаго знанія, Ог. Контъ не былъ остановленъ, однако же, при осуществленіи своей мысли отсутствіемъ позитивности нѣкоторыхъ наукъ: онъ установилъ какъ принципъ,—а по мнѣнію его самого и его послѣдователей и какъ фактъ,—приложимость къ наукѣ о человѣкѣ и къ наукѣ объ обществѣ общаго для всѣхъ положительныхъ наукъ метода и, полагая, въ силу этого установленія, всѣ отдѣльныя отрасли знанія, возведенныя къ позитивности, связалъ ихъ посредствомъ опредѣленнаго соподчиненія и получилъ систему позитивныхъ наукъ, имѣющую, съ точки зрѣнія его самого и его школы, значеніе системы положительной, т.-е. научной философіи.

Отдѣльныя части позитивной системы расположены у Ог. Конта такъ, что общность и отвлеченность ихъ понятій представляетъ

рядъ ступеней, все выше и выше поднимающихся и завершающихся въ этомъ смыслѣ математикой, какъ наукой самыхъ общихъ и отвлеченныхъ понятій, точно такъ же, какъ по отношенію возрастающей сложности, онѣ завершаются соціологіей. Вѣрно-ли схвачено такимъ образомъ содержаніе философской системы? Исчерпывается-ли объемъ съ науками, взятыми Ог. Контомъ? Вотъ вопросы, которые самимъ Контомъ подняты не были и никогда ни однимъ позитивистомъ не были подвергнуты критическому изслѣдованію. Важность этихъ вопросовъ, очевидная сама по себѣ, тѣмъ болѣе бросается въ глаза, что «Курсъ позитивной философіи» содержитъ во введеніи или, по Конту—прелиминаріи цѣлый рядъ понятій (о границахъ научнаго изслѣдованія, относительности знанія, вещи въ себѣ, причинности, законѣ, явленіи и т. д.), которыя не могутъ быть отнесены ни къ одному изъ отдѣловъ системы и остаются внѣ всякой классификаціи. Что дѣлать съ этими понятіями, не помѣщающимися въ системѣ и неопредѣленно мелькающими въ ея преддверіи—остается неразрѣшеннымъ и дѣлаетъ и вопросъ объ объемѣ внутренняго содержанія системы открытымъ.

Неуклонная послѣдовательность должна была, конечно, побудить Ог. Конта возвести къ позитивности и ту науку, къ которой относились эти, по-неволѣ исключенныя изъ позитивной системы, понятія, точно такъ же, какъ онъ возвелъ къ позитивности соціологію; но, поступи онъ такъ, получилась бы новая положительная наука гносеологія, мѣста для которой въ іерархическомъ ряду не было и присутствіе которой нарушило бы эту, столь восхищающую позитивистовъ, возрастающую сложность и убывающую общность; и вотъ, fiat, призвавшее къ бытію эти послѣднія, явилось какъ pereat для той живой философіи, которая могла бы замѣнить собою мертвую схему.

Итакъ, въ идеѣ Конта съ перваго же шага не оказывалось того элемента, твердое обоснованіе котораго стояло на очереди у развивающейся научной философіи; къ несчастью, у него не могъ не отсутствовать и второй—твердое отграниченіе сферы положительнаго знанія отъ метафизики, невыполнимое безъ помощи теоріи познанія. Хотя знаменитый «законъ трехъ

состояній» и выполнялъ, повидимому, эту задачу, но, на самомъ дѣлѣ, даваемое имъ опредѣленіе метафизики было такъ шатко, что въ окончательномъ результатѣ должно было явиться нѣчто крайне смутное. Подъ метафизикою Контъ въ одно и то же время разумѣлъ: и общую совокупность воззрѣній (къ какой бы отдѣльной части схемы они ни относились), вырабатываемыхъ метафизическимъ методомъ, и всю совокупность собственно гносеологическихъ вопросовъ, которые при немъ представляли цѣлый рядъ метафизическихъ рѣшеній и потому казались вопросами чисто-метафизическими. Одно изъ этихъ рѣшеній, и именно второе, надо было отвергнуть, такъ какъ вопросы въ схемѣ Конта классифицировались не по характеру ихъ рѣшенія въ данное время, а по ихъ содержанію.

Давъ гносеологическимъ вопросамъ рѣшеніе научное, или оставивъ ихъ открытыми, т.-е. такъ или иначе отнявъ у нихъ ихъ условно-метафизическій характеръ, Ог. Контъ, оставшись лицомъ къ лицу съ объектами, къ которымъ вопросы эти относились, долженъ былъ найти имъ мѣсто въ своемъ іерархическомъ ряду и такимъ образомъ — свести содержаніе, считавшееся якобы метафизическимъ, къ научному содержанію позитивной гносеологіи. За предѣлы позитивной системы была бы отнесена такимъ образомъ одна только метафизика, а не метафизика вмѣстѣ съ гносеологіей и частью психологіи, какъ это случилось на самомъ дѣлѣ, и вся система были бы на болѣе вѣрномъ пути къ установленію правильнаго понятія философіи, нежели мы то видимъ въ настоящее время.

Все это ясно показываетъ, что Ог. Контъ не могъ не ошибаться, полагая, что ему удалось обосновать такое ученіе, принципы котораго навсегда останутся непреложными, которое, при дальнѣйшемъ своемъ развитіи, будетъ подвергаться однимъ только измѣненіямъ частнаго характера, нисколько не могущаго притязать на принципіальное значеніе. На самомъ дѣлѣ, въ его системѣ заключался самопобудительный моментъ къ чисто-принципіальному развитію,—это тѣ отрывки позитивной гносеологіи, о которой мы только что говорили; они-то и составляли тотъ зародышъ неизбѣжно присущаго всякому научному знанію

критицизма, какъ принципа, противополагающаго научное мышленіе обыденному и опредѣляющаго значеніе и условія развитія того психологическаго акта, который мы отличаемъ отъ непосредственнаго комбинированія представленій и называемъ познаваніемъ. Если бы философскія знанія и обусловленное ими философское развитіе стояли у Ог. Конта на высотѣ его природныхъ дарованій и могли бы служить опорою производительной силы его генія, тогда, конечно, необходимость постановки критическаго начала въ его системѣ, явившейся черезъ полвѣка послѣ «Критики чистаго разума», предстала бы передъ нимъ во всей своей ясности, и мы получили бы въ ней именно то, что̀ самъ онъ и его поклонники мнили и мнятъ въ ней видѣть; но такъ какъ, къ несчастью, философскія знанія Ог. Конта были скудны и философское его развитіе поэтому стояло на уровнѣ невысокомъ, то въ результатѣ и оказалось, что, кинувъ безсознательно двѣ-три бѣглыхъ критическихъ замѣтки, онъ всѣ свои силы потратилъ сперва на построеніе схемы, долженствовавшей при развитіи критическаго начала отойти на второй планъ, а потомъ и совсѣмъ сбился на безплодную работу реабилитаціи мистицизма,—работу, въ которой только по временамъ можно наблюдать проблески его генія, сгубившаго себя ложнымъ направленіемъ, принятымъ съ первыхъ же шаговъ вступленія на путь философствованія, не освѣщенный свѣтомъ критики.

Отсутствіе философской критики въ системѣ Ог. Конта является прежде всего причиною того явнаго внутренняго противорѣчія, благодаря которому позитивная система, необходимо обязанная своимъ возникновеніемъ и развитіемъ возмужалой порѣ человѣческаго разума, производитъ, однако же, впечатлѣніе ученія, какъ бы задавшагося мыслью принизить значеніе разума, ограничить его силы, не дать хода его развитію. Впечатлѣніе это естественно возникаетъ изъ того обстоятельства, что такъ какъ въ системѣ Конта не существуетъ критическаго изслѣдованія условій познаванія, то въ ней нѣтъ и критики понятій, а поэтому и не выяснено: соотвѣтствуютъ-ли понятіямъ реальные объекты или нѣтъ; если соотвѣтствуютъ, то какимъ образомъ—

посредственно или непосредственно, и, наконецъ, соотвѣтствуютъ-ли всѣмъ понятіямъ или только нѣкоторымъ, и какимъ именно. Если бы всѣ эти вопросы Ог. Контомъ были рѣшены, то ему не пришлось бы устанавливать догматически какіе-то шлагбаумы, окружающіе со всѣхъ сторонъ область знанія, и возвѣщать разуму—вотъ границы, ихъ же не прейдеши. И безъ этой, такъ непріятно дѣйствующей на философскіе умы регламентаціи, въ силу одного только освѣщенія поля знанія философской критикою, было бы видно все, доступное изслѣдованію, и всѣ пути, ведущіе къ достовѣрному и прочному рѣшенію вопросовъ; а главное, безъ этого не пришлось бы принимать декораціи городовъ за самые города, не пришлось бы горевать о томъ, что намъ нельзя поселиться въ этихъ городахъ: все это стало бы совершенно излишнимъ и въ послѣдней степени наивнымъ.

Такимъ образомъ и стало ясно, что Ог. Контъ, при всей своей геніальности, потерпѣлъ неудачу. Онъ хоть и угадалъ, что впредь философія должна строиться на научныхъ основахъ, но, взявшись за дѣло, съ перваго же шага пошелъ по старой тропѣ догматизма и вмѣсто системы научной философіи далъ намъ схему наукъ, въ которую едва-едва вкраплены намеки на философскій критицизмъ и которая слишкомъ часто перегибается въ наивный реализмъ, лишающій ее значительной доли того философскаго значенія, какое она могла бы получить въ рукахъ мыслителя, соединяющаго въ себѣ съ природною силою достодолжную философскую подготовку.

Итакъ, главное достоинство позитивизма заключается въ тѣхъ зачаткахъ критики, которые въ немъ содержатся и которые мы всегда считали способными къ дальнѣйшему развитію. Оцѣнивъ позитивизмъ съ этой точки зрѣнія, удерживаемой нами и теперь, мы останавливались главнымъ образомъ на «законѣ трехъ состояній», соподчиненію стадій котораго придавали особенную важность, и утверждали, что сопоставленіе научнаго міровоззрѣнія съ метафизическимъ, формулированное въ этомъ законѣ, приводитъ насъ къ оцѣнкѣ значенія критическаго начала, присущаго первому, какъ основанному на наукѣ.

Опираясь на него, мы имѣемъ возможность предохранить себя отъ вторженія въ строй нашихъ понятій всего того, что вырабатывается непосредственнымъ мышленіемъ и что всегда является болѣе или менѣе сплошнымъ міромъ призраковъ, болѣе или менѣе цѣльною иллюзіею. Какъ ни представляется гармоничнымъ, сложнымъ, тонкимъ, глубокимъ, а иногда величественнымъ строй этихъ призраковъ и иллюзій въ различныхъ метафизическихъ системахъ, но критика преодолѣваетъ производимое ими обаяніе, твердо устанавливаетъ качественное тождество между ними и пестренькими продуктами обыденнаго мышленія и доводитъ до очевидности отсутствіе въ нихъ всякаго реальнаго содержанія. Точно также поступаетъ она и по отношенію къ міроразумѣнію супра-натуральному, о которомъ, впрочемъ, не стоитъ распространяться, такъ какъ еще въ древности рѣшено было, что въ философскомъ изслѣдованіи не приходится и упоминать о тѣхъ воззрѣніяхъ, которыя облекаются въ миѳическія формы (Аристотель). Объ этихъ формахъ, само собою разумѣется, не можетъ быть и рѣчи тамъ, гдѣ не могутъ устоять и формы умозрительныя, и гдѣ единственнымъ источникомъ содержанія понятій признается наблюденіе и опытъ, проведенные согласно всѣмъ требованіямъ научнаго метода. Изъ этого видно, что законъ трехъ состояній—каково бы тамъ ни было его соціологическое значеніе — имѣетъ въ области теоріи познанія большую важность. Устанавливая противоположность непосредственнаго, обыденнаго мышленія мышленію научному, онъ даетъ начало въ высшей степени плодотворному анализу, задача котораго заключается въ исчерпаніи всѣхъ чертъ различія указанныхъ двухъ направленій мысли и вырабатываемыхъ ими міроразумѣній.

Укажемъ теперь только на основныя черты этого различія. Мышленіе, какъ непосредственный психическій процессъ, образуетъ представленія безсознательно и затѣмъ столь же безсознательно ассоціируетъ представленія въ обобщенія, т.-е. въ понятія. Безсознательность этой работы естественно ведетъ къ несознаваемости различія между представленіями и выработанными изъ нихъ понятіями и, затѣмъ, производитъ и другое смѣшеніе, а именно: смѣшеніе непосредственнаго соотвѣтствія представленій

объектамъ съ посредственнымъ соотвѣтствіемъ имъ понятій. Смѣшеніе это, очевидно, производитъ постоянную подтасовку представленій вмѣсто понятій и, такимъ образомъ, навязываетъ понятіямъ мнимые, измышляемые объекты, т.-е. даетъ начало цѣлому ряду призраковъ. Совсѣмъ иной характеръ имѣетъ сознательная работа научнаго мышленія или познаванія: вырабатывая представленія не иначе, какъ изъ данныхъ воспріятія, образуя понятія не иначе, какъ изъ цѣлесообразно ассоціированныхъ представленій, познаваніе является упорядоченнымъ мышленіемъ,—мышленіемъ, подчиненнымъ объективнымъ условіямъ и имѣющимъ свое выраженіе въ научномъ методѣ. Познаваніе, такимъ образомъ, достигаетъ знанія при помощи регулированія субъективнаго процесса мышленія; оно, при посредствѣ подчиненія мышленія объективнымъ условіямъ, привязываетъ его къ почвѣ дѣйствительности и обезпечиваетъ его отъ гибели въ неизбѣжномъ, при безсознательности процесса мышленія, мірѣ призраковъ.

У Ог. Конта есть два рода продолжателей: одни разрабатываютъ всю его мистико-догматическую систему, какъ Лафитъ во Франціи, Конгревъ и Гаррисонъ въ Англіи; другіе же, отвергнувъ мистическую часть системы, остановились надъ продолженіемъ работы Конта исключительно въ области «системы позитивной философіи». Послѣдніе, во главѣ которыхъ стоялъ извѣстный ученый Эмиль Литтрѐ, составляютъ небольшую группу, состоящую изъ французовъ и двухъ-трехъ иностранцевъ. Группа эта успѣла воздѣйствовать въ извѣстной мѣрѣ на наслѣдіе «учителя» и придать позитивизму нѣкоторый оттѣнокъ, отличающій новый позитивизмъ отъ позитивизма собственно Контовскаго. Послѣдователи ея получили въ послѣднее время названіе литтреистовъ *).

Проходя молчаніемъ позитивистовъ-мистиковъ, я остановлюсь только надъ позитивистами группы Литтрѐ и укажу на главный результатъ ихъ вліянія какъ на самое ученіе Ог. Конта, такъ

*) См. «Le Positivisme par André Poëy», Paris, 1876 г.

и на распространеніе его за предѣлы тѣснаго кружка мѣстныхъ почитателей этого философа.

Я начну, разумѣется, съ главы группы, Литтрѐ. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что, отвергнувъ мистическую часть системы Конта, Литтрѐ обнаружилъ проницательность философскаго взгляда и избралъ вѣрный путь для дальнѣйшаго развитія позитивной философіи; при ближайшемъ же разсмотрѣніи того, что сдѣлалъ Литтрѐ, обнаруживается половинчатость, неопредѣленность и наслѣдственное у позитивистовъ невѣдѣніе критической философіи. Литтрѐ поступилъ, конечно, правильно, отвергнувъ мистическую часть Контовой системы; но шагъ этотъ стимулировался только отвращеніемъ къ мистикѣ и не имѣлъ болѣе глубокихъ корней, именно такихъ, которые, уходя далеко въ философскую почву, всасывали бы критическіе ея элементы, обходя элементы догматическіе и доставляя, такимъ образомъ, системѣ такое питаніе, которое все болѣе и болѣе развивало бы въ ней часть критическую на счетъ части догматической и неудержимо влекло бы позитивизмъ къ новому, болѣе зрѣлому фазису. Ни на что подобное у Литтрѐ нѣтъ и намека. У него только и хватило силъ на сверженіе гнета мистицизма, но о гнетѣ догматизма онъ никогда и не думалъ. Мало того, онъ даже проглядѣлъ и тѣ зачатки критицизма, которые безсознательно были брошены Контомъ въ двухъ первыхъ и трехъ послѣднихъ лекціяхъ его «Курса». Чуждый критической философіи, какъ и Контъ, Литтрѐ, кромѣ того, не обладалъ его геніемъ и, имѣя на плечахъ колоссальную и кропотливую ученую работу, неизбѣжно болѣе чѣмъ его учитель остался пригвожденнымъ къ частностямъ, отъ которыхъ ему не особенно легко было подыматься до обобщеній. Въ силу такихъ условій, Литтрѐ какъ-то особенно цѣпко ухватился за Контовскую схему, провозгласилъ ее полною, довлѣющею себѣ философскою системою, увидѣлъ въ ней и готовое ученіе, и готовый методъ, словомъ, альфу и омегу всей философіи. Онъ, такимъ образомъ, свелъ къ нулю свое же собственное мнѣніе о томъ, что Ог. Контъ поставилъ позитивистовъ лишь на порогѣ философіи и что все предстоитъ передѣлать за-ново. Когда на самомъ дѣлѣ до-

ходило до передѣлки, то Литтрѐ ограничивался частностями и мелочами, не имѣвшими ровно никакого философскаго значенія или приводившими къ страннымъ несообразностямъ, въ родѣ «Appendice de la philosophie positive», и т. п. Чтобы еще ярче очертить характеръ ума Литтрѐ, остановимся на томъ истинно-поразительномъ для философа взглядѣ, который онъ высказалъ о роли вопроса объ абсолютѣ въ философіи. Замѣтимъ прежде всего, что ставить вопросъ объ абсолютѣ для Литтрѐ представляется тождественнымъ съ постановкою вопроса о началѣ и концѣ міра,—другого значенія онъ не знаетъ или не хочетъ знать. Знаніе о началѣ и концѣ міра онъ, само собою разумѣется, признаетъ для человѣческаго ума недоступнымъ; но недоступнымъ почему? Кто могъ бы угадать? «L'origine des choses, nous n'y avons pas été; la fin des choses, nous n'y sommes pas; nous n'avons donc aucun moyen de connaître ni cette origine, ni cette fin» *).

Очень ошибся бы тотъ, кто сталъ бы настаивать на отнесеніи такого рода аргументовъ на счетъ Ог. Конта. Литтрѐ просто-на-просто забылъ, что основатель позитивной философіи ясно различалъ непосредственное знаніе отъ знанія посредственнаго и въ выработкѣ послѣдняго видѣлъ назначеніе науки **). Очевидно, что упадокъ Контовой философіи сказался уже тутъ совершенно явно и что изгнаніе теоріи познанія на колеблющуюся почву смутной «Appendice» успѣло уже принести свои первые плоды.

Хотя попятное движеніе позитивной философіи началось уже при Литтрѐ, но—надо отдать ему справедливость—оно не дошло еще до подавленія того послѣдняго зародыша, который хранилъ еще въ себѣ возможность дальнѣйшаго развитія критическаго начала въ нѣдрахъ Контовой философіи. Соредакторъ Литтрѐ г. Вырубовъ, низводя къ нулю послѣдній остатокъ наслѣдія Конта, довершаетъ дѣло Литтрѐ, и затѣмъ настаетъ въ

*) «Auguste Comte et la philosophie positive» par E. Littré. Paris, 1863, p. 107.

**) Auguste Comte. «Cours» I, p. 98.

позитивной философіи такой разбродъ, выходъ изъ котораго могъ повести только въ область новой метафизики, которую можно называть позитивною, научною или какъ угодно, но которая все же таки останется пристанищемъ пустыхъ, безсодержательныхъ понятій и по отношенію къ позитивной философіи представляется какъ ея полное извращеніе. Дѣло г. Вырубова, главнымъ образомъ, заключалось въ окончательномъ спутываніи основныхъ понятій и безповоротномъ пресѣченіи возможности выработки сколько-нибудь осмысленной теоріи познанія. Яркимъ примѣромъ такого спутыванія является тотъ опытъ классификаціи геологіи, какъ науки, на который мы имѣли уже случай указать въ одной изъ нашихъ предшествовавшихъ работъ.

«Если геологія есть наука конкретная—въ чемъ для читателя нѣтъ, я думаю, сомнѣнія—то съ какой изъ абстрактныхъ наукъ слѣдуетъ связать ее?—спрашиваетъ г. Вырубовъ.—Разнохарактерность геологіи — отвѣчаетъ онъ—дѣлаетъ этотъ вопросъ не легкимъ, и для разрѣшенія его намъ слѣдуетъ руководствоваться той объективной точкой зрѣнія, которой постоянно держится позитивная философіи. А съ этой точки зрѣнія предметъ геологіи представляется совершенно инымъ, чѣмъ съ точки зрѣнія субъективной: для человѣка земля есть міръ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, міръ разнообразный, разнохарактерный, представляющій безконечное поле для изученія почти по всѣмъ отраслямъ наукъ; но этотъ же міръ, взятый какъ часть міра болѣе обширнаго, какъ часть познаваемой дѣйствительности, есть единица, индивидъ, отличающійся отъ прочихъ единицъ и индивидовъ, наполняющихъ пространство, нѣкоторыми частными свойствами».

«Земля—планета. Это показываетъ уже, что существуетъ цѣлая группа небесныхъ тѣлъ, отличающихся отъ прочихъ извѣстными, опредѣленными свойствами, которыя присущи также и землѣ. Пользуясь терминомъ, очень часто употребляющимся въ конкретныхъ наукахъ, мы можемъ сказать, что планеты составляютъ родъ, къ которому и должна быть отнесена земля какъ индивидъ. Но самая идея индивида предполагаетъ уже существованіе нѣкоторыхъ особенныхъ свойствъ болѣе част-

ныхъ, чѣмъ свойства, одинаково принадлежащія всему роду. Остается только опредѣлить свойства эти изученіемъ даннаго индивида. Очевидно, однако же, что каковы бы ни были эти характеристическія черты индивида, какъ бы онѣ ни были сложны и разнообразны, изученіе ихъ, однако же, получитъ характеръ однородности и единства, по той причинѣ, что всѣ эти частности будутъ связываться съ основными родовыми свойствами, которыя и опредѣляютъ общее значеніе и характеръ той конкретной науки, которая сложится изъ общей совокупности результатовъ изученія какъ родовыхъ, такъ и индивидуальныхъ свойствъ изучаемаго предмета, т.-е. земли. Общее значеніе и характеръ геологіи, слѣдовательно, опредѣляется тою точкою зрѣнія, съ которой мы разсматриваемъ землю какъ планету, какъ индивидъ небеснаго пространства. Излишне добавлять послѣ этого, что геологія, съ этой точки зрѣнія, есть конкретная астрономія».

Сообразно такому понятію объ астрономіи, г. Вырубовъ пріурочиваетъ ее, во-1-хъ, къ абстрактной классификаціи и, во-2-хъ, классифицируетъ части ея въ рядъ, параллельный ряду этой послѣдней. «Рядъ, получаемый такимъ образомъ—говоритъ онъ—тождественъ съ рядомъ абстрактныхъ наукъ... и если этотъ рядъ вѣренъ, то вѣренъ и онъ» *).

Чтобы оцѣнить значеніе опыта классификаціи г. Вырубова, припомнимъ прежде всего, что Ог. Контъ признавалъ только связь геологіи, какъ конкретной науки, со всею совокупностью наукъ абстрактныхъ, и понималъ эту связь, само собою разумѣется, какъ выраженіе зависимости конкретныхъ наукъ отъ абстрактнаго ряда **), но не обусловливалъ единства ея необходимостью пріуроченья ея къ какой-нибудь абстрактной наукѣ. Напротивъ того, онъ рѣшительно противополагаетъ и взгляды и методы абстрактныхъ наукъ взглядамъ и методамъ наукъ конкретныхъ и на этомъ основаніи требуетъ отъ послѣднихъ непремѣнной одновременности изслѣдованія всѣхъ родовъ

*) «Qu'est ce que la géologie?» La philosophie positive, Revue, 1867, № 1.
**) Comte, «Cours», I, p. 58.

элементарныхъ явленій. Поэтому-то онъ и находитъ, что, «если бы и было невозможно представить себѣ дѣйствительную (т.-е. неабстрактную) исторію человѣчества отрозненно отъ дѣйствительной исторіи земного шара, неизбѣжнаго театра его прогрессивной дѣятельности, въ высокой степени вліявшаго всѣми происходившими на немъ перемѣнами на ходъ событій человѣческой жизни, даже начиная съ того времени, когда физическія и химическія условія нашей планеты допускали возможность непрерывнаго существованія человѣка, то не менѣе вѣрно въ обратномъ смыслѣ, что всякая истинная исторія земли непремѣнно требуетъ одновременнаго разсмотрѣнія, въ какомъ-либо объемѣ, исторіи человѣчества, по причинѣ могущественнаго воздѣйствія, непрестанно притомъ же возрастающаго, оказываемаго развитіемъ нашей дѣятельности во всѣ эпохи соціальной жизни на многоразличное измѣненіе общаго вида земной поверхности» *). Это соображеніе еще болѣе подтверждаетъ, что одновременность въ изслѣдованіи предмета со всѣхъ точекъ зрѣнія, какія послѣдовательно даются абстрактными науками, составляетъ, съ несомнѣнно правильной точки зрѣнія Ог. Конта, единственное условіе, которое должна соблюсти конкретная наука. Можно заключить изъ этого, что единство каждой изъ конкретныхъ наукъ достаточно опредѣляется единствомъ соотвѣтственнаго предмета и нисколько не требуетъ спеціальнаго подчиненія каждой конкретной какой-либо наукѣ абстрактной. Такое подчиненіе, въ данномъ случаѣ, превращая геологію въ конкретную астрономію, неизбѣжно установляетъ въ ней и преобладаніе астрономической точки зрѣнія, какъ то и явствуетъ изъ статьи г. Вырубова. Основная мысль этой статьи рѣзко противорѣчитъ руководящему принципу преобладанія той точки зрѣнія, которая была установлена Ог. Контомъ для всей системы. Что же касается внутренняго распредѣленія частей, слѣдующаго градаціи абстрактныхъ наукъ, то оно, съ одной стороны, противорѣчитъ принципу противоположности точекъ зрѣнія абстрактныхъ и конкретныхъ наукъ, съ другой—неиз-

*) Id. V, p. 15.

бѣжно извращено преобладаніемъ астрономической точки зрѣнія, долженствующей гоняться за химерическою, какъ сказалъ бы Ог. Контъ, характеристикою земли, какъ индивида небеснаго пространства, и жертвовать этой химерѣ изученіемъ земли, какъ жилища человѣчества. Такимъ ли образомъ воспользуемся мы долею свободы при разработкѣ научныхъ вопросовъ, по отношенію къ ихъ назначенію, которое, по идеѣ Ог. Конта, всегда окончательно имѣетъ въ виду человѣчество? И не впадемъ-ли мы въ сухое позитивное доктринерство, если, забывая о живой сторонѣ Контовскаго ученія, станемъ все подчинять идеѣ схематизма и распространять владычество этой идеи даже и тамъ, гдѣ его не допускалъ самъ Ог. Контъ?

И зачѣмъ это понадобилось г. Вырубову во что бы то ни стало, вопреки основоначаламъ учителя его Ог. Конта, превращать геологію въ конкретную астрономію, когда конкретная астрономія существуетъ уже самобытно и безыскусственно и блистательно развивается при помощи спектральнаго анализа, фотометріи, фотографіи и анализа метеоритовъ? И не для позитивиста должно быть очевидно, что эта наука—реальная, а не фантастическая—охватываетъ и изслѣдованіе земли какъ небеснаго тѣла, и что въ этомъ отношеніи только землеизученіе, какъ часть конкретной астрономіи, подчиняется астрономической точкѣ зрѣнія. И если бы мы ограничились тѣмъ, что возвели часть эту въ самостоятельную науку, то тѣмъ показали бы только, что не видимъ никакого различія между изученіемъ земли и изученіемъ Марса, Сатурна и т. д., и, послѣдовательности ради, должны бы рядомъ съ геологіей поставить марсологію, сатурнологію и т. д., Ог. Контъ, какъ мы видѣли, не открываетъ путей для такихъ пустыхъ построеній, и послѣдовательность, которую онъ можетъ требовать, не ведетъ въ безплодныя пустыни фиктивныхъ наукъ. Возводя геологію въ самостоятельную науку, мы, согласно основоначаламъ Ог. Конта, ни въ какомъ случаѣ не можемъ сдѣлать изъ нея мертворожденнаго дѣтища абстрактной астрономіи, а должны пріобрѣсти въ ней одинъ изъ элементовъ прямого основанія дѣятельности,—мелочь, которую только и позабылъ г. Вырубовъ.

Кульминаціоннымъ же пунктомъ губительнаго для позитивной философіи вліянія г. Вырубова можно считать замѣну противопоставленія относительнаго знанія знанію абсолютному простымъ сопоставленіемъ того и другого; г. Вырубовъ различаетъ одно отъ другого только по степени присущей имъ достовѣрности, отождествляетъ абсолютное знаніе съ знаніемъ вполнѣ достовѣрнымъ, а знаніе относительное—съ не вполнѣ достовѣрнымъ, съ знаніемъ вѣроятнымъ *). Такъ какъ при этомъ относительному знанію приписывается развитіе, цѣль котораго есть достиженіе абсолютности, то такимъ образомъ не только критическое начало, не совсѣмъ чуждое системѣ Ог. Конта, но и тѣнь его, мелькающая въ разсужденіяхъ Литтрѐ, окончательно отрицаются. Это отрицаніе, могущее показаться довольно аляповатымъ, негодно еще въ томъ отношеніи, что произвольно даетъ термину, имѣющему для всякаго европейскаго философа опредѣленное значеніе, произвольное объясненіе и такимъ образомъ вводитъ въ позитивизмъ ту неопредѣленность и путаницу, которая можетъ быть терпима только въ обыденномъ мышленіи и для всякой философской системы представляетъ симптомъ серьезнаго поврежденія.

Нечего удивляться послѣ этого, если г-ну де-Роберти,—соревнователю и поклоннику г. Вырубова, прозрѣвающему въ его статейкахъ какую-то «беременность» важными и непредвидѣнными результатами—могло придти на мысль рядомъ съ «закономъ трехъ состояній» Ог. Конта поставить свой законъ трехъ состояній метафизики,—законъ, долженствующій, будто бы, опредѣлить, что «матеріализмъ, идеализмъ и сенсуализмъ» исчерпываютъ содержаніе метафизики и служатъ тѣми основными признаками, въ которыхъ выражается противоположеніе метафизической философіи—философіи минувшаго—и позитивной философіи—философіи будущаго. Программу этой послѣдней, стремящейся къ «созерцанію» какого-то «единства» онъ и пытается предначертать.

---

*) G. Wyrouboff, «Le certain et le probable, l'absolu et le relatif». (La phil. pos. Revue. 1867. № 2).

Присмотримся ближе къ его разсужденіямъ.

Точка зрѣнія Конта, какъ мы выяснили выше, не находитъ отвѣта на вопросъ о томъ, слѣдуетъ-ли подъ метафизикой разумѣть тѣ положенія, которыя имѣютъ въ виду фиктивные объекты—сущности или тѣ, которыя, хотя и мѣтятъ на объекты реальные, обрабатываются, однако же, ложнымъ методомъ и даютъ поэтому фиктивные результаты. Недостатокъ этотъ, при всей своей многозначительности, не принадлежитъ, конечно, къ числу неустранимыхъ, и нельзя не видѣть теперь, что устраненіе его или, соотносительно—укрѣпленіе позитивизма гносеологическими устоями и составляетъ главную задачу тѣхъ, которые имѣли мужество взяться за дальнѣйшее развитіе позитивнаго ученія. Очевидно, что при такихъ условіяхъ неосмысленная подражательность Конту была тѣмъ неумѣстнѣе, чѣмъ болѣе она гналась за внѣшнимъ сходствомъ, чѣмъ ближе повторяла она вслѣдъ за Контомъ его термины и выраженія, чѣмъ старательнѣе пыталась ограничить свою задачу однимъ, такъ сказать, передразниваніемъ Конта. И что же является результатомъ этого неудовлетворительнаго пріема? «Законъ трехъ состояній метафизики»: втискиваніе «матеріализма, идеализма и сенсуализма» въ одну общую рамку, т.-е. калѣченіе всѣхъ трехъ заразъ безъ всякой пользы и выгоды для чего и кого бы то ни было. Матеріализмъ, идеализмъ и сенсуализмъ представляютъ собою категоріи неоднородныя и несоизмѣримыя: матеріализмъ и идеализмъ имѣютъ въ виду объективное бытіе и стремятся свести его къ конечнымъ неразложимымъ элементамъ — атомамъ или трансцендентнымъ первообразамъ вещей—идеямъ, тогда какъ сенсуализмъ сосредоточивается на фактѣ познанія и вовсе даже не высказывается по вопросу о невидимыхъ элементахъ или основахъ бытія «въ себѣ». Брать все это вмѣстѣ за однѣ скобки и огуломъ противопоставлять эту насильственно сфабрикованную «метафизику» какой-то будто бы позитивной философіи, которая, какъ «созерцающая единство», есть уже метафизика явная,—могутъ только такіе классификаторы, которые не умѣютъ различать онтологическихъ системъ отъ критическихъ, не разбираютъ ни точекъ отправленія, ни намѣченныхъ цѣлей философ-

ствованія и остаются въ совершенномъ невѣдѣніи относительно многосмысленности философскихъ терминовъ и переживаемыхъ ими въ исторіи перипетій. Совершаемое такими «мыслителями» выкраиваніе вкривь и вкось кромсаемыхъ ими философскихъ системъ свидѣтельствуетъ только о смѣлости самозванныхъ философовъ, ни на шагъ не подвигая рѣшенія вопроса. Мы имѣли уже случай въ другомъ мѣстѣ говорить подробно объ этой своеобразной «тришкиной философіи» («Сѣверный Вѣстникъ» 1887 г., октябрь) и сказаннаго нами теперь повторять не станемъ. Мы ограничимся лишь указаніемъ на общее подтвержденіе нашего взгляда, встрѣчаемое нами въ одной изъ книжекъ философскаго журнала Морселли и этимъ дополнимъ экскурсію нашу въ область фантастическихъ экспериментовъ съ философіей, такъ много выстрадывающей подчасъ отъ особаго рода «географовъ человѣческаго разума».

Рецензентъ журнала Морселли, разсматривая классификацію, о которой мы только что говорили, находитъ, что «она зиждется на исторіи, разсматривающей съ высоты птичьяго полета громадную массу фактовъ и раздѣлывающейся съ вопросами сложными и отвлеченными слишкомъ ужъ спѣшно и схематично, давая одни только неопредѣленные контуры и довольствуясь лишь общими сужденіями. Сведенная къ тремъ только типамъ, такая исторія становится фантасмагоріей философіи прошедшаго, но она не даетъ ни исторіи философовъ, ни исторіи конкретныхъ философій. Эта послѣдняя могла бы выработаться только тогда, когда къ тремъ категоріямъ: матеріализма, идеализма и сенсуализма присоединена была бы четвертая—философіи безсвязной. Такого рода философія оказалась бы самою богатою послѣдователями, и безсвязность, явившаяся вслѣдствіе ея измѣнчивости и многосложности, могла бы оставить подъ сомнѣніемъ вопросъ о соотвѣтствіи исторической истинѣ схемы, придуманной нашимъ авторомъ въ подражаніе Ог. Конту. Читатель можетъ составить понятіе о той тщательности, съ которою авторъ относится къ историческимъ источникамъ, служившимъ для построенія его схемы, по той странной оцѣнкѣ знаменитѣйшихъ философовъ, которая дѣлается безъ достаточнаго основанія и

безъ вниманія къ тому обстоятельству, что ознакомленіе съ этимъ основаніемъ могло бы быть въ высшей степени интересно».

Приведя затѣмъ мнѣніе автора о Декартѣ, Беркли, Лейбницѣ, Кантѣ, Юмѣ, Фихте, Шеллингѣ и Гегелѣ, рецензентъ замѣчаетъ, что «если всѣ эти мнѣнія справедливы, то не затруднительно-ли будетъ найти въ этой безформенной и безцвѣтной исторіи тѣ законы и типы, которые указываются намъ съ такою опредѣленностью? Если же законы эти и типы дѣйствительно скрываются во всемъ этомъ хаосѣ, то мы желали бы ознакомиться со средствами, при помощи коихъ авторъ открылъ ихъ» *).

Не болѣе счастливъ былъ г. де-Роберти и въ своей попыткѣ «пролить свѣтъ»— какъ онъ любитъ выражаться — на «основную задачу соціологіи», обработанную имъ въ цѣломъ сочиненіи, надъ которымъ онъ не мало потрудился. Пролитіе свѣта, какъ то доказалъ одинъ извѣстный ученый, скрывшій свое имя подъ псевдонимомъ Громова, успѣло распространить лишь густоій мракъ на тотъ рядъ вопросовъ, которые по-своему разрѣшилъ авторъ, толкуя о методологическихъ особенностяхъ соціологіи, мѣстѣ ея въ ряду наукъ, раздѣленіи и связи съ біологіею и соціологіею, и невѣсть еще о чемъ. Рецензія, отвѣтъ на нее г. де-Роберти и окончательное его фіаско послѣ реплики г. Громова могли бы дать намъ матеріала на цѣлую главу; но краткости ради мы ограничимся однимъ коротенькимъ извлеченіемъ, по которому читатель можетъ сдѣлать заключеніе объ остальномъ **). Вотъ, напримѣръ, на какія «соображенія страннаго свойства», встрѣчающіяся въ книгѣ г. де-Роберти, указываетъ г. Громовъ.

«Мы встрѣчаемъ у г. де-Роберти—говоритъ г. Громовъ—слѣдующее общее правило: чѣмъ возможнѣе въ данной наукѣ производство опытовъ, тѣмъ менѣе необходимо въ ней описаніе (стр. 35). Въ небесной механикѣ невозможно производство опы-

*) «Rivista di filosofia scientifica». Vol. VII. Giugno. 1888, p. 378.

**) См. «Критическое Обозрѣніе» за 1880 г., №№ 2 и 7.

товъ. По этому общему правилу слѣдовало бы думать, что описаніе играетъ въ ней очень важную роль. А между тѣмъ въ настоящее время эта наука вполнѣ подчиняется дедуктивнымъ пріемамъ математики. Утверждая, что общественныя явленія не могутъ быть наблюдаемы непосредственно и т. д. (стр. 70), авторъ въ то же время признаетъ за соціальной наукой характеръ науки строго описательной или, другими словами, науки непосредственнаго наблюденія» (стр. 270).

«Мы встрѣчаемъ въ сочиненіи автора увѣренія, что наука механики (?) есть всецѣло наука наблюдательная, и опытъ въ строгомъ смыслѣ слова ей невѣдомъ (стр. 33). Какъ же назоветъ авторъ данныя механики, относящіяся къ выраженію разныхъ коэффиціентовъ тренія, истеченія жидкостей, величины, опредѣляющія твердость металловъ, коэффиціенты упругости и коэффиціенты полезной работы и т. д.? Эти величины не только получаются опытомъ, но для нихъ составляются обширныя таблицы, при помощи которыхъ инженеръ производитъ свои расчеты».

«Говоря о математикѣ, авторъ выражается о механикѣ слѣдующимъ образомъ: всеобщее и простое явленіе, изучаемое механикой—движеніе могло бы, согласно съ этой гипотезой, послужить когда-нибудь основаніемъ для логическаго надстроенія такого-же рода и т. д. (стр. 63).

«Это «могло бы» очень забавно, если принять во вниманіе, что давно уже существуетъ наука съ такою логическою надстройкой. Она извѣстна подъ именемъ раціональной механики. Существуетъ даже такая наука, въ которой изучаютъ движеніе только съ геометрической точки зрѣнія, независимо отъ силъ его производящихъ. Зовутъ эту науку кинематикой. Дѣло является еще забавнѣе, когда оказывается, что авторъ самъ говоритъ объ этой наукѣ на стр. 123. Законъ обратной пропорціональности квадратамъ разстояній авторъ называетъ закономъ обратныхъ квадратовъ разстояній. Изъ этихъ выписокъ видно, что, упрекая въ отсталости существующую логику наукъ, авторъ не имѣетъ яснаго представленія о тѣхъ точныхъ наукахъ, на которыя ссылается».

«Авторъ очень оригинально относится къ этимъ наукамъ.

Мы привѣтствуемъ, говоритъ онъ, механическую теорію тепла, термохимію, біохимію и т. д. (стр. 358). Наукамъ этимъ остается только благодарить за привѣтствіе».

Было бы слишкомъ долго слѣдить за работами г. де-Роберти, появлявшимися въ послѣднее время, а потому мы ограничимся только двумя ссылками на иностранныхъ рецензентовъ. По поводу статьи «объ эволюціи философіи» рецензентъ журнала Морселли замѣчаетъ, что всѣ работы г. де-Роберти отличаются «темною фразеологіею и путаннымъ слогомъ», а обозрѣватель книгъ въ философскомъ журналѣ Наторпа, разсматривая новую книгу г. де-Роберти «о непознаваемомъ» находитъ, что подъ перомъ этого автора позитивизмъ вырождается въ каррикатуру *). Такъ какъ мы давно уже держимся такого же взгляда и въ свое время представили въ его подтвержденіе не мало доказательствъ, то распространяться теперь о новыхъ подробностяхъ, дорисовывающихъ вырожденіе позитивной философіи, считаемъ излишнимъ **).

Теперь остается досказать только эпилогъ всей этой печаль-

*) «Rivista di filosofia scientifica» Vol. IX, Novembre, 1890, p. 703. Philosophische Monatshefte. XXVII Band. Heft 3 и 4. S. 228.

**) Мы считали свое мнѣніе о гг. Вырубовѣ и де-Роберти достаточно обоснованнымъ, а потому не безъ удивленія узнали теперь, что В. С. Соловьевъ счелъ нужнымъ взять подъ свою защиту обоихъ этихъ господъ. Въ замѣткѣ, помѣщенной въ 5 кн. журнала Н. Я. Грота, г. Соловьевъ, упомянувъ о томъ, что его юношеская диссертація «Кризисъ западной философіи» возбудила гнѣвъ г. де-Роберти, принимается поучать, что названные «почтенные и добросовѣстные писатели» содѣйствовали-де тоже изцѣленію русскихъ умовъ отъ матеріалистической эпидеміи посредствомъ Контовскаго позитивизма, а потому можно не соглашаться съ ними, можно порицать ихъ, но порицаніе, справедливости ради, не должно переходить въ глумленіе. Поученіе г. Соловьева было бы для насъ, конечно, совершенно сокрушительно, если бы изъ-за него слишкомъ ужъ не сквозило совершенное незнаніе г. Соловьевымъ тѣхъ лицъ, которыхъ онъ принялъ подъ свою защиту. Начнемъ съ г. Вырубова. Писатель этотъ всю жизнь писалъ по-французски и кромѣ трехъ бѣглыхъ замѣтокъ по философскимъ вопросамъ, а именно: двухъ фельетоновъ въ «Петерб. Вѣд.» Корша и коротенькой статейки въ «Критическомъ Обозр.» 1880 г. № 5, ничего о философіи на русскомъ языкѣ не печаталъ и, слѣдовательно, въ споспѣшествованіи изцѣленія русскаго общества отъ какой бы то ни было фи-

ной исторіи Контовскаго позитивизма. Литтрѐ умеръ, и позитивизмъ совершенно осиротѣлъ. Это печальное положеніе нашло случай подвести собственные итоги уже въ настоящемъ десятилѣтіи и показало какъ нельзя лучше при этомъ, чего оно стоитъ. Г. Вырубовъ нашелъ нужнымъ заявить въ «Критическомъ Обозрѣніи» о томъ, какіе тезисы считаетъ онъ въ позитивизмѣ основными, и, такимъ образомъ, далъ намъ случай взглянуть на «суть» позитивизма по понятію компетентнѣйшаго изъ современныхъ позитивистовъ. «Прежнее дѣленіе позитивистовъ на «правовѣрныхъ» и «раскольниковъ»—говоритъ г. Вырубовъ—не соотвѣтствуетъ болѣе положенію дѣлъ, и весь вопросъ сводится очень просто на то, до какой степени можно доводить расколъ, не переставая быть позитивистомъ. Вопросъ, такимъ образомъ поставленный, рѣшить не трудно. Ученіе Конта основано на двухъ-трехъ положеніяхъ, безъ которыхъ оно немыслимо. Ограниченіе философіи предѣлами научнаго знанія,—слѣдовательно, выключеніе всякой метафизики, всякаго болѣе или менѣе сознаннаго абсолюта и замѣщеніе его всегда и вездѣ относительными свойствами матеріи; признаніе іерархическаго ряда наукъ, основаннаго на убы-

---

лософской язвы нисколько неповиненъ. Почтененъ же и добросовѣстенъ онъ въ той мѣрѣ, въ которой почтенны люди, добросовѣстно вредящіе тому дѣлу, которому берутся служить. Что же касается г. де-Роберти, то В. С. знаетъ его, очевидно, еще менѣе, нежели г. Вырубова, если по прошествіи 16 лѣтъ, прошедшихъ послѣ извѣстнаго диспута, воображаетъ что этотъ г. де-Роберти возражалъ ему тогда и, какъ онъ выражается, проявлялъ при этомъ гнѣвъ свой противъ г. Соловьева. Смѣемъ увѣрить г. Соловьева, что возражалъ ему не поборникъ позитивной метафизики, а докторъ математики С. В. де-Роберти, никогда никакихъ трактатовъ по философіи не писавшій и извѣстный какъ почтенный дѣятель тверского земства. Если такого даже обстоятельства, какъ простой перечень сочиненій или ознакомленіе съ личностью возражавшаго на диспутѣ ускользнули отъ вниманія г. Соловьева, и если вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не представляетъ намъ никакихъ данныхъ, обнаруживающихъ его знакомство съ защищаемымъ имъ писателемъ, то мы рѣшаемся предположить, что, оставивъ мелочные счеты и не обезпокоивая себя отдачею намъ долга «съ процентами», г. Соловьевъ въ состояніи будетъ занять положеніе сторонняго зрителя и откровенно сказать, что онъ сочиненій гг. Вырубова и де-Роберти не читалъ и судить о достоинствѣ ихъ не можетъ.

вающей общности и возрастающей сложности изучаемыхъ явленій,—слѣдовательно, отрѣшеніе отъ всякихъ попытокъ установленія новой классификаціи; наконецъ, выдѣленіе соціологіи, какъ особаго разряда положительныхъ знаній со своими особыми, но чисто экспериментальными методами, — вотъ краеугольные камни, на которыхъ построено все зданіе» *).

Мы не станемъ останавливаться на томъ, что третій и послѣдній изъ краеугольныхъ камней фундамента позитивной философіи, по г. Вырубову, цѣликомъ содержится во второмъ, такъ какъ классификація наукъ Конта невозможна безъ признанія соціологіи положительною наукой, а второй является почему-то обломкомъ дѣйствительнаго краеугольнаго камня, заложеннаго Ог. Контомъ,—«закона трехъ состояній». Мы пройдемъ мимо этихъ своеобразностей изложенія г. Вырубова, на которое мы прежде имѣли уже не мало случаевъ указывать; разбору тезисовъ г. Вырубова мы предпочтемъ сопоставленіе ихъ съ тезисами Литтрѐ, появившимися въ такой же краткой, какъ и у г. Вырубова, редакціи еще въ 1867 году.

Замѣтка Литтрѐ была написана по поводу брошеннаго мимоходомъ у Тэна мнѣнія въ его книгѣ «L'Idéal dans l'art», только что вышедшей тогда въ свѣтъ.. Говоря о Донъ-Кихотѣ и очертивъ идеалистическій, рыцарственный, героическій характеръ этого больного ума, Тэнъ оттѣняетъ свой очеркъ противопоставленіемъ Донъ-Кихоту его оруженосца—«le lourdeau sensé positiviste, vulgaire et gras» **). «Какъ! Санчо-Панса—позитивистъ!—восклицаетъ Литтрѐ,—Санчо—созерцатель связнаго хода человѣческаго познанія и претворитель его въ философію! Санчо—установитель въ нашемъ мірѣ двухъ частей: одной — подлежащей изслѣдованію человѣка, другой—скрытой въ непознаваемыхъ глубинахъ! Санчо—великодушно и скромно подчиняющійся условіямъ своего положенія, опредѣленнаго вышеуказаннымъ установленіемъ границъ познанія! Санчо — предъявитель правъ на наслѣдіе теологіи и метафизики и признающій

*) «Критическое Обозрѣніе» 1880 г., № 5.

**) «La philosophie positive». Revue 1867, № 1, p. 156.

одни только естественные законы тамъ, гдѣ эти подготовительныя философскія ученія допускали или верховодительство воли, или сущности! Санчо—восхищенный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, растроганный судьбой человѣчества и ставящій своею идеальною цѣлью служеніе ему и чествованіе его! Очевидно, Санчо никогда и не думалъ ни о чемъ подобномъ, и что̀ бы тамъ ни говорилъ г. Тэнъ, Санчо не былъ позитивистомъ!»

Сравнивъ эти два заявленія, мы не можемъ не признать ихъ рѣзкаго различія одного отъ другого. Куда дѣвалась самая лучшая, самая жизненная, самая возвышенная часть позитивизма,—та часть, которую «первоучитель» на своемъ характерномъ языкѣ опредѣлялъ какъ «преобладаніе высшихъ интересовъ человѣчества»? Съ крушеніемъ этого источника жизни, Контовскій позитивизмъ, видимо, очутился на покатой плоскости; отсутствіе талантовъ довершило остальное. Вскорѣ и Обозрѣніе, послѣдній свѣтильникъ позитивныхъ дѣвъ, не запасшихся масломъ, угасъ, истощивъ свои силы въ борьбѣ съ равнодушіемъ публики. Въ послѣдней своей книжкѣ за 1883 годъ редакція «Обозрѣнія» помѣстила заключительную статью, написанную по знаменитой формулѣ: «нельзя не сознаться, но надо признаться», и вслѣдъ за этимъ лепетомъ, никѣмъ не оплакиваемое, «Обозрѣніе» испустило духъ. Его послѣдняя галлюцинація заключалась въ томъ, что философія, бывшая въ чести въ ту эпоху, когда было основано «Обозрѣніе» (1867 г.) оказалась совершенно дискредитированною въ наше время, но, «исчезая среди общаго равнодушія какъ писателей, такъ и читателей къ высшимъ философскимъ обобщеніямъ», редакція чувствуетъ себя совершенно счастливою и вполнѣ удовлетворенною и даже сама себѣ выдаетъ сертификатъ въ удачѣ. Въ чемъ заключалась эта удача, такъ и осталось тайной; а равнодушіе публики къ философіи, которое такъ голословно констатируется, прекрасно уживается, между тѣмъ, съ цѣлою массой философскихъ сочиненій, ставшихъ особенно обильными съ конца семидесятыхъ годовъ.

Ясно какъ день, что лица, стоящія во главѣ французской группы позитивистовъ, не внесли въ наслѣдіе, оставленное имъ Ог. Контомъ, ничего такого, что могло бы повести далѣе раз-

витіе позитивно-философской системы, но за то впутали въ него не мало такихъ элементовъ, которые сильно повредили этому развитію: атрофировали зачатки критицизма, непомѣрно преувеличили значеніе схемы, затемнили различеніе нѣкоторыхъ основныхъ понятій и, въ концѣ-концовъ, низвели позитивизмъ на уровень голой энциклопедической схемы наукъ, представляющей— при сохраняющемся упорствѣ въ именованіи себя философіей— своего рода философскій заморышъ, судьба котораго вполнѣ способна возбудить у небезучастнаго зрителя искреннее сожалѣніе.

Контовскій позитивизмъ процвѣтаетъ только въ Португаліи, гдѣ, сколько намъ извѣстно, онъ не подвергся той критической переработкѣ, на которую мы указали выше, и первый шагъ на пути которой сдѣлалъ, какъ увидимъ далѣе, Дж. Ст. Милль. Нельзя сказать, чтобы къ позитивизму относились здѣсь совсѣмъ слѣпо, безъ критики, но критика, насколько намъ удалось съ нею познакомиться, не имѣетъ принципіальнаго характера и мѣтитъ главнымъ образомъ на восполненіе тѣхъ недостатковъ въ изложеніи отдѣльныхъ наукъ Контовскаго ряда, которые произошли или изъ особенностей личнаго взгляда на частные научные вопросы самого Конта, или являются въ зависимости чисто отъ условій времени. Поправки, предлагаемыя въ этомъ направленіи, не имѣютъ особенно важнаго значенія и, въ общемъ, главное вниманіе португальскихъ позитивистовъ устремлено на установленіе дисциплины въ интеллигентной средѣ, потрясенной упадкомъ традиціонныхъ вѣрованій, и пропагандою того новаго порядка вещей, который долженъ возникнуть подъ вліяніемъ ученія, старающагося согласить порядокъ и прогрессъ. Главными проводниками позитивизма въ Португаліи являются Т. Брага, Дж. де-Маттосъ, Т. Бастосъ и др. Они имѣютъ свой журналъ и выпустили въ свѣтъ цѣлую литературу, частью излагающую Контово ученіе, частью популяризирующую его. Португальское позитивное движеніе проникло и единоплеменную Бразилію, свѣдѣнія о которой до такой степени, впрочемъ, скудны, что мы ничего не можемъ сказать ни объ особенностяхъ этого движенія, ни о степени его распространенія.

Въ сосѣдней Португаліи Испаніи, гдѣ еще такъ могущественна старая метафизика и гдѣ особеннымъ вліяніемъ пользовалась философія Краузе, позитивизмъ Конта, сколько намъ извѣстно, не имѣлъ большого распространенія. Кромѣ лекцій Эстасенъ-и-Кортады, читанныхъ въ Барселонѣ въ 1877 году и вышедшихъ потомъ отдѣльнымъ томикомъ, мы не замѣчали ни одного сколько-нибудь выдающагося проявленія позитивныхъ вліяній. Въ 1887 же году появилась небольшая книжечка Октавіо Лоиса, которая отвергаетъ Конта, какъ основателя позитивизма, и противопоставляетъ его ученію общеевропейскій позитивизмъ, представителемъ котораго считаетъ едва-ли не всѣхъ ученыхъ, какіе только извѣстны автору: тутъ Дарвинъ, Спенсеръ, Клодъ Бернаръ, Гэккель, Фехнеръ, Вундтъ, Литтрѐ, Гёксли, Ренанъ, Льюисъ, Ришé, Бэнъ, Герценъ, Максъ Мюллеръ, Дельбёфъ, Теофилъ Брага и проч.,—и всѣ именно въ томъ порядкѣ, въ которомъ мы ихъ выписали. Здѣсь, очевидно, хоть и ведется хозяйство безъ большого порядка, все же оно не даетъ ни малѣйшихъ указаній на процвѣтаніе позитивизма; и такъ, на развитіе его, хотя бы на испанской почвѣ, нѣтъ нигдѣ и намека *).

Ранѣе, чѣмъ перейдемъ къ Германіи и Англіи, намъ остается сказать нѣсколько словъ объ Италіи.

Въ Италіи ученію Конта совсѣмъ не удалось пустить корней. При первыхъ слухахъ о немъ, еще въ 60-хъ годахъ, ему противопоставили уже то широкое научное теченіе, которое дѣйствительно и поглотило догматизирующій контизмъ. Такъ поступилъ извѣстный историкъ Виллари **). Затѣмъ, нашлись такіе, которые хотя въ общемъ и симпатизировали Конту, но дѣлали въ то же время оговорки, отнимавшія у выраженія симпатій всякое реальное значеніе. Оговорки эти мѣтили противъ одного изъ краеугольныхъ принциповъ Контовой доктрины — закона

*) Pedro Estasén y Cortada: «El Positivismo ò sistema de las ciencias esperimentales». Barcelona, 1877.— Octavio Lois: «Lo accecible y lo inaccecible». Estudios populares di Filosofia positivista. Madrid, 1886.

**) Pascuale Villari: «Saggi di storia, di critica e di politica». Firenze, 1868.

трехъ состояній—и пытались, ни болѣе ни менѣе, какъ отстоять значеніе старыхъ метафизическихъ проблемъ. Профессоръ Анджулли, явившійся представителемъ такого взгляда на позитивизмъ, издавалъ даже журналъ, въ которомъ проводилъ свои взгляды *). Наконецъ, можно указать въ Италіи и на сравнительно значительное распространеніе позитивизма, но этотъ позитивизмъ имѣетъ съ позитивизмомъ Конта только одно общее названіе. Этотъ позитивизмъ или, какъ его чаще называютъ, «научная философія», исходитъ изъ той мысли, что невозможность—или, какъ выражается Ог. Контъ, химеричность—всеобщаго объясненія всѣхъ явленій однимъ закономъ нынѣ преодолѣна: съ Контовскимъ единствомъ метода стоитъ теперь рядомъ философскій фазисъ единства ученія, найденный въ эволюціонизмѣ. Спенсеръ, какъ великій философъ эволюціонной теоріи, получаетъ у итальянскихъ позитивистовъ очень большое значеніе, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ стоятъ за метэмпирику Льюиса и имѣютъ другія особенности, но о Контѣ почти-что не вспоминаютъ и идутъ совершенно особымъ, совершенно независимымъ отъ его вліянія путемъ **).

Все, изложенное нами выше, приводитъ къ тому общему заключенію, что, умалчивая пока о Германіи и Англіи, о которыхъ рѣчь еще впереди, мы встрѣчаемъ Контовскій позитивизмъ не представляющимъ ничего такого, распространеніе чего за предѣлы названныхъ странъ могло бы споспѣшествовать той эволюціи позитивнаго ученія, о которой мы дадимъ отчетъ въ послѣдующихъ главахъ ***).

---

*) A. Angiulli: «La filosofia e la ricerca positiva. Quistioni di filosofia contemporania». Napoli 1869. Rassegna critica, 1881—87.

**) E. Morselli: «La filosofia monistica in Italia. (Rivista di filosofia scientifica)». Gennaio, 1887.

***) Окончивъ изложеніе тѣхъ мыслей, которыя мы сочли нужнымъ высказать о Контовскомъ позитивизмѣ, отмѣтимъ еще одну невѣрность, вкравшуюся въ цитированную уже выше замѣтку В. С. Соловьева относительно перенесенія позитивизма на нашу почву и его распространенія. Г. Соловьевъ полагаетъ, что это перенесеніе и распространеніе было дѣломъ Н. К. Михайловскаго, г. Е. де-Роберти и пишущаго эти строки. На

Теперь намъ предстоитъ перейти къ разсмотрѣнію той роли, которая выпала на долю позитивизма въ Англіи.

самомъ дѣлѣ же, ранѣе, нежели хоть одинъ изъ насъ написалъ строчку о позитивизмѣ, существовала уже цѣлая литература о немъ, а именно:

Бокль. Исторія цивилизаціи въ Англіи. Два перевода 1863 и 64 г.

Дж. Ст. Милль. Разсужденія и изслѣдованія. Спб. 1864.

— Система логики. Спб. 1865.

Н. П—въ. Мысли о позитивной философіи. «От. Зап.» 1865.

Д. И. Писаревъ. Историческія идеи Ог. Конта. «Русское Сл.» 1865.

Э. К. Ватсонъ. О. Контъ и позитивная философія. «Соврем.» 1865.

Дж. Ст. Милль. Утилитаріанизмъ. Спб., 1866.

Дж. Г. Льюисъ. Исторія философіи. Спб., 1866.

Герб. Спенсеръ. Классификація наукъ со статьею о причинахъ разногласія съ *философіею* Конта. Спб., 1866.

Льюисъ и Милль. Ог. Контъ и положительн. философія. Спб., 1867 г.

П. Л. Задачи позитивизма и ихъ рѣшеніе. «Соврем. Обозр.» 1868.

А. Слѣпцовъ. Гдѣ искать основанія здоровой педагогикѣ? «Совр. Обозр.» 1868.

Кромѣ того, въ началѣ 60-хъ годовъ была помѣщена въ «Русск. Сл.» статья Бибикова «О предѣлахъ человѣческаго знанія», представляющая сокращенное изложеніе брошюры Литтрѐ «Paroles de philosophie positive».

ГЛАВА III.

Англійскій позитивизмъ.

1. Дж. Ст. Милль.

Въ Англіи существуютъ ортодоксальные послѣдователи Ог. Конта (Гаррисонъ и др.), но имена ихъ не имѣютъ европейскаго значенія и въ самой Англіи не обладаютъ авторитетностью. Контовскій позитивизмъ въ Англіи, какъ и во Франціи, не нашелъ себѣ почвы для развитія и лишь мимолетно былъ представляемъ мыслителемъ и такого даже калибра, какъ Дж. Г. Льюисъ. За то позитивизмъ въ широкомъ смыслѣ, благодаря Дж. Ст. Миллю, пріобрѣлъ громадное вліяніе не только въ самой Англіи, но и на континентѣ. Съ первыхъ же шаговъ своей учено-литературной дѣятельности, Милль отнесся къ ученію Конта настолько самостоятельно, что въ Западной Европѣ рѣдко теперь смѣшиваютъ «англійскій позитивизмъ» съ «контизмомъ» и, имѣя въ виду слабое распространеніе ученія Конта, считаютъ иногда французскихъ мыслителей представителями метода, противополагаемаго методу позитивному и характеризуемаго, главнымъ образомъ, подчиненіемъ его вліянію платоновскаго вдохновенія.

Милль разсказываетъ въ своихъ мемуарахъ, что Курсъ позитивной философіи Конта впервые попалъ къ нему въ руки уже тогда, когда у него были написаны труднѣйшія главы Системы логики, и ему оставалось дописать не болѣе одной

трети своего сочиненія. Время это совпадаетъ съ выходомъ двухъ первыхъ томовъ Курса Конта и относится къ 1837 г. Говоря объ этомъ, Милль останавливаетъ вниманіе читателя на томъ обстоятельствѣ, что къ этому времени его теорія индукціи была уже закончена и что онъ достигъ ея выработки помимо всякаго вліянія Конта. Онъ не отрицаетъ, что чтеніе сочиненія Конта, какъ первыхъ двухъ томовъ, такъ и послѣдующихъ четырехъ, принесло ему большую пользу. Онъ заявляетъ, что долгое время былъ горячимъ поклонникомъ сочиненій этого писателя, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ напоминаетъ о замѣчаніи, сдѣланномъ Кольриджемъ одному изъ его критиковъ, а именно, что на свѣтѣ существуютъ вещи, называемыя источниками, и что поэтому невозможно утверждать, будто тотъ или другой черпающій воду добываетъ ее непремѣнно изъ отверстія, продѣланнаго въ цистернѣ сосѣда. Указывая поэтому на общіе источники философіи Ог. Конта и своей собственной, Милль утверждаетъ, что научный методъ былъ ему извѣстенъ непосредственно смолоду отъ отца его, Джемса Милля, предшественники котораго были тѣ же, что и предшественники Конта. Со временъ Юма,—говоритъ Милль—теоріи эти стали достояніемъ философскаго міра, а со временъ Брауна онѣ вошли даже въ популярную философію. Ученіе Брауна вполнѣ позитивно, и первая часть его лекцій можетъ быть разсматриваема, какъ такое введеніе къ изученію позитивизма, лучше котораго и до сихъ поръ нельзя еще отыскать *).

Послѣ этихъ объясненій нельзя не признать въ высшей степени вѣрнаго замѣчанія Рибо, что, «къ несчастью для философіи, весьма многіе изъ числа тѣхъ, которые говорили о Ст. Миллѣ, знали его, повидимому, смутно и не непосредственно. По большей части они довольствовались тѣмъ, что выставляли его сторонникомъ Ог. Конта и сопричисляли его къ позитивистамъ. Это очень удобное и легкое средство судить о предметѣ, не

*) J. S. Mill: «Mes mémoires». Trad. de l'angl. par M. E. Gazelles. Paris, 1874.—«Auguste Comte et le positivisme». Trad. de l'angl. par G. Clémenceau. Paris, 1868.—«An examination of sir William Hamilton's philosophy». Fifth edition. London, 1878, passim.

зная его» *). Строки эти были написаны въ 1875 году, а у насъ и въ 1886 г. Лопатинъ все еще продолжаетъ «ссылаться на признанныхъ вождей позитивизма Ог. Конта и Милля» и, во избѣжаніе недоразумѣнія, разъясняетъ, что одни только послѣдователи Ог. Конта присвоиваютъ себѣ названіе позитивистовъ **).

Когда рѣчь заходитъ о Миллѣ, не слѣдуетъ терять изъ виду, что критическая оцѣнка этого писателя кишитъ противорѣчіями. Милль — личность для нашего времени слишкомъ еще живая, слишкомъ затрогивающая чувство современнаго изслѣдователя его произведеній, слишкомъ значительная по отношенію къ рѣшенію вопросовъ, имѣющихъ такую же важность для насъ, какую они имѣли и для самого Милля. Даже въ Германіи, какъ замѣтилъ одинъ изъ рецензентовъ «Philosophische Monatshefte», параллельно преувеличенному сужденію объ этомъ философѣ-публицистѣ идетъ и стремленіе къ приниженію его,—стремленіе, не чуждое извѣстной примѣси легкомыслія и фарисейства. Все это далеко не способствуетъ образованію такого сужденія о Миллѣ, которое можно было бы счесть достаточно объективнымъ.

Чтобы дать понятіе читателю о томъ, въ какой мѣрѣ расходятся эти взаимно-противополагающіяся сужденія о Миллѣ, мы приведемъ сперва сопоставленіе двухъ самыхъ общихъ его характеристикъ, а затѣмъ войдемъ въ ближайшее разсмотрѣніе двухъ взаимно-противоположныхъ взглядовъ, оцѣнивающихъ его какъ преобразователя позитивизма.

Мы вовсе не коснемся и пройдемъ полнымъ молчаніемъ ту производящую комичное впечатлѣніе статью г. Вырубова, въ которой онъ, глядя на Милля сверху внизъ, низводитъ его до роли эссеиста, который и въ помышленіи не имѣлъ прикоснуться критически къ двумъ великимъ положеніямъ Ог. Конта и самъ никогда не пытался обосновать общее понятіе міра; мы оставимъ это риторическое упражненіе, такъ какъ что̀ можно сказать о такой критикѣ Милля, которая считаетъ возможнымъ не

*) Th. Ribot. «La psychologie anglaise contemporaine». Paris, 1875, p. 99—100.

**) Л. Лопатинъ. «Положительныя задачи философіи», стр. 15 и 4.

знать или игнорировать ни болѣе, ни менѣе какъ «Изслѣдованіе философіи Гамильтона»!.. Мы прямо обратимся къ прекрасной статьѣ г. Владова, напечатанной въ 24 номерѣ «Критическаго Обозрѣнія» за 1879 годъ. «Джонъ Стюартъ Милль — говоритъ г. Владовъ — стоитъ на одинокой высотѣ (среди англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ ученыхъ) и производитъ впечатлѣніе почти идеальнаго философа, свободнаго отъ важнѣйшихъ человѣческихъ предразсудковъ, чистаго отъ страстей ученаго, за исключеніемъ одной, возвышенной и благородной—постояннаго и неустаннаго исканія истины. Этотъ гордый и могучій умъ, поддавшійся обаянію одной только силы,—силы научнаго аргумента, страдалъ одною только слабостью—вѣрою, что наступитъ когда-нибудь возрожденіе человѣчества, великая эра, когда человѣкъ, въ своихъ отношеніяхъ къ ближнимъ, будетъ руководствоваться не слѣпыми страстями, не животными инстинктами, а разумомъ, который, какъ солнце, взойдетъ и освѣтитъ эту мрачную юдоль плача и стенаній, эту арену грубой борьбы за существованіе, которая называется политическою, общественною и экономическою жизнью человѣчества. И эта слабость Милля можетъ сдѣлаться слабостью каждаго мыслящаго и чувствующаго человѣка, который будетъ изучать образцовыя творенія этого мыслителя, показавшаго всею своею умственною жизнью, что научное изслѣдованіе вопросовъ должно быть примѣняемо ко всѣмъ задачамъ жизни, даже къ тѣмъ, которыя, по обычному мнѣнію большинства даже образованныхъ людей, могутъ быть разрѣшаемы только на основаніи безотчетныхъ симпатій и антипатій, страстей и инстинктовъ, вытекающихъ изъ грубѣйшаго эгоизма и дающихъ въ результатѣ, въ дѣйствительной жизни, ту густую тѣнь, которая отбрасывается европейскою цивилизаціею. Вѣра въ человѣческій разумъ есть настоящее credo Милля, и своею умственною дѣятельностью онъ далъ урокъ человѣчеству,—урокъ, который, впрочемъ, давался ему неоднократно, но который ни разу еще не былъ понятъ и принятъ. Этотъ урокъ заключается въ томъ, что наука вовсе не должна быть исключительнымъ занятіемъ ученыхъ, до котораго массѣ людей нѣтъ дѣла, а что, напротивъ, наука есть единственное средство

устроить жизнь людей такъ, чтобы человѣкъ, каковъ бы онъ ни былъ въ примитивныя времена, могъ поддерживать не только присущую ему и полезную, но и безусловно необходимую вѣру въ то, что его миссія—представлять въ природѣ, полной, по человѣческому воззрѣнію, фатальной жестокости и несправедливостей, начала справедливости и всесторонняго развитія тѣхъ способностей, которыми такъ богата человѣческая натура и которыя такъ часто и такъ безплодно въ ней гибнутъ, подъ ударами обстоятельствъ дурно сложившейся среды и подъ давленіемъ воспитанія, направленнаго не на всестороннее развитіе личности, а на искусственное приспособленіе ея къ данной формѣ жизни, часто фальшивой въ основаніи. Къ указаннымъ чертамъ Милля слѣдуетъ прибавить поразительно обширныя и всесторонніе знанія его, дающія ему, какъ ученому, самое высокое мѣсто въ логикѣ, философіи, политической экономіи, политикѣ и соціологіи вообще, мѣсто, заслуженное имъ какъ методомъ изслѣдованія, такъ и великими достоинствами яснаго толкованія положеній, выработанныхъ въ наукѣ. Но эти его достоинства все-таки не могутъ вполнѣ объяснить то глубокое и широкое вліяніе, какое оказывалъ и оказываетъ Милль на массу читателей всего образованнаго міра. Было много ученыхъ, поражавшихъ своими знаніями, побѣждавшихъ своимъ анализомъ и восторгавшихъ своимъ языкомъ. И тѣмъ не менѣе, писатели эти оставались неизвѣстными массѣ, и если къ ней доходили ихъ идеи, то чрезъ различные каналы современной популяризаціи: чрезъ газеты, политическія рѣчи, проповѣди и общедоступныя лекціи. Но Милля, самаго глубокаго и ученаго писателя, непосредственно изучаетъ читающая масса, и есть полное основаніе думать, что изученіе это, съ теченіемъ времени, усилится и еще больше распространится».

Контрастомъ только-что цитированной характеристики Милля является то сужденіе о немъ, какъ философѣ, которое было высказано Джевонсомъ въ его статьѣ «Mill's Philosophy tested», напечатанной въ «Contemporary Review» за 1877 и 1878 годы. «Что до меня касается—говоритъ здѣсь Джевонсъ,—то я не желаю болѣе оставаться подъ гнетомъ кошмара, нагнаннаго на

насъ сочиненіями Милля. Не было такого предмета, изъ числа имѣющихъ общественное значеніе, — будь то: религія, этика, публицистика, политическая экономія, метафизика, логика, — о которомъ онъ не высказалъ бы рѣшительнаго мнѣнія,—мнѣнія, которое поклонники его затѣмъ цитировали какъ изреченіе, исходящее изъ устъ мудраго и логичнаго прорицателя. Никто не подвергалъ сомнѣнію, или, по крайней мѣрѣ, не долженъ былъ подвергать сомнѣнію силу его слога, убѣдительность его словъ, искренность его разсужденій и полную добросовѣстность его мотивовъ. Если бы въ числѣ другихъ высокихъ его качествъ заключалась и логическая точность, сочиненія его въ самомъ дѣлѣ могли бы стать источникомъ свѣта для грядущихъ поколѣній. Тѣмъ или инымъ путемъ, однако же, способности Милля потерпѣли крушеніе. Причину поврежденія слѣдуетъ отнести, быть можетъ, къ тому незнавшему отдыха режиму обученія, бремя котораго несъ Милль въ раннемъ возрастѣ по волѣ отца, или же тому проходящему черезъ всю жизнь Милля напряженію, которое было направлено на примиреніе ложной эмпирической философіи съ противоборствующей ей истиной. Но гдѣ бы тамъ ни коренилось это поврежденіе, умъ Милля былъ все жетаки существенно не логичнымъ».

«Запутанные софизмы главныхъ сочиненій Милля таковы, что для вскрытія его заблужденій требуется значительное умственное напряженіе. Мнѣ самому пришлось въ теченіе двадцати послѣднихъ лѣтъ изучать болѣе или менѣе постоянно его сочиненія: въ послѣднія же четырнадцать лѣтъ мнѣ пришлось, согласно традиціонному требованію Лондонскаго университета принять эти сочиненія, по крайней мѣрѣ отчасти, за руководство при преподаваніи. Прошло лѣтъ десять, пока мнѣ удалось обнаружить ихъ основную несостоятельность. Въ послѣднія десять лѣтъ у меня мало-по-малу выработалось убѣжденіе, что авторитетъ Милля приноситъ громадный вредъ дѣлу философіи и успѣхамъ добропорядочнаго умственнаго воспитанія въ Англіи. Ничто не можетъ дѣйствовать вреднѣе на умы, какъ сплошная нелогичность сочиненій, которыя, благодаря вѣсу Миллевой репутаціи и вліянію, пріобрѣтенному ими въ университетской

средѣ, оказались навязанными и учащимъ, и учащимся. Если, какъ я въ томъ убѣжденъ, философія Милля переполнена софизмами и ложью, то необходимою услугою истинѣ является указаніе на этотъ фактъ. Я сознаю, наконецъ, необходимость принять тяжелую эту обязанность на себя».

... «Я имѣю въ виду показать, что едва-ли найдется хоть одно изъ важнѣйшихъ его положеній, которое онъ самъ въ полной мѣрѣ не опровергъ бы. Я обнаружу, что во многихъ случаяхъ не представляется возможности рѣшить, въ чемъ именно заключается его доктрина, такъ какъ онъ смѣшиваетъ по два, по три, и, въ одномъ случаѣ, цѣлыхъ шесть различныхъ и взаимно-противорѣчивыхъ мнѣній. Въ нѣкоторыхъ важныхъ случаяхъ онъ выставляетъ себя, какъ представителя воззрѣній, прямо противоположныхъ тѣмъ, которыя онъ въ дѣйствительности проводитъ.... Нигдѣ дѣла его не идутъ такъ плохо, какъ въ области логики. Здѣсь нѣтъ вопроса, котораго бы онъ не коснулся; нѣтъ вопроса, коснувшись котораго, онъ бы оставилъ незапутаннымъ».

Оба эти мнѣнія нельзя не считать преувеличенными. Что касается перваго, то мы будемъ еще имѣть поводъ говорить о тѣхъ замѣчаніяхъ и оговоркахъ, которыми Милль сопровождалъ критику «закона трехъ состояній» Ог. Конта, и покажемъ, что ее слѣдуетъ признать шагомъ назадъ; да и многое, высказанное Миллемъ въ его извѣстномъ посмертномъ сочиненіи и состоящее въ близкой связи съ этимъ шагомъ, несомнѣнно относится къ категоріи положеній, извращающихъ духъ позитивной философіи и тормозящихъ ея развитіе. Замѣтимъ, что послѣднія положенія не одобрилъ и Бэнъ въ своей біографіи Милля, хотя и сдѣлалъ это слишкомъ сдержанно, далеко не въ той мѣрѣ, въ какой требовалось бы это сдѣлать со стороны строго послѣдовательнаго и крѣпкаго въ своихъ основоначалахъ позитивиста. Крайности второго изъ приведенныхъ нами сужденій о Миллѣ были уже достаточно подорваны тѣми справками, которыя были сдѣланы Крумъ-Робертсономъ и др. въ журналѣ «Mind», вскорѣ послѣ появленія статей Джевонса. Свѣрка цитатъ Джевонса съ подлинникомъ показала, между прочимъ, что, не взирая на много-

лѣтнее изученіе Милля, Джевонсъ не вникалъ въ него на столько, чтобы хоть различить возраженія предполагаемаго Миллемъ противника отъ мнѣнія самого Милля. Въ послѣднемъ итогѣ статья Джевонса не прошла совсѣмъ безслѣдно для оцѣнки значенія Милля, и указанія ея были въ большей или меньшей степени приняты къ свѣдѣнію Брошаромъ, Рациборскимъ, и — что особенно важно для насъ—Эрнстомъ Лаасомъ.

Мы не станемъ, однако же, вдаваться въ ближайшее знакомство съ содержаніемъ статьи Джевонса—и, главнымъ образомъ, потому, что при всей важности затрагиваемыхъ въ статьѣ этой вопросахъ (геометрическіе тезисы, опредѣленіе религіи, отношеніе сходства, экспериментальный методъ), она не даетъ никакого общаго взгляда на положеніе, занимаемое Миллемъ по отношенію къ позитивизму, не оцѣниваетъ качества тѣхъ измѣненій, которыя получили позитивныя идеи благодаря Миллю, не говоритъ намъ, въ чемъ именно заключается позитивизмъ собственно-миллевскій. Имѣя пока въ виду лишь подтвержденіе указаннаго выше отношенія къ Миллю современныхъ его цѣнителей и не желая отвлекать вниманія читателей отъ главной нити нашей темы, къ которой мы сейчасъ же и обратимся, мы не станемъ распространяться о статьѣ г. Владова, такъ какъ статья эта, написанная по поводу выхода въ свѣтъ мемуаровъ Милля, не вдается въ обстоятельное разсмотрѣніе философіи Милля и могла бы въ бо̀льшей еще степени, чѣмъ статья Джевонса, увлечь насъ отъ нашего главнаго пути на самыя разнородныя побочныя тропинки.

Нужную намъ для настоящаго случая характеристику положенія Милля по отношенію къ позитивизму, а также и оцѣнку способа тѣхъ измѣненій, который внесъ Милль въ ученіе Ог. Конта, даетъ намъ Эрнстъ Лаасъ, къ которому мы поэтому теперь и обратимся. О Лаасѣ намъ придется еще говорить впослѣдствіи подробно; теперь же достаточно будетъ сказать только, что этотъ писатель принадлежитъ къ числу представителей позитивизма въ широкомъ значеніи этого термина и занимаетъ въ нѣмецкой философской литературѣ выдающееся мѣсто, какъ по замѣчательной критикѣ Канта, изложенной въ «Kants Analogien

der Erfahrung», такъ и по новой переработкѣ позитивизма, заключающейся въ главномъ трудѣ Лааса «Idealismus und Positivismus».

Начнемъ съ того, что разумѣетъ Лаасъ подъ словомъ «позитивизмъ»? Подъ позитивизмомъ, говоритъ онъ, я разумѣю ту философію, которая не признаетъ никакого иного основанія, кромѣ позитивныхъ (положительныхъ) фактовъ, т.-е. внѣшнихъ и внутреннихъ воспріятій; которая отъ всякаго мнѣнія требуетъ подтвержденія фактами, опытомъ, на которые мнѣніе это опирается. Первымъ провозвѣстникомъ такого позитивизма, по мнѣнію Лааса, былъ Протагоръ, который ясно очертилъ область опыта въ неразрывности связи внѣшнихъ и внутреннихъ воспріятій, иначе говоря, соотносительности (коррелативизма) субъекта и объекта. Коррелативизмъ, по мнѣнію Лааса, нисколько не нуждается ни въ какой метафизической подпочвѣ для своего фактическаго узаконенія. Можно указать только на доступный для всякаго и подлежащій всеобщей повѣркѣ фактъ, что объекты извѣстны намъ непосредственно, какъ содержаніе сознанія, cui objecta sunt, а субъекты—только какъ центры отношеній, какъ сборные пункты или какъ оборотная сторона воспринятаго содержанія, quibus subjecta sunt; и далѣе, что непосредственно извѣстные намъ субъекты и объекты не могутъ быть принимаемы какъ существующіе «an sich», что они признаются существующими только при условіи взаимной связи, что они совмѣстно возникаютъ, совмѣстно пребываютъ и всегда остаются нераздѣлимыми.

Точка зрѣнія, обнаруживающаяся въ позитивистическомъ тезисѣ Протагора, вновь выступаетъ на сцену исторіи философской мысли только въ лицѣ Давида Юма; по существеннѣйшимъ ея чертамъ можно приписать ее и Дж. Ст. Миллю.

Если же мы, говоритъ Лаасъ поясняя это утвержденіе, называя Юма и Милля, проходимъ молчаніемъ имя человѣка, поставившаго слово «позитивизмъ» во главу своего «Курса»—имя Ог. Конта, то это произошло не потому, что мы вовсе не считаемъ его основныхъ воззрѣній «позитивистическими» въ томъ смыслѣ, на который указано было выше, или старались держаться

отъ него въ сторонѣ, а единственно только потому, что позитивистическая идея, о которой идетъ рѣчь у насъ, а именно: идея коррелативности субъекта и объекта, опредѣленнымъ образомъ въ сочиненіяхъ его, на сколько я могу припомнить, не проводится. Что же касается двухъ его широкихъ обобщеній, представляющихъ рядомъ съ тѣмъ, что училъ Давидъ Юмъ, главный интересъ въ «Курсѣ» Конта и связываемыхъ съ нимъ, какъ главная его особенность, а именно: классификація наукъ и законъ трехъ состояній, то признавая ихъ проницательными и отчасти вѣрными мыслями, не могу не указать на то, что скрытыя въ нихъ истины до того смѣшаны съ продуктами конструктивнаго насилія, что они весьма близко подходятъ къ теоріямъ Гегеля... Что же касается Милля, то, видя въ немъ представителя позитивизма въ указанномъ смыслѣ, я не считаю себя вслѣдствіе того обязаннымъ одобрять и всѣ его крайности, непослѣдовательности, искусственныя тонкости и софизмы, которые у него встрѣчаются при обработкѣ отдѣльныхъ вопросовъ. Очень многое изъ того, что было высказано Джевонсомъ въ «Contemporary Review», готовъ признать я отъ всего сердца, но и самъ выступаю въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ съ подобною же критикою. Я не считаю, чтобы ошибки этого (не всегда особенно логичнаго, послѣдовательнаго и глубокомысленнаго) философа могли бы въ самомалѣйшей степени поколебать позитивистическіе принципы, хотя, тѣмъ не менѣе, я не перестану цѣнить его, какъ особенно почтеннаго представителя позитивной философіи въ нашъ, проникнутый платонизмомъ и романтизмомъ, вѣкъ *).

Таково сужденіе Лааса. Предъявляя его нѣмецкому читателю, Лаасъ считалъ себя въ правѣ не излагать ученія Милля о коррелативизмѣ и не загромождать имъ и безъ того достаточно объемистыхъ трудовъ своихъ; совсѣмъ въ иномъ положеніи находимся мы, и завидная краткость Лааса, цѣликомъ перенесенная на страницы нашего очерка, едва-ли нашла бы одобреніе у большинства нашихъ читателей. Мы поступимъ гораздо цѣлесообразнѣе, конечно, если не побоимся нѣкоторыхъ длинноть и

*) Id. und Pos. I. S. 183—184.

послѣдуемъ совѣту Юма, утверждавшаго, что «всякой книгѣ слѣдуетъ быть на столько полной, на сколько то возможно, и никакая книга не должна отсылать читателя для пополненія содержанія ея къ другой книгѣ». Не всегда, конечно, возможно приложить правило это въ полной мѣрѣ: но въ тѣхъ случаяхъ, когда не только не встрѣчается для того никакихъ препятствій, но еще и выясняется при этомъ одинъ изъ вопросовъ, имѣющихъ для данной темы особенно важное значеніе, правило становится просто-на-просто обязательнымъ. Мы и принимаемъ его въ руководство въ настоящемъ случаѣ и дѣлаемъ это тѣмъ охотнѣе, потому что обстоятельное изложеніе ученія Милля о коррелативизмѣ должно близко познакомить читателя съ дѣйствительнымъ ходомъ того двойного процесса, о которомъ говорено было выше: оно должно показать, какимъ образомъ совершались первые шаги выработки позитивной теоріи познанія рука объ руку съ обозначеніемъ черты, отграничивающей научную философію отъ метафизики. Чередованіе успѣховъ и неудачъ у Милля при рѣшеніи этой двойной задачи будетъ намъ очень поучительно, какъ по отношенію къ характеру первоначальной ея постановки, такъ и по сравненію съ послѣдующими ея фазисами.

Когда мы говоримъ о той идеѣ, которую Лаасъ считаетъ краеугольнымъ основоначаломъ позитивизма, и намъ предстоитъ отвѣтить на вопросъ о томъ, какъ излагалъ ее ближайшій предшественникъ Лааса—Милль, то, какъ то само собою разумѣется, мы должны прежде всего ознакомить читателя съ ученіемъ этого мыслителя о каждомъ изъ двухъ моментовъ изучаемаго соотношенія, и затѣмъ—съ ученіемъ и о самомъ соотношеніи. Такимъ образомъ мы получимъ требуемое понятіе о коррелативизмѣ по Миллю и пріобрѣтемъ этимъ путемъ возможность провѣрить цитированную выше характеристику Лааса и вмѣстѣ съ тѣмъ добыть данныя для составленія и своего собственнаго понятія о всемъ этомъ вопросѣ.

У Милля вопросъ этотъ изложенъ въ нѣсколькихъ главахъ его извѣстнаго «Изслѣдованія философіи Гамильтона» *). Пер-

*) Замѣтимъ при этомъ случаѣ, что «Idealismus und Positivismus» Лааса, по его же словамъ, весьма напоминаетъ «Examination» Милля по

вая изъ этихъ главъ, имѣющая цѣлью установленіе взгляда Милля на роль «объекта» изучаемой соотносительности, носитъ названіе «психологической теоріи увѣренности въ существованіи внѣшняго міра» *) и занимаетъ мѣсто главы XI всего сочиненія. Милль указываетъ здѣсь прежде всего на тѣ психологическія истины, которыя подразумѣваются его теоріею, и говоритъ, что онѣ подтверждаются опытомъ и не подвержены сомнѣнію со стороны противниковъ эмпирическаго метода въ психологіи—противниковъ, которые, однако же, очень рѣдко оцѣниваютъ достодолжнымъ образомъ ихъ силу.

Первая изъ этихъ истинъ заключается въ томъ, что умъ человѣческій способенъ къ ожиданію. Другими словами, это значитъ, что послѣ дѣйствительныхъ ощущеній мы способны образовывать понятіе объ ощущеніяхъ возможныхъ,—ощущеніяхъ, которыя мы не испытываемъ въ настоящій моментъ, но которыя могли бы испытывать и будемъ испытывать въ томъ случаѣ, когда въ наличности окажутся извѣстныя условія, природа коихъ извѣстна намъ ранѣе по опыту.

Вторая изъ этихъ истинъ охватываетъ законы ассоціаціи идей. Поскольку дѣло касается настоящаго случая, законы эти слѣдующіе: 1) представленіямъ явленій подобныхъ свойственна склонность быть мыслимыми совмѣстно; 2) представленія явленій, которыя прошли въ опытѣ или въ сознаніи въ тѣсной смежности, обладаютъ свойствомъ мыслиться совмѣстно. Смежность можетъ быть двоякою: одновременностью и непосредственнымъ преемствомъ. Возстановленіе въ памяти одного изъ фак-

---

основной идеѣ, по плану и отчасти по выполненію. Нѣкоторая неполнота послѣдняго возмѣщается въ другихъ сочиненіяхъ Лааса; такъ, этико-психологическимъ главамъ «Изслѣдованія» соотвѣтствуетъ статья Лааса въ «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie». Bd. IV—VI; по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ—работы, указанныя въ III томѣ «Id. u. Pos.», стр. 667.

*) Риль передаетъ выраженіе «belief» словами «Gewissheit», «Ueberzeugung, находя слово «Glaube», по двусмысленности своей, неумѣстнымъ въ философскомъ сочиненіи. На этомъ основаніи и мы остановились на словѣ «увѣренность» (См. A. Riehl. Der Philosophische Kriticismus. I B. S. 65).

товъ, которые въ опытѣ или въ мышленіи являлись одновременно, совершается подъ вліяніемъ припоминанія о томъ или другомъ изъ нихъ. Что же касается фактовъ, которые въ опытѣ или мышленіи проходили въ порядкѣ непосредственнаго преемства, то припоминаніе по отношенію къ нимъ не имѣетъ того обоюднаго характера, который отмѣченъ выше: только фактъ предшествующій, или же мысль о немъ, вызываетъ припоминаніе о фактѣ послѣдующемъ, этотъ послѣдній же не способенъ вызывать въ памяти перваго; 3) ассоціаціи, обусловленныя смежностью, становятся болѣе достовѣрными и совершаются сравнительно скорѣе подъ вліяніемъ повторяемости ихъ. Если два какія-нибудь явленія были воспринимаемы совмѣстно весьма часто и ни въ опытѣ, ни въ мышленіи не представлялись отдѣльно, то между ними установляется такъ-называемая нерасторжимая ассоціація, не совсѣмъ правильно называемая неразложимою. Терминъ «нерасторжимость» не означаетъ еще продленія ея до конца жизни, не предрѣшаетъ ея устойчивости даже и вопреки опыту или опредѣленному мысленному процессу, но указываетъ только на продленіе ея до тѣхъ поръ, пока продолжается данный опытъ или данный мысленный процессъ; 4) когда ассоціація получитъ указанную выше нерасторжимость, когда связь между двумя идеями достодолжно закрѣпится, то не только идея, вызываемая ассоціаціею, получаетъ въ сознаніи нашемъ неразрывность съ идеею, ее вызвавшею, но и факты или явленія, отвѣчающіе этимъ идеямъ, начинаютъ, наконецъ, казаться и на самомъ дѣлѣ неразрывными. Отдѣльное существованіе того, что нами не можетъ мыслиться раздѣльно, начинаетъ представляться невозможнымъ, а увѣренность въ сосуществованіи данныхъ явленій, хотя и явившаяся на самомъ дѣлѣ какъ продуктъ опыта, кажется намъ интуитивною. Примѣры, подтверждающіе этотъ законъ, неисчислимы. Самый обыденный и разительный примѣръ дается зрительными воспріятіями. Дѣйствительно, видимое нами есть только незначительная часть того, что намъ кажется видимымъ. Многое и весьма многое въ нашихъ зрительныхъ воспріятіяхъ попадаетъ туда въ силу умозаключенія. Зрительное воспріятіе книги, напримѣръ, или камня,

не есть только умозаключеніе, но цѣлая группа ихъ. Мы видимъ и не можемъ не видѣть того, что мы привыкли заключать изъ нашихъ ощущеній, не исключая и того случая, когда мы знаемъ, что заключеніе наше ложно. Такъ, напримѣръ, мы не можемъ не видѣть сравнительной къ намъ близости горы въ томъ случаѣ, когда мы смотримъ на нее сквозь атмосферу, отличающуюся отъ обычной бо́льшею степенью прозрачности и т. п.

Установивъ эти предпосылки, Милль говоритъ далѣе, что, исходя изъ нихъ, психологическая теорія высказывается за существованіе ассоціацій, естественно и даже необходимо произведенныхъ самимъ порядкомъ нашихъ ощущеній и припоминаній о нихъ. Эти ощущенія и припоминанія, при предположеніи отсутствія въ сознаніи интуиціи внѣшняго міра, должны неизбѣжно порождать не только увѣренность въ существованіи его, но и отнесеніе причины ея къ интуиціи.

Что́ разумѣемъ мы, утверждая, что воспринимаемый нами предметъ не есть только мысль наша, а находится внѣ насъ, и что́ побуждаетъ насъ утверждать это?—спрашиваетъ далѣе Милль. Мы разумѣемъ, поясняетъ онъ, что нашимъ воспріятіямъ непремѣнно соотвѣтствуетъ извѣстное нѣчто, которое существуетъ даже и тогда, когда мы о немъ не мыслимъ, которое существовало ранѣе, чѣмъ мы стали о немъ мыслить, и будетъ существовать и тогда, когда насъ не станетъ; и далѣе, мы питаемъ увѣренность, что существуютъ вещи, которыхъ мы никогда не видѣли, никогда не осязали, никогда инымъ какимъ-либо образомъ не воспринимали, и которыя даже никогда не были воспринимаемы человѣкомъ. Идея этого «нѣчто», различающагося отъ нашихъ преходящихъ впечатлѣній; этого «нѣчто», остающагося неизмѣннымъ и постояннымъ рядомъ съ измѣнчивостью нашихъ впечатлѣній и сохраняющаго свои свойства даже и тогда, когда самое существованіе его остается намъ неизвѣстнымъ,—идея эта и есть идея внѣшней субстанціи. Указать на происхожденіе этого сложнаго понятія—значитъ объяснить нашу увѣренность въ существованіи матеріи. Согласно психологической теоріи, все это есть не иное что, какъ форма, запечатлѣнная на опытномъ понятіи извѣстными законами ассоціаціи,

тогда какъ самое понятіе это выработано на почвѣ условныхъ ощущеній; подъ условными же ощущеніями мы разумѣемъ такія, которыхъ не оказывается въ нашемъ сознаніи въ настоящій моментъ, которыя никогда черезъ него и не проходили, но которыя, согласно извѣстнымъ намъ изъ опыта законамъ нашихъ ощущеній, могли бы быть испытанными нами при извѣстныхъ предполагаемыхъ условіяхъ и будутъ испытаны, если такія условія наступятъ.

Только-что отмѣченное свойство нашего ума даетъ Миллю основаніе для указанія на незначительность объема наличныхъ ощущеній въ понятіи міра, каковъ онъ есть въ настоящій моментъ. Можетъ случиться, что въ то или другое время у меня вовсе не окажется наличныхъ ощущеній, и во всякомъ случаѣ ощущенія эти будутъ составлять самую незначительную частицу общей совокупности моихъ воспріятій. Мое понятіе міра, каковъ онъ существуетъ въ данный моментъ, охватываетъ вмѣстѣ съ испытываемыми мною ощущеніями неисчислимое разнообразіе возможностей ощущенія, т.-е. ощущеній, возможныхъ при извѣстныхъ предполагаемыхъ условіяхъ, какъ то было пояснено выше. Эти различныя возможности имѣютъ для меня особливую важность. Мои ощущенія даннаго момента сравнительно малозначительны и притомъ же мимолетны; возможности же, напротивъ того, постоянны. На этомъ различіи основывается различіе нашего понятія субстанціи или матеріи отъ понятія ощущенія. Возможности, обладающія условною достовѣрностью, требуютъ особаго названія для отличія ихъ отъ возможностей смутныхъ, на которыя опытъ не можетъ положиться. Всякому хорошо извѣстно однако же, что, согласно самому обыденнѣйшему свойству нашего ума, лишь только мы назовемъ вещь новымъ именемъ, хотя бы для того лишь, чтобы обозначить ту же вещь съ другой точки зрѣнія, какъ новое имя становится уже именемъ новой вещи.

Есть и другая важная особенность указанныхъ выше удостовѣренныхъ и обезпеченныхъ возможностей ощущенія, продолжаетъ далѣе Милль; а именно та, что возможности эти относятся не къ единичному ощущенію, но къ ощущеніямъ, соеди-

ненным въ группы. Когда мы мыслимъ о какой-нибудь матеріальной субстанціи, то это значитъ, что мы испытали, или при извѣстныхъ условіяхъ могли испытать, не только одно какое-нибудь ощущеніе, но неопредѣленное число ихъ, принадлежащихъ притомъ различнымъ чувствамъ, но связанныхъ между собою такимъ образомъ, что наличность одного изъ нихъ возвѣщаетъ возможность появленія въ то же время нѣкоторыхъ другихъ или даже всѣхъ остальныхъ. Группа, разсматриваемая какъ единое цѣлое, представляется уму постоянною, противополагаясь не только скоротечности моего тѣлеснаго присутствія, но и мимолетности каждаго изъ ощущеній, ее составляющихъ; другими словами, она представляется какъ родъ постояннаго субстрата, скрытаго подъ системою преходящихъ опытныхъ фактовъ или мимолетныхъ проявленій. Свойство это присуще нашей идеѣ субстанціи или матеріи и составляетъ новую черту ея основнаго характера и новое отличіе этой идеи отъ ощущенія.

Развивая далѣе свой взглядъ, Милль переходитъ къ разсмотрѣнію другой стороны общаго характера нашего опыта, а именно, къ разсмотрѣнію постояннаго порядка нашихъ ощущеній. Этотъ порядокъ, будучи подтвержденъ опытомъ, порождаетъ, говоритъ далѣе Милль, идею причины и дѣйствія. Какова же, спрашивается, природа этого постояннаго порядка нашихъ ощущеній? Она заключается въ постоянствѣ порядка, въ которомъ послѣдующее смѣняетъ предшествовавшее. Но мы знаемъ, что постоянство указанной послѣдовательности присуще не ходу самихъ ощущеній, а порядку смѣны группъ, о которыхъ говорено было выше. Эти послѣднія рѣдко соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ ощущеніямъ, а представляются лишь какъ постоянныя возможности, вызванныя въ сознаніи малымъ и измѣнчивымъ числомъ ощущеній наличныхъ. Изъ этого видно, что наши идеи причинности, силы, дѣятельности связуются нами не съ ощущеніями, но съ группами возможностей ощущенія. Измѣненія, болѣе или менѣе правильно возникающія въ этихъ возможностяхъ ощущенія, совершаются по большей части независимо отъ нашего сознанія, отъ нашего присутствія или отсутствія. Спимъ-ли мы или бодрствуемъ, пламя тухнетъ и тѣмъ

полагается конецъ данной частной возможности ощущенія свѣта и теплоты. Присутствуемъ-ли мы или отсутствуемъ, зерно зрѣетъ и даетъ начало новой возможности ощущенія сытости. Такимъ образомъ мы скоро научаемся смотрѣть на природу, какъ на совокупность группъ возможностей, а дѣятельныя силы природы разсматриваемъ какъ проявленія измѣненій этихъ группъ посредствомъ другихъ. Слѣдуя по этому пути, мы приходимъ къ оцѣнкѣ ощущеній, какъ чего-то случайнаго, стоящаго въ полной отъ насъ зависимости, а на возможности начинаемъ смотрѣть какъ на нѣчто, обладающее большею степенью реальности, чѣмъ ощущенія, болѣе того—какъ на истинныя реальности, по отношенію къ которымъ ощущенія являются лишь отобразомъ, отраженіемъ, ими произведеннымъ, или ихъ дѣйствіемъ. Достигнувъ такого умственнаго состоянія, мы начинаемъ относить всякое испытываемое нами ощущеніе къ какой-либо изъ группъ возможностей, охватывающихъ данное частное ощущеніе. Общая совокупность возможныхъ ощущеній становится постоянной основой, на которой обозначается одно или нѣсколько изъ нихъ, какъ наличныхъ въ данный моментъ; возможности же мыслятся стоящими по отношенію къ дѣйствительнымъ ощущеніямъ, какъ причина по отношенію къ дѣйствіямъ, или фонъ по отношенію къ начерченнымъ на немъ фигурамъ, или вѣтви — къ стволу, или, выражаясь языкомъ трансцендентальной школы, они получаютъ то же значеніе, что содержаніе по отношенію къ формѣ.

Когда сопоставленіе постоянныхъ возможностей и ощущеній проявляетъ въ только-что указанной степени ихъ видимое несходство, тогда, какъ замѣчаетъ Милль, въ силу всего того, что̀ мы знаемъ о человѣческой природѣ, становится неизбѣжнымъ для насъ признать между постоянными возможностями и ощущеніемъ такое же различіе, какое существуетъ между различными родами послѣдняго. Основа постоянныхъ возможностей—ощущеніе—забывается и беретъ верхъ предположеніе о ихъ существенномъ различіи. Другими словами, группы ощущеній, связанныхъ между собою ассоціаціею смежности и преемства, представляются какъ бы отторженными отъ насъ и существующими отдѣльно и независимо отъ насъ. Мы открываемъ

сверхъ того, что другія существа обосновываютъ, подобно намъ, предвидѣнія свои на такихъ же возможностяхъ ощущенія, какъ и мы. Мы не находимъ, однако же, чтобы они испытывали при этомъ тѣ же дѣйствительныя ощущенія, что и мы. Не обладая нашими ощущеніями, они,—если только ихъ органы чувствъ принадлежатъ къ одному и тому же типу какъ и наши,—обладаютъ такими же точно возможностями ощущенія, такъ что всякая данная возможность ощущенія для насъ указываетъ на такую же возможность ощущеній и для нихъ. Такимъ образомъ обозначается та послѣдняя черта, которою окончательно обрисовывается наше понятіе о группахъ возможностей ощущенія, какъ объ основныхъ реальностяхъ природы. Постоянныя возможности оказываются общими намъ и другимъ существамъ; приписать же такую общность дѣйствительнымъ ощущеніямъ оказывается невозможнымъ. Присущая постояннымъ возможностямъ общность становится основою признанія за ними несомнѣннаго бытія внѣ насъ и независимо отъ насъ, и, въ концѣ-концовъ, изъ общей совокупности всѣхъ постоянныхъ возможностей слагается наше понятіе того, что мы называемъ внѣшнимъ міромъ.

Итакъ, продолжаетъ Милль, матерію можно опредѣлить какъ постоянную возможность ощущенія. Если меня спросятъ, имѣю ли я увѣренность въ существованіи матеріи, то я, въ свою очередь, пожелаю узнать, принимаетъ ли вопрошающій это опредѣленіе матеріи или нѣтъ. Если да, то увѣренность моя въ существованіи матеріи окажется не подлежащею сомнѣнію, какъ не можетъ подлежать сомнѣнію и увѣренность въ томъ всѣхъ послѣдователей Беркли. Во всякомъ же другомъ смыслѣ такой увѣренности у меня не окажется. Я могу только смѣло утверждать, что такое понятіе матеріи содержитъ въ себѣ рѣшительно все, что мыслятъ о матеріи обыкновенные люди, стоящіе внѣ вліянія философскихъ и теологическихъ теорій. Увѣренность человѣчества въ дѣйствительномъ и видимомъ существованіи осязаемыхъ предметовъ есть увѣренность въ дѣйствительности и постоянствѣ возможностей зрительныхъ и осязатель-

ныхъ ощущеній, независимо отъ всякихъо щущеній дѣйствительныхъ.

Да позволено мнѣ будетъ еще разъ кратко пересказать то, что я думаю о той увѣренности, которую я старался растолковать выше, говоритъ Милль, подводя итоги изложенію своей теоріи. Мы имѣемъ увѣренность, что воспринимаемъ нѣчто, имѣющее близкое отношеніе ко всѣмъ нашимъ ощущеніямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отличное отъ испытываемыхъ нами въ какой-нибудь данный моментъ,—нѣчто, различаемое отъ мимолетности и скоротечности ощущеній присущею ему устойчивостью и постоянствомъ. Но эти свойства объекта составляютъ принадлежность всѣхъ открываемыхъ намъ опытомъ возможностей ощущеній. Увѣренность въ существованіи такихъ постоянныхъ возможностей заключаетъ въ себѣ, по моему мнѣнію, все, представляющееся существенно характеристичнымъ въ увѣренности, которую мы питаемъ относительно дѣйствительнаго существованія субстанціи. Я признаю, напримѣръ, что Калькутта существуетъ, хотя я и не воспринимаю ее, я признаю, что она не перестанетъ существовать и тогда, когда всѣ способные къ воспріятію обитатели ея были бы вынуждены оставить занимаемое ею мѣсто или же были бы поражены смертью. Анализируя мою увѣренность въ существованіи этого города, я нахожу, что въ случаѣ, если бы только-что упомянутыя событія дѣйствительно произошли, все же таки неизбѣжно остались бы тѣ постоянныя возможности ощущенія, которыя я называю «Калькутта». Изъ этого можно заключить, что какъ философы, такъ и обыденно-мыслящіе люди, мысля о матеріи, дѣйствительно представляютъ ее себѣ какъ постоянную возможность ощущенія. Большинство философовъ, однако же, воображаютъ, что въ данномъ случаю надо имѣть въ виду нѣчто бо̀льшее, а обыденно-мыслящіе люди, хотя въ мысли своей и не представляютъ ничего болѣе, какъ только постоянную возможность ощущенія, заявятъ, однако же, навѣрно, если спросятъ ихъ, что и они раздѣляютъ взглядъ большинства философовъ. Хотя этотъ фактъ можетъ быть вполнѣ объясненъ стремленіемъ человѣческаго ума заключать отъ различія названій къ различію предметовъ, но я все же нахожу нужнымъ

дать еще объясненіе и того, какимъ образомъ дѣлается возможнымъ быть увѣреннымъ въ существованіи такого «нѣчто», которое переступаетъ границы всѣхъ возможностей ощущенія, не предполагая при этомъ однако же, что такое «нѣчто» дѣйствительно существуетъ и что мы дѣйствительно воспринимаемъ его въ данный моментъ.

Милль находитъ, что требуемое здѣсь объясненіе не представляетъ никакихъ трудностей. Общеизвѣстенъ тотъ фактъ,— говоритъ онъ, — что намъ доступны всѣ тѣ понятія, которыя могутъ быть образованы согласно извѣстнымъ законамъ, заправляющимъ нашими ощущеніями. Каково бы ни было отношеніе, находимое нами между тѣми или другими изъ нашихъ ощущеній и чѣмъ-нибудь отъ него различнымъ, намъ во всякомъ случаѣ не трудно представить себѣ это отношеніе существующимъ и между всѣми нашими ощущеніями и чѣмъ-либо отъ нихъ различнымъ. Различіе, подмѣчаемое нашимъ сознаніемъ между двумя какими-нибудь ощущеніями, даетъ намъ понятіе различія въ общемъ значеніи этого термина и прочно ассоціируетъ съ каждымъ изъ нашихъ ощущеній чувствованіе различія ихъ отъ всего прочаго; какъ только же такая ассоціація окажется установленною, намъ уже становится невозможно мыслить о чемъ бы то ни было, не противопоставляя мыслимому понятія о чемъ-нибудь ему противоположномъ. Привычка къ противопоставленію всякой вещи, о которой мы мыслимъ, какой-либо другой, естественно ведетъ къ скорому и легкому образованію понятій о вещахъ, противопоставляющихся всему, что только извѣстно намъ коллективно или индивидуально. Мы, правда, не можемъ составить представленія о томъ, что̀ именно такое на самомъ дѣлѣ должно быть предполагаемое какъ противуположность; наше мышленіе не идетъ далѣе чисто-отрицательнаго понятія; но вѣдь и идея субстанціи, безотносительно къ впечатлѣнію, производимому ею на наши чувства, имѣетъ тоже отрицательный характеръ. Итакъ, нельзя указать психологической помѣхи къ образованію понятія чего-нибудь такого, что не есть ощущеніе и не есть возможность ощущенія даже и въ томъ случаѣ, когда сознаніе наше не свидѣтельствуетъ о томъ; и ничто не можетъ быть естествен-

нѣе, какъ сліяніе въ мысли нашей постоянныхъ возможностей ощущенія, свидѣтельствуемыхъ нашимъ сознаніемъ, съ этими воображаемыми понятіями. Опытъ обнаруживаетъ нашу сильную склонность къ подмѣнѣ мысленныхъ отвлеченій, даже и тогда, когда они имѣютъ лишь отрицательный характеръ, субстанціальными реальностями; а разъ не подлежитъ сомнѣнію, что мы способны переступить границы ощущенія, то становится въ высшей степени вѣроятнымъ, что мы припишемъ реальное существованіе именно возможностямъ ощущенія, которыя, согласно свидѣтельству нашего сознанія, такъ значительно разнятся по своимъ свойствамъ отъ дѣйствительныхъ ощущеній. Вѣроятность, здѣсь указанная, должна перейти, впрочемъ, въ достовѣрность, лишь только мы примемъ во вниманіе тотъ всеобщій законъ нашего опыта, обыкновенно называемый закономъ причинности, въ силу котораго мы не можемъ не связывать начало чего бы то ни было съ предшествующимъ ему условіемъ или причиной. Причинность представляетъ одинъ изъ самыхъ выдающихся случаевъ, когда на всю совокупность сознаваемаго распространяется понятіе, добытое изъ одной его части. Случай этотъ представляетъ поразительный примѣръ перенесенія отношенія, подмѣченнаго между двумя пунктами нашего опыта, на опытъ, взятый въ цѣломъ, въ сопоставленіи его съ какимъ-либо нѣчто, лежащимъ внѣ сферы опыта. Слѣдуя по этому пути, мы приходимъ къ мысли о происхожденіи самихъ ощущеній нашихъ отъ какого-нибудь антецедента, недостижимаго для ощущенія. И, какъ замѣчено было выше, постояннымъ антецедентомъ ощущенія рѣдко бываетъ испытываемое ощущеніе же или рядъ ихъ, а гораздо чаще—группа возможностей, могущихъ заключать въ себѣ лишь такое количество дѣйствительныхъ ощущеній, которое необходимо для указанія на дѣйствительное присутствіе возможностей въ данный моментъ. Но тутъ нѣтъ необходимости даже и въ какихъ бы то ни было дѣйствительныхъ ощущеніяхъ, такъ какъ присутствіе предмета (т.-е. непосредственное присутствіе возможностей) можетъ стать извѣстно намъ именно тѣмъ самымъ ощущеніемъ, которое мы разсматриваемъ, какъ его дѣйствіе. Такимъ образомъ, дѣйствительный антецедентъ ощущенія

можетъ быть не дѣйствительно испытываемое ощущеніе, а только присутствіе въ данный, или непосредственно предшествующій моментъ, группы возможностей ощущенія. Изъ этого видно, что идея причинности можетъ быть отождествлена не съ ощущеніями, испытываемыми въ данный моментъ, а съ ихъ постоянными возможностями, и мы однимъ и тѣмъ же процессомъ пріобрѣтаемъ привычку смотрѣть на ощущенія вообще, такъ же какъ и на всякое наше отдѣльное ощущеніе, какъ на дѣйствіе; вмѣстѣ съ тѣмъ мы пріобрѣтаемъ и привычку представлять себѣ, какъ причину бо̀льшей части нашихъ отдѣльныхъ ощущеній, не ощущенія же, а общія ихъ возможности.

Если всѣ эти соображенія, взятыя вмѣстѣ, говоритъ Милль въ заключеніе своего разсужденія, не объясняютъ съ достаточною полнотой, почему мы смотримъ на возможности, какъ на независимыя субстанціи, то я рѣшительно не знаю, каковъ долженъ быть тотъ психологическій анализъ, который будетъ имѣть по отношенію къ этому вопросу рѣшающее значеніе.

Затѣмъ, остается еще одно возраженіе, опроверженіе котораго и даетъ далѣе Милль. Могутъ сказать, что изложенная выше теорія, истолковывая идею постоянныхъ возможностей, составляющихъ извѣстную часть нашего понятія матеріи, не объясняетъ нашей увѣренности въ существованіи этихъ постоянныхъ объектовъ именно внѣ насъ или, иначе говоря, во внѣшнемъ мірѣ. Отвѣчая на это возраженіе, Милль говоритъ, что, по его убѣжденію, идея чего-либо внѣ насъ находящагося исключительно исходитъ изъ пріобрѣтаемаго нами путемъ опыта познанія постоянныхъ возможностей. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что ощущенія эти никогда не перестаютъ намъ сопутствовать, и что ихъ никогда не бываетъ тамъ, гдѣ насъ нѣтъ; но что касается до постоянныхъ возможностей, то не подлежитъ сомнѣнію, что мѣстонахожденіе ихъ не измѣняется вмѣстѣ съ нашимъ передвиженіемъ: онѣ возникаютъ или исчезаютъ совершенно независимо отъ нашего присутствія или отсутствія. И сверхъ того, не для однихъ насъ, но и для другихъ личностей, онѣ остаются все тѣми же постоянными возможностями, и останутся такими даже и тогда, когда мы потеряемъ способ-

ность чувствовать. Такимъ образомъ, наши дѣйствительныя ощущенія и постоянныя возможности ощущенія представляютъ при сопоставленіи ихъ рѣзкій контрастъ, и становится ясно, что при обобщеніи понятія причины мы неизбѣжно устанавливаемъ различіе между постоянными возможностями ощущенія и нашими дѣйствительными ощущеніями и разсматриваемъ эти послѣднія, какъ дѣйствія первыхъ.

Въ заключеніе остается упомянуть еще объ одномъ замѣчаніи Милля, способствующемъ установленію вѣрнаго взгляда на его теорію. Изъ предшествовавшаго мы имѣли уже случай видѣть, какимъ образомъ теорія эта объясняетъ склонность нашу приписывать группѣ возможностей такое постоянное бытіе, которымъ не обладаютъ наши ощущенія, и бо́льшую реальность, которой въ ощущеніяхъ нашихъ не оказывается; теперь предстоитъ еще показать, что эта самая теорія объясняетъ, почему мы усматриваемъ въ первичныхъ свойствахъ тѣлъ (протяженность, непроницаемость, число, величина, форма, положеніе, подвижность) бо́льшую степень объективности, чѣмъ въ свойствахъ вторичныхъ (цвѣтъ, звукъ, запахъ, температура). Это происходитъ оттого, что мы всегда можемъ констатировать присутствіе ощущеній, отвѣчающихъ такъ-называемымъ первичнымъ свойствамъ, если часть группы возможностей находится въ наличности, тогда какъ вслѣдствіе большой мимолетности вторичныхъ свойствъ, мы не такъ легко можемъ представить себѣ ихъ присутствіе тамъ, гдѣ некому воспринимать ихъ. Отсюда—постоянство ощущеній, отвѣчающихъ первичнымъ свойствамъ, и случайность—отвѣчающихъ вторичнымъ. Вторичныя сверхъ того измѣняются сообразно различію лицъ и преходящей чувствительности органовъ; первичныя же, насколько мы въ состояніи судить, сохраняютъ свою неизмѣняемость и не зависятъ отъ индивидуальностей и времени.

Покончивъ съ изслѣдованіемъ объекта, Милль въ XII главѣ переходитъ къ субъекту, прилагая къ нему ту же психологическую теорію, которая руководила предшествовавшимъ анализомъ. И въ настоящемъ случаѣ Милль опять отправляется отъ той непререкаемой истины, что субъектъ, наше «я» или духъ

(mind), открывается намъ лишь въ проявленіяхъ сознанія и отдѣленнымъ отъ нихъ вовсе не можетъ мыслиться. Знать его, представить себѣ его, возможно только чрезъ посредство преемства различныхъ чувствованій, называемыхъ метафизиками состояніями или модификаціями духа. Остается неподлежащимъ сомнѣнію однако же, что наше понятіе духа, также какъ и понятіе матеріи, есть понятіе постояннаго нѣчто, противополагаемаго непрерывному потоку ощущеній и чувствованій или состояній сознанія, относимыхъ нами къ этому «нѣчто». Оно, это нѣчто, представляется нами неизмѣннымъ, тогда какъ чувствованія, чрезъ посредство которыхъ совершается его проявленіе, претерпѣваютъ измѣненія. Постоянство, на которое здѣсь указывается, требуетъ и въ настоящемъ случаѣ, когда оно приписывается духу, такого же объясненія, какое требовалось, когда оно являлось предикатомъ матеріи. Питаемая мною увѣренность въ существованіи моего духа даже и тогда, когда не является чувствующимъ, мыслящимъ и сознающимъ свое собственное существованіе, сводится къ увѣренности въ существованіи постоянной возможности этихъ состояній. Если я представляю себя погруженнымъ въ сонъ безъ сновидѣній, или же въ сонъ смерти, и питаю увѣренность, что мое «я», или, все равно, мой духъ, продолжаетъ, хотя бы и безсознательно, существованіе свое и въ этихъ состояніяхъ, то, подвергая увѣренность мою самому тщательному изслѣдованію, можно будетъ открыть только то, что увѣренность эта сводится къ увѣренности въ сохраненіи моей способности къ ощущенію и въ этомъ состояніи,— способности, претерпѣвающей перерывы только потому, что въ наличности не оказывается всѣхъ тѣхъ условій, которыя необходимы для поддержанія ея въ дѣятельномъ состояніи, и что чуть только явятся эти условія, способность моя оживетъ и возстановится во всей своей полнотѣ. Такимъ образомъ я выражаю, значитъ, что считаю эту способность постоянною возможностью. Итакъ, я не усматриваю никакого препятствія для того, чтобы разсматривать духъ, какъ рядъ нашихъ дѣйствительныхъ ощущеній (къ которымъ теперь слѣдуетъ присоединить еще и внутреннія чувствованія), соединенныхъ съ безконечными возмож-

ностями чувствованія, требующихъ для своего осуществленія такихъ условій, которыхъ въ данный моментъ можетъ и не быть, но которыя, какъ возможности, не перестаютъ существовать и многія изъ которыхъ могутъ сейчасъ же перейти въ дѣйствительность.

Чтобы лучше выяснить свою теорію во всемъ ея объемѣ, Милль считаетъ полезнымъ сопоставить ее съ тремя вопросами, которые весьма натурально возникаютъ по ея поводу и которые весьма часто и были выставляемы по ея поводу, но разрѣшеніе которыхъ нерѣдко было крайне ошибочно. Если теорія вѣрна, если мое «я» дѣйствительно представляетъ лишь рядъ чувствованій, или, какъ ихъ называли, нить сознаній, дополненную сознаніями неосуществленными, но возможными, если къ этому только сводится духъ или наше «я», то, спрашивается, какія доказательства можемъ мы представить по отношенію къ существованію другихъ «я», намъ подобныхъ; какъ докажемъ мы существованіе гиперфизическаго міра и, наконецъ, что̀ представимъ мы для доказательства безсмертія души?

Отвѣчая на первый изъ этихъ вопросовъ, Милль говоритъ, что его теорія не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что могло бы препятствовать мнѣ мыслить о другихъ, подобныхъ мнѣ существахъ, духъ которыхъ представляетъ также рядъ чувствованій. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ образовалась у меня увѣренность, что видимыя мною движущіяся и говорящія существа обладаютъ чувствованіями и мыслями и не лишены того, что̀ мы называемъ духомъ? Увѣренность эта образовалась у меня, конечно, не интуитивно. Отъ знаковъ я заключаю къ выражаемымъ имъ чувствамъ; мой собственный опытъ служитъ основою моей индукціи. Но этотъ логическій пріемъ рѣшительно ничего не теряетъ по отношенію его закономѣрности при предположеніи, что и матерія, и духъ должны быть разсматриваемы какъ постоянныя возможности ощущенія и чувствованія. Но если психологическая теорія не нарушаетъ моей увѣренности въ существованіи другихъ «я», мнѣ подобныхъ, то и увѣренность въ бытіи гиперфизическомъ нисколько ею не нарушается. Предположимъ, что я разсматриваю гиперфизическое бытіе, какъ рядъ гипер-

физическихъ мыслей, продолженныхъ въ безконечность, и вы признаете, что я принимаю гиперфизическое бытіе за фактъ столь же несомнѣнный, какъ мое собственное существованіе. Итакъ, увѣренность, о которой теперь идетъ рѣчь, не можетъ ничего ни потерять, ни выиграть отъ предлагаемой психологической теоріи. Точно то же можно сказать и по отношенію къ вопросу о безсмертіи: представить себѣ преемство чувствованій или нить сознаній, идущихъ въ безконечность, такъ же легко, какъ и представить духовную субстанцію, не перестающую существовать. И если имѣются подтверждающія такую мысль доказательства, они могутъ найти одинаковое примѣненіе какъ въ той, такъ и въ другой теоріи.

Возраженія, устраненныя изложенными выше соображеніями, относятся къ числу внѣшнихъ; психологическая теорія имѣетъ однако же дѣло не съ одними ими; есть еще внутреннія затрудненія, которыя, по мнѣнію Милля, никакой метафизическій анализъ не можетъ устранить. Рядомъ съ чувствованіями даннаго момента и возможностями чувствованій въ это же самое время, есть еще цѣлая группа явленій, подлежащихъ включенію въ перечень элементовъ, входящихъ въ наше понятіе духа. Нить сознаній, изъ которыхъ слагается общая совокупность явленій психической жизни, состоитъ не только изъ ощущеній даннаго момента, но также отчасти и изъ припоминаній и ожиданій. Но что же слѣдуетъ намъ разумѣть подъ этими послѣдними? Сами по себѣ, они—чувствованія данной минуты, состоянія сознанія этой минуты, и въ этомъ отношеніи они ничѣмъ не отличаются отъ ощущеній. Болѣе того, всѣ они сходственны съ данными ощущеніями или чувствованіями, испытанными нами ранѣе. Имъ присуща, однако же, одна особенность, заключающаяся въ томъ, что каждое изъ нихъ предполагаетъ увѣренность, переступающую границы ихъ собственнаго существованія. Ощущеніе ничего не предполагаетъ, но припоминаніе объ ощущеніи, даже и тогда, когда оно не относится къ какой-нибудь опредѣленной датѣ, предполагаетъ увѣренность, что копируемое имъ ощущеніе дѣйствительно существовало въ прошедшемъ; ожиданіе же предполагаетъ болѣе или менѣе положительную увѣренность въ

неизбѣжности возникновенія въ будущемъ того ощущенія или чувствованія, которое ожиданіе это имѣетъ въ виду. Явленія, предполагаемыя обоими этими состояніями сознанія, не могутъ быть достаточно точно выражены безъ указанія на то, что предполагаемая ими увѣренность и есть именно та, которую имѣлъ или буду имѣть по отношенію къ минувшимъ или ожидаемымъ ощущеніямъ именно я, а не кто другой. Фактъ, относительно котораго высказывается увѣренность, заключается въ томъ, что ощущенія образовали прежде или образуютъ позже одну часть того ряда состояній или той цѣпи сознанія, другую часть которыхъ представляютъ припоминанія или ожиданія настоящаго момента. Если же мы разсматриваемъ духъ, какъ рядъ чувствованій, то для насъ становится обязательно пополнить наше утвержденіе, назвавъ его рядомъ чувствованій, сознающимъ себя, какъ рядъ прошедшій и будущій, и передъ нами является альтернатива, или поддерживать увѣренность въ томъ, что духъ или наше «я» есть нѣчто различное отъ ряда чувствованій или ряда возможностей ихъ, или принять парадоксъ, будто бы нѣчто, заключающееся предположительно только въ рядѣ чувствованій, въ состояніи сознавать себя таковымъ.

Заканчивая главу, посвященную приложенію психологической теоріи объекта къ изученію субъекта, Милль дѣлаетъ одно весьма важное замѣчаніе, въ высшей степени достойное вниманія всякаго, кто желаетъ составить о вышеизложенной теоріи вполнѣ правильное сужденіе. Дѣло заключается въ томъ, говоритъ Милль, что мы въ данномъ случаѣ становимся лицомъ къ лицу съ той конечной необъяснимостью, къ которой мы неизбѣжно приходимъ, когда достигаемъ предѣльныхъ фактовъ; вообще говоря, можно утверждать, что одна формулировка кажется непонятнѣе другой только потому, что вся наша рѣчь, какъ приспособленная къ первой, можетъ, при изложеніи второй, пользоваться лишь такими терминами, которые ее отрицаютъ. Дѣйствительный камень преткновенія, на который мы тутъ наталкиваемся, заключается, быть можетъ, не въ теоріи, а въ самихъ фактахъ. Дѣйствительная необъяснимость состоитъ, можетъ быть, въ томъ, что нѣчто, переставшее существовать или еще не возникшее,

можетъ извѣстнымъ образомъ представиться настоящимъ, иначе говоря, что рядъ чувствованій, безконечно бо́льшая часть коихъ относится къ прошедшему или будущему, можетъ быть сосредоточена, такъ сказать, въ одномъ настоящемъ представленіи, связанномъ съ увѣренностью въ его реальности. Я думаю, заключаетъ Милль это разсужденіе, что всего умнѣе — принять необъяснимый фактъ, не выставляя никакой теоріи его происхожденія; когда же намъ приходится говорить объ этомъ фактѣ, пользуясь терминами какой бы то ни было теоріи,—употреблять эти термины съ оговоркою о ихъ значеніи.

Здѣсь будетъ умѣстно сказать нѣсколько словъ о тѣхъ положеніяхъ Милля, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ его рѣшенію вопроса о субстанціи, и которыя дополняетъ вышесказанное весьма вѣрными чертами.

Вмѣстѣ съ идеей субстанціи удерживается или падаетъ и идея «вещи въ себѣ». И этотъ призракъ сошелъ со сцены научной философіи, повинуясь заклинанію Милля. «Очевидно, что все, сказанное о непознаваемости «вещи въ себѣ», не препятствуетъ намъ приписывать этой вещи извѣстные аттрибуты или свойства, лишь бы только мы признавали свойства эти относительными,—говоритъ Милль, разсуждая объ относительности познанія. — Если вещь производитъ впечатлѣнія, которыя наши зрѣніе, слухъ или осязаніе могутъ воспринять, то изъ этого слѣдуетъ, — выражая то же утвержденіе другими словами, — что вещь м о ж е т ъ производить эти впечатлѣнія. Эти различныя возможности и слѣдуетъ считать свойствами данной вещи, и неопредѣленное множество ихъ надо признать открытымъ нашему познанію. Но это познаніе — чисто-феноменальное. Объектъ извѣстенъ намъ лишь въ одномъ спеціальномъ отношеніи, а именно въ томъ, что онъ производитъ извѣстныя впечатлѣнія на наши чувства, и все познанное нами сводится къ этимъ впечатлѣніямъ. Только это отрицательное значеніе и имѣетъ утвержденіе о непознаваемости «вещи въ себѣ», о непознаваемости и внутренней природы или сущности. Внутренняя природа или сущность какой-нибудь вещи можетъ быть разсматриваема какъ нѣчто неизвѣстное, какъ нѣчто такое, познаніе чего дало бы

намъ объясненіе всѣхъ явленій, представляемыхъ данною вещью. Но это неизвѣстное нѣчто есть предположеніе, лишенное очевидности. У насъ нѣтъ основанія для предположенія, что существуетъ нѣчто такое, что, будучи познано, могло бы дать уму нашему указанное удовлетвореніе, могло бы свести въ одно предложеніе всѣ доступныя познанію опредѣленія даннаго подлежащаго. Болѣе того, если бы такое центральное свойство существовало, оно не соотвѣтствовало бы идеѣ «внутренней природы», такъ какъ, если оно можетъ быть познано какимъ бы то ни было умомъ, то оно должно, подобно другимъ свойствамъ вещи, быть относительнымъ познающему его уму, т.-е. оно должно заключаться лишь въ извѣстномъ состояніи сознанія, вызываемомъ въ томъ умѣ. Иной идеи о познаніи мы не имѣемъ; иного смысла у глагола «познавать» не существуетъ» *).

Само собою разумѣется, что фантомъ «абсолюта», и до сихъ поръ ослѣпляющій метафизиковъ, не могъ сохранить свое прежнее, темное значеніе среди крушеній, изображенныхъ на предшествовавшихъ страницахъ. Вырабатывая для него опредѣленный смыслъ и съ этою цѣлью анализируя его совмѣстно съ понятіемъ безконечнаго, Милль начинаетъ съ того, что ставитъ на видъ отсутствіе необходимости въ объясненіи «безконечнаго». «Всякій понимаетъ—говоритъ Милль—что подъ безконечнымъ мы разумѣемъ величину, не имѣющую границъ. Когда мы говоримъ о безконечномъ времени или безконечномъ пространствѣ, мы предполагаемъ время, которое никогда не прекратится, предполагаемъ объемъ, который нигдѣ не имѣетъ предѣла. Терминъ «абсолютъ», благодаря разносмыслію своему, гораздо темнѣе; но, при сопоставленіи своемъ съ терминомъ «безконечный», абсолютъ (согласно этимологіи этого слова) означаетъ то, что закончено, завершено. Существуютъ нѣкоторыя вещи, наивысшая идеальная цѣнность которыхъ заключается въ количественной ихъ ограниченности,—ограниченности, предѣлъ которой никогда не достигается въ дѣйствительности. Въ этомъ смыслѣ отношеніе между абсолютнымъ и безконечнымъ въ достаточной мѣрѣ

*) «Examination», p. 24.

тѣсно (какъ сказалъ бы Бэнтамъ), а именно оно является отношеніемъ противоположенія. Напримѣръ, когда мы констатируемъ абсолютный минимумъ вещества, мы отрицаемъ его безконечную дѣлимость. Точно также мы можемъ утверждать абсолютную, а не безконечную чистоту воды. Чистота воды не такой фактъ, чтобы, предположивъ достиженіе какой бы то ни было его степени, мы должны бы были необходимо допустить еще бо́льшую его степень недостигнутою. Фактъ этотъ имѣетъ свой абсолютный предѣлъ: предполагаетъ законченность и полноту—если не въ дѣйствительности, то въ мысли. Постороннія вещества, могущія быть въ какомъ-нибудь сосудѣ воды, могутъ быть только въ конечномъ объемѣ, и по удаленіи ихъ невозможно мыслить даже, чтобы чистота воды могла возрастать. Но, кромѣ значенія ограниченности, предѣльности, представляющихъ крайне интересную соотносительность съ идеей безконечнаго, терминъ «абсолютный» имѣетъ еще и другія значенія, хотя нерѣдко и смѣшиваемыя съ понятіями только что разсмотрѣнными, но въ дѣйствительности не имѣющія ничего съ ними общаго. «Абсолютный» часто значитъ—противоположный «относительному»; но и въ этомъ противопоставленіи терминъ этотъ имѣетъ не одно, а нѣсколько значеній. Въ самомъ дѣлѣ, терминъ «относительный» не имѣетъ совершенно опредѣленнаго значенія, а, между тѣмъ, вездѣ, когда имъ пользуются, слово «абсолютный» сопутствуетъ ему въ качествѣ его отрицанія. Имѣя различныя значенія, «абсолютный» значитъ еще то же, что независимый отъ чего бы то ни было; то, что́ существуетъ и есть, что́ есть, по своей собственной природѣ, а не въ силу причины, заключающейся въ другой вещи. Въ этомъ четвертомъ смыслѣ, такъ же какъ и въ третьемъ, «абсолютный» представляетъ отрицаніе отношенія,— не отношенія вообще, а извѣстнаго опредѣленнаго отношенія, выражаемаго терминомъ «дѣйствіе» (effect). Такое значеніе дѣлаетъ этотъ терминъ синонимомъ «безпричиннаго» и потому естественно принимается вмѣсто первой причины *).

*) Ibid., p. 50.

Психологическая теорія Милля, изложенная на предшествовавшихъ страницахъ, встрѣтила по своемъ появленіи такую массу возраженій, что автору ея пришлось посвятить полемикѣ со своими противниками цѣлую добавочную главу, нѣкоторыя извлеченія изъ которой мы и намѣрены теперь представить читателю. Милль начинаетъ замѣчаніемъ, что метафизики, рѣшеніе которыхъ было предвзято и которые по отношенію къ его теоріи стали въ положеніе враждебное, обнаружили такую мѣру оппозиціи, которая какъ разъ была пропорціональна отсутствію у нихъ столь необходимой метафизику способности представлять себя разсматривающимъ вопросъ съ точки зрѣнія другой, чуждой ему теоріи. Такъ, они торжествовали, напримѣръ, придираясь къ представлявшемуся случаю сдѣлать ложные выводы изъ неизбѣжной для Милля необходимости пользоваться обыденною рѣчью. Они старались установить, что Миллевы доказательства по вопросу объ образованіи увѣренности въ существованіи матеріи предполагаютъ увѣренность въ существованіи матеріи какъ субстанціи, такъ какъ ему приходилось говорить о передвиженіи изъ комнаты въ комнату и т. п. «Мои противники забываютъ—говоритъ Милль—что употребленныя мною выраженія имѣютъ въ области психологической теоріи такой же опредѣленный смыслъ, какъ и въ области той теоріи, которой они придерживаются. Такъ, если говорится, напримѣръ, о переходѣ изъ комнаты въ комнату, то для психологической теоріи здѣсь идетъ рѣчь лишь о рядѣ ощущеній и возможностей ощущенія, изъ чего вовсе нельзя еще заключить, что ощущенія эти и возможности должны быть непремѣнно относимы къ лежащей внѣ всякихъ ощущеній и возможностей субстанціи. Стараясь выяснить, какимъ образомъ произошло то понятіе, о которомъ идетъ рѣчь, я долженъ былъ—говоритъ далѣе Милль—выражаться на языкѣ, наиболѣе понятномъ моему читателю. Вмѣстѣ съ тѣмъ я долженъ былъ оставаться вѣрнымъ психологической теоріи, и если бы противники мои попытались стать на точку зрѣнія этой теоріи, они ясно увидѣли бы, что я не прегрѣшилъ противъ послѣдовательности въ проведеніи моей мысли. Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ философы, изслѣдовавшіе со всею тщательностью этотъ во-

просъ, могутъ подтвердить тотъ параллелизмъ обѣихъ теорій, для выраженія однихъ и тѣхъ же фактовъ, который не былъ оцѣненъ моими противниками; философы, о которыхъ я только-что упомянулъ, рѣшили, что идея субстанціи постулируется только какъ устой явленій, какъ связь для ряда или группы явленій, которыя безъ нея остаются лишенными связи. Отвлечемъже мысль объ устоѣ и допустимъ, что явленія остаются и сохраняютъ связь въ тѣхъ же рядахъ и группахъ какою-нибудь другою силою или, пожалуй, не силою, а внутреннимъ закономъ,—и вотъ, хотя субстанціи и не стало, но всѣ послѣдствія, ради которыхъ предположено было существованіе субстанціи, остаются неизмѣнными. Индусы воображали, что земля должна держаться на слонѣ; но земля вращается, не нуждаясь во внѣшней поддержкѣ, и самоуравновѣшивается на своемъ центрѣ. Декартъ думалъ, что для взаимодѣйствія земли и солнца необходима матеріальная, заполняющая пространство между ними, среда; но было найдено, что достаточно и одного нематеріальнаго закона тяготѣнія, и тогда среда и ея вихри исчезли, какъ излишніе.»

Всѣ предшествовавшія разсужденія имѣли цѣлью уяснить условія, которыя психологическая теорія постулируетъ по отношенію къ самому духу; покончивъ съ этомъ вопросомъ, Милль переходитъ къ разсмотрѣнію тѣхъ условій, которыя теорія эта постулируетъ по отношенію къ природѣ или, выражаясь языкомъ Канта, по отношенію къ тому, что дано въ духѣ, какъ различное отъ его самого.

Прежде всего, говоритъ онъ, теорія постулируетъ ощущенія, и затѣмъ, извѣстный порядокъ этихъ ощущеній и различные ихъ роды.

На первомъ планѣ передъ нами является фактъ преемства ощущеній и только. Этотъ фактъ—фактъ преемства—слѣдуетъ считать наравнѣ съ самими ощущеніями фактомъ первоначальнымъ (primordial). Онъ предполагается всякою теоріею происхожденія ощущеній и потому это фактъ конечный. Если вмѣстѣ съ его постулированіемъ постулируется и реальность времени, но времени не какъ какой-либо сущности (entity), а лишь какъ неопредѣленной послѣдовательности преемства. При этомъ не

рѣшается еще вопросъ о томъ, дается-ли этотъ аттрибутъ ощущеній въ самихъ ощущеніяхъ или связывается съ ними законами духа, а также остается безъ отвѣта и вопросъ о томъ, исчезаетъ-ли на этой высотѣ отвлеченія всякое различіе или нѣтъ. Вообще говоря, постулированіе указаннаго факта должно быть принято въ такихъ границахъ, въ которыхъ оно установлено, а не быть расширяемо произвольно, какъ на томъ настаивали нѣкоторые оппоненты.

Ощущеніямъ, продолжаетъ далѣе Милль, присуще не одно только преемство, но и одновременность. Этотъ аттрибутъ ощущеній не такъ очевидно первоначаленъ, какъ преемство. Нѣкоторые философы утверждаютъ, что ощущенія, повидимому одновременныя, представляютъ въ дѣйствительности быструю преемственность. Милль отвергаетъ этотъ взглядъ и замѣчаетъ при этомъ, что и принимающіе его все же таки должны остаться при постулированіи указаннаго различенія и признать, что мы способны отдѣлять сознаваемое преемство отъ такого, которое чувствуется какъ одновременность.

Рядомъ съ этимъ двоякимъ порядкомъ, свойственнымъ ощущеніямъ, Милль указываетъ еще и на порядокъ въ этомъ порядкѣ, а именно: ощущенія бываютъ преемственны или одновременны въ постоянныхъ комбинаціяхъ. Какое-нибудь ощущеніе, являясь, какъ предшествующее, сопровождается всегда однимъ и тѣмъ же послѣдующимъ ощущеніемъ; точно также складывается и ихъ одновременность: извѣстному ощущенію сосуществуетъ всегда одна и та же группа совмѣстныхъ ощущеній. Все это совершается, впрочемъ, не съ тою простотою, которая очерчена здѣсь краткости ради: однообразіе порядка, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, въ дѣйствительности гораздо сложнѣе. Послѣдующее ощущеніе не всегда дѣйствительно испытывается послѣ предшествующаго, а одновременныя ощущенія не всегда испытываются всѣ именно тогда, когда чувствуется одно изъ нихъ. Но всякое испытанное ощущеніе внушаетъ намъ основанную на опытѣ увѣренность, что каждое изъ остальныхъ ощущеній данной группы, если и не испытывается въ настоящій моментъ, можетъ быть испытано въ томъ случаѣ, когда при-

знанные его антецеденты окажутся въ наличности. Такъ, напримѣръ, я испытываю извѣстное цвѣтовое ощущеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ зрительное—ощущеніе диска; оба эти ощущенія извѣстны мнѣ при этомъ, какъ части ощущенія, полученнаго отъ чугуннаго ядра. Я заключаю, что въ настоящее время, при соблюденіи извѣстныхъ условій, я могъ бы испытывать и еще одно ощущеніе—ощущеніе твердости. Но это послѣднее ощущеніе для настоящаго момента не является для меня неизбѣжнымъ. Почему? Потому, что—какъ мнѣ извѣстно то изъ опыта—послѣднее изъ этихъ ощущеній не можетъ испытываться безъ предварительно испытаннаго другого ощущенія—мускульнаго напряженія и давленія. Зрительное ощущеніе является такимъ образомъ одновременнымъ не съ дѣйствительно испытуемымъ ощущеніемъ твердости, но лишь съ наличною его возможностью. Когда мы чувствуемъ одно, мы не испытываемъ непремѣнно въ то же время и другое, но намъ извѣстны тѣ условія, при которыхъ ощущеніе это становится дѣйствительнымъ. Теперь намъ станетъ понятно выраженіе: тѣло есть группа одновременныхъ возможностей ощущенія (а не одновременныхъ ощущеній). Легко понять, почему такъ рѣдко случается, чтобы всѣ ощущенія, входящія въ данную группу, являлись бы осуществленными, точно такъ же, намъ очевидно то, что констатированіе одного ощущенія вызываетъ представленіе о всей группѣ. Нѣтъ надобности вдаваться въ бо́льшія подробности для того, кто усвоитъ себѣ основной смыслъ психологической теоріи, и долго еще придется твердить ее тѣмъ, которые окажутся не желающими, или неспособными, стать на ея точку зрѣнія, бывшую до того времени имъ чуждой, и приложеніе которой по этой причинѣ остается для нихъ недоступнымъ.

Таково изложеніе психологической теоріи съ ея объективной стороны; оно—по словамъ Милля—не предполагаетъ ничего, что бы не было предварительно самымъ опредѣленнымъ образомъ постулировано и не постулируетъ ни одного изъ тѣхъ фактовъ, которые предстояло объяснить. Здѣсь постулируется также и «я», какъ чувствующій субъектъ, какъ носитель ощущеній, но сдѣлано это съ полнымъ на то правомъ, такъ какъ пока я

еще слѣжу за происхожденіемъ понятія тѣла, а не «я», какъ то, конечно, и было ясно для внимательнаго читателя.

Перейдемъ теперь къ тѣмъ опроверженіямъ, которыя выставляетъ Милль противъ возраженій на его толкованія субъекта, какъ ряда возможностей чувствованія.

Изложеніе той части психологической теоріи, которая относится къ этому пункту, привело къ тому результату, что единственнымъ фактомъ, заставляющимъ утверждать существованіе «я», остается память (такъ какъ ожиданіе можно разсматривать какъ слѣдствіе памяти) и что фактъ этотъ притомъ же остается единственнымъ психологическою теоріею необъясненнымъ, такъ что, по убѣжденію Милля, нѣтъ основанія для утвержденія, что познаніе нашего «я» возникаетъ ранѣе памяти. Истинное понятіе нашего «я» возникаетъ, по мнѣнію Милля, изъ воспредставленій *) памяти, пробужденной единственнымъ фактомъ, способнымъ пробудить ее ранѣе образованія какой бы то ни было ассоціаціи, а именно: появленіе ощущенія, подобнаго испытанному ранѣе. Фактъ узнанія ощущенія, фактъ припоминанія его, какъ обыкновенно говорится, является простѣйшимъ и элементарнѣйшимъ фактомъ памяти. Этотъ фактъ и слѣдуетъ разсматривать какъ необъяснимое звено, связующее сознаніе настоящей минуты съ сознаніемъ минувшимъ, которое онъ намъ припоминаетъ. Говоря такъ, мы устанавливаемъ то приблизительное положительное понятіе о «я», какое только намъ доступно. Въ этой связи, говоритъ далѣе Милль, заключается нѣчто реальное, столь же реальное, по крайней мѣрѣ, сколь реальны ощущенія, и его нельзя разсматривать какъ продуктъ законовъ мышленія, не имѣющій за собою никакихъ соотвѣтствующихъ ему фактовъ, хотя можно много спорить, конечно, о томъ процессѣ, при помощи котораго мы достигаемъ этого познанія, въ особенности же тогда, когда отъ опредѣленія этого процесса потребуется значительная точность. Одно вѣрно, это

*) Необходимость терминовъ, соотвѣтствующихъ англійскимъ «presentation» и «representation» сама собою ведетъ къ термину «воспредставленіе», долженствующему выразить воспроизведеніе представленія памятью.

то, что этотъ самобытный элементъ, природа котораго не имѣетъ ничего общаго съ другими вещами, соотвѣтствующими имѣющимся въ нашемъ распоряженіи названіямъ, и долженствующій имѣть названіе, собственно ему принадлежащее, есть именно то, что мы называемъ нашимъ «я». Въ этомъ смыслѣ я приписываю реальность этому «я»,—моему собственному духу—различающемуся отъ постоянныхъ возможностей ощущенія — этой единственной реальности, которую я признаю въ матеріи. Въ силу же наведенія, основаннаго на опытѣ этого самого «я», мною приписывается реальность и другимъ «я».

«Опредѣливъ — говоритъ далѣе Милль — мой взглядъ на реальность нашего «я», поскольку вопросъ этотъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ относящійся къ онтологіи, я перехожу къ другому вопросу, а именно къ вопросу объ относительности знанія и утверждаю, что какова бы ни была природа, приписываемая нами духу, духъ познается самъ собою только феноменально, какъ рядъ чувствованій или цѣпь состояній сознанія. Мы вынуждены признать, что каждое звено этой цѣпи связано съ другимъ звеномъ какою-то общею всѣмъ имъ связью,—связью, которую нельзя отождествить, впрочемъ, съ самими чувствованіями, которая остается неизмѣнною во всѣхъ отдѣльныхъ звеньяхъ цѣпи и которую мы поэтому называемъ постоянною. Вотъ все, что мы въ состояніи утверждать по отношенію къ духу. Приписывая ему чувствованія и состоянія сознанія въ настоящемъ и прошедшемъ и возможности повторенія ихъ, мы исчерпываемъ всѣ тѣ его аттрибуты, которые мы можемъ считать положительными, за исключеніемъ постоянства, которое мы тоже можемъ признать за нимъ.» Употребляя поэтому безразлично термины: «духъ» и «состояніе сознанія», Милль настаиваетъ на необходимости для всякаго читателя постоянно помнить о тѣхъ разъясненіяхъ, которыя были имъ представлены.

Теперь намъ не трудно будетъ усвоить понятіе коррелативизма, какъ оно устанавливается у Милля, такъ какъ понятіе это вытекаетъ само собою изъ предшествующихъ разсужденій. Всякое ощущеніе, какъ то и очевидно, неизбѣжно ассоціируется съ постоянными возможностями—съ объектомъ, съ одной сто-

роны, и съ рядомъ чувствованій—съ субъектомъ—съ другой. Объектъ, ощущаемый и субъектъ ощущающій, связующіеся въ ощущеніи, должны бы были наложить печать своей соотносительности на терминъ, ее выражающій, или, иначе говоря, понятіе ощущенія должно бы выражаться двумя терминами, изъ которыхъ одинъ представлялъ бы ощущеніе въ его противопоставленіи субъекту, другой—въ противопоставленіи его объекту. Замѣтимъ, однако же, тотъ фактъ, что необходимость эта не была почувствована, и что потребность коррелативнаго термина для выраженія понятія относительности считалась удовлетворенною въ данномъ случаѣ терминами объектъ и субъектъ самими по себѣ, при чемъ имѣлась въ виду прямая относительность объекта къ субъекту, а не та, которая существуетъ между объектомъ и ощущеніемъ, съ одной стороны, субъектомъ и ощущеніемъ—съ другой. Не подлежитъ сомнѣнію, конечно, что соотношеніе между субъектомъ и объектомъ существуетъ, но существуетъ оно только при посредствѣ ощущенія, или, иными словами, оно состоитъ изъ тѣхъ различныхъ и особенныхъ отношеній, въ которыхъ каждая изъ сторонъ стоитъ къ ощущенію. Субъектъ и объектъ, духъ и матерія извѣстны намъ только какъ такое нѣчто, къ которому мы относимъ всѣ наши ощущенія и чувствованія; другого понятія о нихъ мы не имѣемъ. Самое ихъ существованіе, поскольку оно намъ извѣстно, выражается въ одномъ только отношеніи каждаго изъ нихъ къ состоянію нашихъ чувствованій. Взаимное же ихъ отношеніе заключается въ отношеніи этихъ отношеній. Непосредственными коррелативами является не пара: субъектъ, объектъ, но двѣ пары: объектъ, ощущенія (разсматриваемыя объективно); субъектъ, ощущенія (разсматриваемыя субъективно).

Таковъ принципъ коррелативизма, какимъ онъ является въ изложеніи Милля. Коррелативизмъ, согласно этому изложенію, есть соотношеніе двухъ отношеній: субъекта къ ощущенію, съ одной стороны, и объекта къ ощущенію—съ другой; ощущеніе же является его общимъ выраженіемъ; моменты же, изъ которыхъ онъ слагается, опредѣляются такъ: объектъ есть постоян-

ная возможность ощущенія, субъектъ—постоянная возможность чувствованія.

Изъ трехъ этихъ тезисовъ послѣдній оставленъ Миллемъ въ такомъ незаконченномъ видѣ, который самъ онъ считалъ не вполнѣ разрѣшающимъ относящуюся къ нему проблему, а потому нельзя не признать, что правильная его оцѣнка можетъ воспослѣдовать лишь при томъ условіи, когда будетъ принята во вниманіе оговорка Милля и вмѣстѣ съ тѣмъ не будетъ упущено изъ виду, что при всемъ несовершенствѣ или, пожалуй, невыполнимости обработки понятія «постоянныхъ возможностей чувствованія»—понятіе это никогда не переставало въ глазахъ самого Милля соотвѣтствовать не пустой фикціи, а вполнѣ реальному, несомнѣнно существующему «субъекту».

Что касается второго тезиса, то тезисъ этотъ, какъ выработанный окончательно, особенно стойко былъ защищаемъ Миллемъ противъ цѣлой литературы самыхъ разнообразныхъ опроверженій и возраженій. Сила положенной въ основаніе этого тезиса мысли сказалась и въ этой поднятой имъ въ свое время бурѣ, и въ томъ живомъ интересѣ, который онъ не перестаетъ возбуждать даже и теперь: черезъ 17 лѣтъ послѣ смерти Милля не перестаютъ появляться изслѣдованія его значенія и состоятельности. Диссертація Штёрринга, книга Пиклера и статьи Стаута и Ганзена доказываютъ какъ нельзя убѣдительнѣе, что даже ошибки и слабости Милля способны еще въ наше время сильно волновать умы, заставляя ихъ вдумываться въ рѣшеніе тѣхъ вопросовъ, которые занимали Милля и ставили на ноги цѣлую оппозиціонную армію тѣхъ, «whose metaphysical opinions were already made up.».

Третій, наиболѣе интересный намъ, тезисъ Милля можетъ, какъ то и очевидно, сохранить все свое значеніе при всякихъ поправкахъ, измѣненіяхъ и дополненіяхъ, какія только опытъ, наблюденія и методическое мышленіе могутъ внести въ два первые. При оцѣнкѣ этого тезиса надо имѣть въ виду не столько то, что̀ было достигнуто Миллемъ, сколько то, что̀ было имъ намѣчено. Онъ стремился обосновать соотносительность субъекта и объекта, какъ двухъ реальностей, онъ искалъ для постановки

и рѣшенія своего вопроса опору въ одной только области твердо установленныхъ фактовъ... Идя по этому пути, онъ сдѣлалъ, что̀ могъ; другіе, какъ увидимъ далѣе, указали на его ошибки и оплошности, нѣкоторые пошли далѣе, исправили его рѣшеніе, сдѣлали дѣло Милля лучше его самого; но заслугой Милля все же осталось возобновленіе въ новѣйшее время той анти-метафизической философіи, которая безъ его вліянія долго бы еще не выработала своей теоріи познанія и поэтому, можетъ быть, и до сихъ поръ не вышла бы на тотъ плодотворный путь критики и широкаго развитія, на которомъ она теперь находится.

На совершенно ложный путь напалъ бы тотъ, кто сталъ бы призывать къ своему суду Милля, какъ систематика, какъ одного изъ тѣхъ созидателей мудреныхъ и сложныхъ построеній, изъ которыхъ стоитъ только выдернуть одно звено, чтобы имѣть наслажденіе любоваться крушеніемъ всего зданія и затѣмъ трубить о побѣдѣ. Милль, въ теченіе всей своей жизни, былъ искателемъ истины, изслѣдователемъ, критикомъ,—такъ характеризуютъ его Джонъ Морли и Бельфортъ Баксъ и къ такой же точно формулировкѣ можетъ быть сведена и характеристика, сдѣланная Рибо *). Главною заслугою Милля, съ этой точки зрѣнія, является то умственное возбужденіе, которое онъ сообщилъ соприкасавшимся съ нимъ умамъ, та сила убѣдительности, которая составляла тайну его вліянія,—сила, не нуждавшаяся ни въ герольдахъ, ни въ апломбѣ импонирующаго авторитета, къ обаянію котораго многіе успѣли ужъ очень попривыкнуть **).

Самъ Милль, какъ человѣкъ въ высшей степени не тщеславный, скромный и добросовѣстный, не выставлялъ своей философіи оригинальною, а утверждалъ, какъ мы уже упоминали, что эта философія, какъ не составляющая чьего-либо единоличнаго достоянія, была достояніемъ вѣка, продолженіемъ традиціи

*) «Critical miscellanies», by John Morley. London, 1886. Vol. III, pp. 37—54),—«A Handbook of the history of Philosophy», by E. Belfort Bax. London, 1886, pp 377—378.—«La phychologie anglaise contemporaine». 2-me éd. Paris, 1875, pp. 99 et suiv.

**) Morley, ibid.

великихъ умовъ науки, открытія которыхъ сдѣлали родъ человѣческій такимъ, каковъ онъ есть. Съ этой стороны Милль является представителемъ «поворота» къ Локку, Юму и Брауну, въ нѣкоторой мѣрѣ напоминающемъ тотъ «поворотъ» къ Канту, о которомъ намъ придется еще говорить въ одной изъ слѣдующихъ главъ.

Чтобы ясно представить себѣ соотношеніе между Ог. Контомъ и Миллемъ — этими двумя философами, черпавшими изъ одного и того же общаго источника, — обратимъ прежде всего вниманіе на различіе пріемовъ разграниченія метафизики и положительнаго знанія у перваго и у второго. Для Ог. Конта терминъ «философія» означалъ «понятіе міра» (une conception du monde), — понятіе, слагающееся изъ основныхъ понятій шести абстрактныхъ наукъ его классификаціи и совершенно чуждое междунаучнымъ и всенаучнымъ принципамъ, для которыхъ въ его классификаціи не было и мѣста. Этому шестичленному «понятію міра» противополагалась метафизика, какъ пережитое міроразумѣніе, но противоположеніе это, къ несчастью для Контовой системы, было установлено крайне шатко: довольно сказать, что даже химическое сродство Контъ считалъ метафизическимъ положеніемъ и предполагалъ, что химики вѣрятъ въ какую-то таинственную сущность, обитающую въ тѣлахъ и влекущую ихъ другъ къ другу. Въ концѣ-концовъ невозможно было рѣшить, разумѣетъ-ли Контъ подъ метафизическими тѣ вопросы, которые имѣютъ въ виду фиктивные объекты — сущности, или имѣютъ въ виду тѣ, которые обрабатываются ложнымъ методомъ и даютъ фиктивные результаты, какъ мы и имѣли уже случай отмѣтить выше. Между понятіемъ «сродства», напримѣръ, соотвѣтствующаго извѣстнымъ фактамъ, и понятіемъ «теплорода», указывающаго на скрытый за фактами фиктивный объектъ, должно было установиться принципіальное различіе, а его-то у Конта и не оказывается.

Въ критикѣ системы Конта Миллю предлежала важная и трудная задача, и если бы онъ рѣшилъ ее вполнѣ, т.-е. если бы онъ окончательно поглотилъ Контовскій позитивизмъ позитивизмомъ новымъ—въ широкомъ значеніи этого термина, то онъ отнялъ бы

всякій «raison d'être» у послѣдующихъ недоразумѣній и сразу двинулъ бы дѣло на полъ-столѣтія впередъ. Нельзя сказать, къ сожалѣнію, что дѣло было именно такъ. Критикуя Ог. Конта, Милль то подвигался впередъ рука объ руку съ Контомъ, то въ большей или меньшей степени расходился съ нимъ. Оцѣнить значеніе этихъ взаимныхъ отношеній двухъ мыслителей весьма нетрудно въ настоящее время, такъ какъ ретроспективно ясно представляется всякому, что̀ могло давать развитію позитивныхъ воззрѣній поступательный ходъ и что̀ могло задерживать это развитіе или даже извращать его. Все что подрывало догматичность Контовскихъ утвержденій, что разрушало косность и узость схемы, то, несомнѣнно, должно быть отнесено къ явленіямъ первой категоріи,—таковы были поправки іерархизаціи наукъ: что же стушевывало характеристическія черты установленныхъ Контомъ фазисовъ историческаго хода умственнаго развитія, то неизбѣжно подпадаетъ подъ явленія послѣдней категоріи, каковы были, напримѣръ, замѣчанія Милля о «законѣ трехъ состояній», лишившія этотъ законъ его основного гносеологическаго значенія.

Великою заслугою Милля навсегда останется, конечно, сведеніе понятія философіи съ онтологической почвы на гносеологическую. Литтрѐ и другіе ученики Конта могли повторять впослѣдствіи до пресыщенія наивныя разсужденія о томъ, что самый объектъ изученія іерархизованъ, и іерархизованъ именно такъ, какъ то было высказано Контомъ,—для Милля и его послѣдователей утвержденія эти разъ навсегда отлетѣли въ прошедшее, и философія—какъ то твердо установилъ Милль—стала научнымъ познаніемъ человѣка, какъ существа разумнаго, нравственнаго и общественнаго. И если бы этотъ тезисъ коррелативизма — этотъ первый шагъ осуществленія Миллевскаго принципа не страдалъ нѣкоторыми недостатками, Милль могъ бы по справедливости занять въ исторіи развитія позитивной философіи такое высокое положеніе, котораго не могли бы пошатнуть никакія критики. Теперь же нельзя не признать, что дѣйствительная заслуга Милля вполнѣ соотвѣтствуетъ той общей оцѣнкѣ, которую дѣлаетъ Лаасъ, и которую мы привели выше. Какъ ни

старался удержаться Милль на почвѣ фактичности, ему не удалось, однако же, избѣгнуть нѣкоторыхъ роковыхъ ошибокъ, которыя подставили ему фикціи вмѣсто фактовъ и лишили его той твердой почвы, которую онъ такъ старался сохранить. Главнѣйшею его ошибкою, какъ показалъ Ганзенъ, слѣдуетъ считать неразличеніе понятія возможности конкретной отъ понятія возможности метафизической. Поскольку Милль сбивается на это послѣднее, постольку онъ вращается въ пустотѣ, т.-е. въ области метафизики, и постольку же является несостоятельнымъ и его опредѣленіе «постоянныхъ возможностей ощущенія», мелькающее въ его аргументаціи часто безъ достаточной выдержки и отъ времени до времени измѣняющее свое значеніе.

Лаасъ, различающій понятія возможности эмпирической и возможности метафизической, справедливо можетъ считать терминъ Милля—«постоянныя возможности ощущенія»—мѣткимъ для выраженія понятія «объективности», хотя онъ находитъ нужнымъ замѣтить при этомъ, что терминъ этотъ неполонъ, такъ какъ онъ не заключаетъ въ себѣ указанія на тѣ нормирующія условія, при которыхъ должно быть мыслимо возможное ощущеніе, т.-е. не ставитъ рядомъ съ содержаніемъ каждаго личнаго сознанія, содержаніе того сознанія, которое Лаасъ называетъ «сознаніемъ вообще». Данное личнымъ сознаніемъ можетъ быть и продуктомъ лихорадочнаго бреда, а потому, утверждаетъ Лаасъ, къ тѣмъ первоначальнымъ реальностямъ, которыми обладаетъ всякая единичная личность, слѣдуетъ добавить содержаніе того сознанія, которое, согласно раціонально обоснованнымъ нормамъ и методамъ, является какъ достояніе или насъ самихъ, или же другихъ личностей въ какое бы то ни было время.

Остается упомянуть въ заключеніе, что терминъ «постоянныя возможности ощущенія» вполнѣ совпадаетъ съ терминомъ Канта «возможное воспріятіе», служащее у этого философа для опредѣленія «объективныхъ явленій». Заимствованіе у Канта, какъ мы будемъ еще имѣть случай пояснить далѣе, не означаетъ еще само по себѣ перехода въ область метафизики; но черты этой для полноты картины пропустить тутъ было невозможно.

Окончивъ эту характеристику положенія Милля по отношенію къ позитивизму и показавъ, какъ намъ думается, что значительные недостатки, которые современная критика находитъ въ этомъ отношеніи у Милля, все же не отымаютъ у насъ права видѣть въ трудахъ этого мыслителя массу цѣнныхъ вкладовъ, принесшихъ значительную пользу развитію позитивной философіи, мы перейдемъ теперь къ ознакомленію съ другою оцѣнкою роли Милля въ позитивизмѣ,—оцѣнкою, рѣзко противоположною предыдущей.

Оцѣнка эта была сдѣлана В. С. Соловьевымъ въ 5-й книжкѣ философскаго журнала г. Грота (стр. 121). «Позитивная философія Ог. Конта и Герб. Спенсера *) — говорится здѣсь — есть, конечно, лишь первый шагъ на пути къ отчетливому критическому міросозерцанію. Относительность знанія утверждается здѣсь на томъ основаніи, что мы познаемъ только явленіе, а бытіе вещей самихъ въ себѣ остается недоступнымъ нашему уму. Но самое понятіе явленія, которымъ опредѣляется все это воззрѣніе, не подвергается въ немъ достаточному анализу и критикѣ. У позитивистовъ нѣтъ сколько-нибудь порядочной теоріи познанія или гнозеологіи и такимъ образомъ основная мысль этого ученія оказывается непровѣренною. Основатель школы, совсѣмъ ничего не понимавшій въ спеціально философскихъ вопросахъ, повидимому обусловливалъ познаваемыя явленія исключительно физіологическою дѣятельностью нервовъ и мозга; но такъ какъ нервы и мозгъ сами суть не болѣе какъ явленія лишь относительно нами познаваемыя, то никакого толка съ этой стороны выйти не можетъ. Этотъ основной недостатокъ позитивизма Милль хотѣлъ восполнить на почвѣ англійской эмпирической психологіи, но запутался тутъ въ еще худшихъ противорѣчіяхъ и долженъ былъ въ концѣ-концовъ придти къ образцовонелѣпой теоріи абсолютнаго феноменизма, утверждающей, что ничего не существуетъ, кромѣ состояній сознанія самихъ по себѣ, безъ сознающаго и сознаваемаго».

*) Замѣтимъ, что сближеніе Конта и Спенсера ничѣмъ не оправдывается. О Спенсерѣ давно извѣстно, что «онъ готовъ бы содрать съ себя кожу, еслибъ замѣтилъ на ней пятна позитивной философіи».

Эта оцѣнка Милля высказана въ такой формѣ, которая исключаетъ всякія опроверженія. Мы ихъ и не станемъ предъявлять. Оставляемъ мнѣніе г. Соловьева во всей его неприкосновенности рядомъ съ мнѣніемъ Лааса въ подтвержденіе той характеристической современной разноголосицы о Миллѣ, на которую мы указали выше, и полагаемъ, что приведенныя нами сопоставленія достаточно уяснили объективное положеніе вопроса, сочтемъ его на этотъ разъ исчерпаннымъ *).

---

*) Позволимъ себѣ здѣсь одно только замѣчаніе,—не о мнѣніи г. Соловьева, а лишь по его поводу. Теорія Милля, какъ мы видѣли выше, не лишена нѣкоторыхъ уклоненій къ сторонѣ метафизики и однимъ изъ своихъ положеній примыкаетъ къ Канту, котораго г. Соловьевъ считаетъ «отцомъ всякой метафизики» (стр. 123) и призывъ къ которому, по мнѣнію г. Соловьева, есть призывъ къ метафизикѣ. Положимъ, что все это такъ и есть; но какимъ же образомъ случилось, спросимъ мы въ такомъ случаѣ, что въ замѣткѣ, согласно основной мысли которой поворотъ отъ Конта къ Канту одобряется какъ поворотъ къ метафизикѣ и въ силу такого его характера вмѣняется въ заслугу тому, кто совершилъ его,—какимъ образомъ въ этой самой замѣткѣ психологическая теорія Милля могла оказаться образцово-нелѣпою? Указывая на это противорѣчіе, мы вскрываемъ логическую несостоятельность замѣтки г. Соловьева; что же касается ея фактической несостоятельности, то она вполнѣ обнаруживается при удобныхъ случаяхъ въ другихъ главахъ.

2. Бэнъ, Гёкели и др.

Дж. Ст. Милль, по словамъ Лааса, принадлежитъ къ числу владычествующихъ надъ вѣкомъ мыслителей, и въ самомъ дѣлѣ, рядомъ съ нимъ нельзя поставить другого англійскаго философа, вліяніе котораго въ Европѣ могло бы сравниться съ вліяніемъ Милля. Ознакомивъ читателя съ отношеніемъ къ позитивизму такого писателя, какъ Милль, мы могли бы считать себя свободными отъ указанія на другія англійскія имена, какою извѣстностью и какимъ бы почетомъ они безотносительно ни пользовались, такъ какъ ни Льюисъ, ни Гёкели, ни кто другой не оказали на образованіе той научной философіи, о которой рѣчь впереди, никакого вліянія. Если же мы тѣмъ не менѣе приведемъ въ настоящей главѣ нѣсколько отдѣльныхъ мыслей извѣстнѣйшихъ англійскихъ позитивистовъ, то сдѣлаемъ это только затѣмъ, чтобы не потерять случая укрѣпить въ читателѣ тѣ взгляды, которые такъ или иначе выражаютъ все ту же нашу основную мысль. У нѣкоторыхъ изъ писателей, о которыхъ мы будемъ говорить, читатель замѣтитъ сведеніе философіи къ теоріи познанія и въ этомъ фактѣ, согласно тому, что было поясненно выше, увидимъ тотъ неизбѣжный фазисъ, который должна была пройти научная философія въ процессѣ своего установленія, такъ какъ единственною силою, способною вытѣснить пустыя умозрѣнія за предѣлы философіи, могла быть только гносеологія. Если нѣкоторые мыслители остановились на этомъ фазисѣ, то эта остановка только оттѣняетъ шаги впередъ другихъ, пошедшихъ далѣе, и отмѣчаетъ то относительное значеніе, которое указанное отождествленіе отводитъ имъ въ рядахъ современныхъ представителей научной философіи. Замѣтимъ при этомъ однако же, что отождествленіе теоріи познанія и философіи хотя и не даетъ простора той широкой формулѣ, о которой мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ, все же таки фактически вытѣсняетъ уже метафизику, отбрасывая вовсе ту часть философіи, которая со-

стоитъ изъ безсодержательнаго умозрѣнія, и перерабатывая остальное научнымъ методомъ. Извѣстная заслуга, какъ видно изъ этого, должна быть признана и за тѣми мыслителями, о которыхъ пойдетъ у насъ рѣчь далѣе.

Начнемъ съ изложенія драгоцѣннаго совѣта Бэна,—совѣта, направленнаго противъ метафизики и мѣтящаго къ общему и окончательному упраздненію безсодержательныхъ абстракцій.

Мысль Бэна крайне проста: онъ совѣтуетъ разлагать абстракціи высшаго порядка на соотвѣтствующія частныя положенія. Въ подкрѣпленіе своей мысли онъ указываетъ на замѣчаніе Сэмьюэля Бэли, преподавшаго изучающимъ философію очень полезное правило—сводить во всѣхъ важныхъ случаяхъ отвлеченныя формы на конкретныя. «Поступая такимъ образомъ,—говоритъ Бэли,—изслѣдователи философскихъ вопросовъ пріобрѣтутъ могущественное орудіе для преодолѣнія темныхъ и запутанныхъ метафизическихъ умозрѣній. Орудіе это дастъ имъ возможность ясно разглядѣть истинное значеніе той массы пустословія, которое сходитъ за философію».

Нѣкоторыя отвлеченныя понятія,—замѣчаетъ при этомъ Бэнъ,—по сложности своей дѣйствительно представляютъ не малыя трудности. Таково, напримѣръ, понятіе «жизни».

Трудность анализа понятія «жизнь» дѣйствительно является только тогда, когда его смѣшиваютъ съ болѣе общимъ понятіемъ—«существованіе». Это послѣднее, по словамъ Бэна, дѣйствительно требуетъ всѣхъ рессурсовъ, какими располагаетъ логика. Мы остановимся надъ его анализомъ термина «существованіе» Бэна, какъ ради интереса, представляемаго самимъ анализомъ, такъ и ради еще болѣе интереснаго его приложенія къ знаменитой формулѣ Декарта «Cogito, ergo sum».

Бэнъ, прилагая къ этому термину указанный имъ выше методъ разложенія на частныя понятія, задается, прежде всего, вопросомъ: о какихъ вещахъ принято говорить, что онѣ существуютъ? «Не трудно найти такія вещи,—говоритъ онъ.—Звѣзды, моря, горы, минералы, растенія, люди, государства, города, торговля,—все это существуетъ. Итакъ, не по недостатку частностей затрудняемся мы опредѣленіемъ значенія термина «суще-

ствованіе», а по причинѣ, прямо противоположной,—по причинѣ слишкомъ большого ихъ количества. Въ самомъ дѣлѣ, слово «существуетъ» означаетъ все, не исключаетъ ничего. Всѣ другія понятія предполагаютъ такую часть міра, которая обладаетъ указываемымъ этимъ понятіемъ свойствомъ, и такую, которая лишена его; понятіе «жизни», напримѣръ, предполагаетъ указанное различеніе, тогда какъ «существованіе» относится ко всему космосу, протяженному и не протяженному, матеріи и духу (mind). Не рискуемъ-ли мы, мысля о всемъ, мыслить ни о чемъ?»

«Я утверждалъ (Deductive Logic, p. 59),—говоритъ далѣе Гэнъ,—что понятіе «существованія» есть понятіе не-реальное (an unreal notion), по той причинѣ, что оно лишено реальнаго противоположнаго утвержденія. Согласно закону всеобщей относительности, двѣ вещи, по крайней мѣрѣ, должны быть взаимно-противопоставлены, какъ summa genera: положимъ, субъектъ и объектъ, духъ и не-духъ. Мы можемъ подвести эту двойственность къ общему итогу и назвать этотъ итогъ «существованіемъ»; но мы не можемъ вложить въ него новое значеніе. Два родовыя понятія все же таки, попрежнему, сохранятъ свой обоюдный контрастъ. Абсолютное единство есть слово, лишенное всякаго значенія.

«Полемизируя затѣмъ съ Миллемъ по поводу включенія понятія «существованія» въ число категоріи, я высказалъ ему, что никакая наука и никакая часть логическаго метода не обосновывается на изученіи этого понятія. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ предложенія такого рода всегда болѣе или менѣе сокращены или эллиптичны; получая полное выраженіе, они подводятся или подъ понятіе существованія, или подъ понятіе послѣдовательности. Когда мы говоримъ, что существуетъ уговоръ для такой-то спеціальной цѣли, то мы предполагаемъ, что въ настоящее время извѣстная группа людей соединилась для достиженія означенной цѣли; а это сводится къ сложному положенію, разлагаемому на положенія сосуществованія и послѣдовательности (причинности). Утвержденіе, что порода птицъ Додо болѣе не существуетъ, значитъ, что это животное, прежде извѣстное въ нѣкоторыхъ краяхъ, исчезло или вывелось, что его существо-

ваніе не связано болѣе съ извѣстною мѣстностью,—все это можетъ быть выражено безъ введенія въ предложеніе глагола «существовать», и выражено лучше, чѣмъ при его посредствѣ. Спрашиваютъ: «существуетъ»-ли эфиръ? Но правильно было бы придать вопросу этому такую форму: распространяются-ли свѣтъ и теплота чрезъ посредство эфирной среды, наполняющей пространство? Такое предложеніе имѣло бы причинный характеръ. Точно также должны бы построяться и другіе подобные вопросы, не всегда облекаемые, однако же, именно въ эту форму.

«Къ счастью, Милль отвѣчалъ на это замѣчаніе въ послѣднемъ изданіи Логики (Logic, vol. I, p. 113) слѣдующимъ образомъ: «Я вполнѣ принимаю законъ относительности м-ра Бэна: но я не вижу необходимости утверждать, что для разумѣнія такого или иного факта необходимо противопоставленіе его другому положительному факту. Противоположеніе, необходимое сознанію, не должно быть, какъ я думаю, противоположеніемъ двухъ положительныхъ фактовъ; оно можетъ имѣть мѣсто и между положительнымъ фактомъ, съ одной стороны, и отрицательнымъ—съ другой. Гоббсъ былъ, безъ всякаго сомнѣнія, правъ, утверждая, что всякое отдѣльное ощущеніе, продолженное на неопредѣленное время, перестаетъ сознаваться, и достаточно простого перерыва, чтобы сознаваемость его была возстановлена. Чтобы ощущать теплоту, нѣтъ необходимости въ переходѣ къ этому ощущенію отъ отсутствія всякаго ощущенія или отъ ощущенія другого рода. Относительная противоположность бытія, разсматриваемаго какъ summum genus, есть небытіе или ничто; и намъ приходится время отъ времени разсматривать и обсуждать вещи при одномъ только противуположеніи ихъ небытію.

«Я допускаю, что рѣшеніе вопроса о существованіи зависитъ обыкновенно, если не всегда, отъ предварительнаго вопроса о причинности и сосуществованія. Но «существованіе», тѣмъ не менѣе, не одно и то же, что̀ сосуществованіе и причинность, и можетъ быть утверждаемо и помимо ихъ. Значеніе отвлеченнаго имени «существованіе» и конкретнаго имени «бытіе», также какъ и значеніе всѣхъ другихъ именъ, заключается

въ ощущеніяхъ или состояніяхъ сознанія; особенность же ихъ состоитъ въ томъ, что они возбуждаютъ и способны возбуждать какое-нибудь ощущеніе или состояніе; какое именно—это все равно, но то или иное должно непремѣнно находиться въ наличности. Упустивъ изъ вида это обстоятельство, Гегель и принялъ бытіе за абстракцію, выработанную мышленіемъ посредствомъ устраненія всѣхъ частныхъ опредѣленій, и пришелъ этимъ путемъ къ страдающему внутреннимъ противорѣчіемъ положенію о тождествѣ бытія и мышленія,—положенію, взятому имъ за основу всей его философіи. На самомъ дѣлѣ онъ принималъ понятіе чего-нибудь (of something) въ самомъ широкомъ значеніи этого слова».

«Я не могу согласиться съ мнѣніемъ Милля о достаточности противопоставленія данному понятію понятія небытія для приложимости закона относительности,—возражаетъ Бэнъ,—но въ настоящее время я придаю бо̀льшее значеніе мнѣнію Милля о положительной сторонѣ смысла разсматриваемаго термина, и именно о соотношеніи къ нему возбудимости того или иного, но непремѣнно какого-нибудь ощущенія или состоянія сознанія. Выражая это мнѣніе Милля другими словами, можно сказать, что во всѣхъ случаяхъ, когда мы, имѣя въ виду что-либо, не можемъ рѣшить—субъектъ-ли это, или объектъ, и должны разсматривать это нѣчто только какъ реальность,—во всѣхъ этихъ случаяхъ мы прибѣгаемъ къ сверхъотносительному термину «существованіе», «вещь», «бытіе». Я признаю, что могутъ встрѣчаться случаи, когда приходится прибѣгать къ этому слову, когда является необходимость установить понятіе, недостаточно опредѣленное; но это совсѣмъ не то, что установленіе свойствъ, общихъ субъекту и объекту, и выработка родового понятія, подъ которое можно было бы такимъ же образомъ подвести понятія того и другого, какъ подъ понятіе объекта подводятся понятія матеріи и пространства. Я разсматриваю терминъ «существованіе», употребляемый такимъ образомъ, какъ лишенный независимаго и оригинальнаго значенія; терминъ этотъ—только сокращенный синонимъ для сложнаго противопоставленія двухъ самыхъ высшихъ родовыхъ понятій, какія только пред-

ставляетъ дѣйствительность—понятій субъекта и объекта. Я утверждаю, словомъ сказать, что терминъ «существованіе» получаетъ смыслъ только при условіяхъ сведенія его на другія опредѣленія вещей; взятый же безотносительно, онъ является лишеннымъ всякаго реальнаго значенія».

Переходя затѣмъ къ формулѣ Декарта «Cogito, ergo sum», Бэнъ, на основаніи изложенныхъ выше соображеній, спрашиваетъ: каково будетъ полное выраженіе эллиптическаго сужденія»—«sum»? Если «sum»—«существую» значитъ «живу», и «жизнь» берется въ противоположность «смерти», формула получаетъ извѣстный смыслъ, но не тотъ, который имѣлся въ виду при ея установленіи. Если мы воспользуемся Миллевымъ терминомъ «нѣчто», то изреченіе Декарта получитъ такую форму: «я мыслю, слѣдовательно, я—нѣчто», а эта форма, въ силу приведенныхъ выше доводовъ, неизбѣжно перейдетъ въ слѣдующую: «я мыслю, слѣдовательно, я—или субъектъ, или объектъ». Заключеніе, получаемое этимъ путемъ, менѣе нежели неопредѣленно, такъ какъ всякій, кому извѣстенъ смыслъ термина «мыслю», знаетъ, что онъ относится къ свойству духа, а поэтому оставленіе вопроса открытымъ, отсутствіе рѣшенія между духомъ и не-духомъ, не только не расширяетъ нашего познанія, но съуживаетъ его.

Положеніе «я мыслю» даетъ право утверждать, по крайней мѣрѣ, что «я—духъ», «я—не противоположность духа», «я—опредѣленное нѣчто». Такое заключеніе Бэнъ считаетъ предпочтительнѣе неопредѣленнаго утвержденія «я нѣчто»; но заключеніе это,—говоритъ онъ,—не реально: значеніе термина «мыслю» содержитъ значеніе термина «духъ», если только намъ извѣстно, что́ значитъ «мыслить», если мы употребляемъ это слово, сознавая его смыслъ. Реальное заключеніе могло бы сформулироваться такимъ образомъ: «я мыслю,—слѣдовательно, я чувствую и желаю», такъ какъ опытъ показываетъ, что ассоціація трехъ этихъ данностей признается подводимою подъ понятіе «духъ».

Бэнъ приводитъ и еще одно реальное заключеніе: «я мыслю, слѣдовательно, я—не безсмысленное вещество». Заключеніе это,—говоритъ онъ, — есть продуктъ опыта, свидѣтельствующаго о

связи мысли и извѣстной организаціи. Анализъ предложенія «я мыслю» показываетъ, однако же, всю нелогичность этого построенія. Отдѣлимъ подлежащее отъ сказуемаго въ этомъ предложеніи и, точно опредѣливъ значеніе того и другого, посмотримъ, прибавляетъ-ли что-нибудь то же сказуемое къ содержанію понятія подлежащаго. Что такое «я»? Отвѣтъ можетъ быть только слѣдующій: я—все то, что подводится подъ понятіе «человѣкъ»,—всѣ части и функціи тѣла и духа, изъ которыхъ слагается индивидуальный мужчина или индивидуальная женщина. Итакъ, сказать: «я мыслю» значитъ погрѣшить многословіемъ, такъ какъ всякій, произносящій слово «я», знаетъ уже ранѣе, что онъ «мыслитъ»; говоря такъ, придется только повторить одну часть подлежащаго даннаго предложенія. Въ заключеніе Бэнъ находитъ, что формулу Декарта можно считать не болѣе, какъ словеснымъ предложеніемъ. Можетъ быть, оно,—замѣчаетъ Бэнъ,—и годится на что-нибудь, но только никакъ не для полученія заключенія. «Я того мнѣнія,—говоритъ онъ,—что пора положить конецъ напряженію, съ которымъ и до сихъ поръ стараются добыть солнечные лучи изъ этого огурца» *).

Теперь обратимся къ указанію на нѣкоторые взгляды извѣстнаго ученаго и рѣшительнаго врага Контовскаго позитивизма Генри Гёксли. Рѣзкій приговоръ надъ узкимъ позитивизмомъ, произнесенный имъ въ свое время, произвелъ на приверженцевъ Конта большое впечатлѣніе. Съ тѣхъ поръ для всякаго контиста, не считающаго себя pour un homme absurde, впечатлѣніе это могло только подняться, такъ какъ взаимное отношеніе роста научной философіи и Контовскаго позитивизма постоянно оставались обратно пропорціональными. Припомнимъ при этомъ случаѣ, что Гёксли настаивалъ на отрицаніи всякой научной стоимости тѣхъ частей Курса Конта, которыя могутъ считаться специфически-позитивными. Онъ даже находилъ въ нихъ многое противорѣчащее духу истинной науки. Мнѣніе это, высказанное мимоходомъ въ эдинбургской рѣчи Гёксли (1868), было обстоя-

*) A. Bain. The Meaning of «Existence» and Descartes' «Cogito» (Mind 1877, April, pp. 259—214).

тельно изложено и подкрѣплено доказательствами въ отдѣльной статьѣ, посвященной изслѣдованію «научнаго содержанія позитивизма», напечатанной въ Fortnightly Review 1869 г. *).

Не слѣдуетъ упускать изъ вида при этомъ, что Гёкели съ особенною силой указываетъ на разграниченіе науки и метафизики и отстаиваетъ то самоотреченіе, ту резигнацію, которая должна составлять характерную черту всякой трезвой мысли. Эта послѣдняя черта, какъ одинъ изъ главныхъ отличительныхъ признаковъ «новой», какъ ее иногда называютъ, философіи сдѣлался для многихъ, по природѣ своей особенно склонныхъ къ ассоціаціямъ по созвучію, великимъ камнемъ преткновенія. Въ самомъ дѣлѣ, для такого рода мыслителей существуетъ дорожка, по которой отъ «самоограниченія» до «ограниченности»—одинъ шагъ. Самоотреченіе, резигнація, границы познанія,—все это для нихъ, выросшихъ и состарѣвшихся на сказаніяхъ о всякаго рода «щучьихъ велѣніяхъ», звучитъ дико. Если ужь Тэну случилось возвести конюха Санчо въ позитивисты, то почему бы, въ самомъ дѣлѣ, не признать позитивистомъ Санчева осла? Оселъ ограниченъ, ergo, онъ—позитивистъ. Это такъ мѣтко, такъ глубокомысленно, такъ ѣдко и, главное, такъ сокрушительно для этихъ ненавистныхъ «истовъ»! Какое торжество! Лежа въ своемъ гробу, ликуетъ, конечно, сама покойная бабушка—старая Химера.

Въ ряду именъ, которыми блещетъ научная философія въ Англіи и которое по праву можетъ быть поставлено съ почтеннымъ именемъ Гёкели, мы можемъ назвать имя старѣйшаго изъ поборниковъ научнаго метода и непримиримѣйшаго противника всякаго пустомыслія и суемудрія, талантливаго и честнаго Генри Маудсли, пользующагося и у насъ не малою извѣстностью. Трудно преувеличить достоинства этого ученаго, богатство его познаній, искусство и блескъ его изложенія. Прибавимъ еще, что Маудсли, освѣщая вопросы своими спеціальными психіатрическими свѣдѣніями, придаетъ имъ такую окраску, которая,

*) См. T. H. Huxley. «Reden und Aufsätzen naturwissenschaftlichen, pädagogischen und philosophischen Inhalts». Deutsche autorisirte Ausgabe. Berl., 1879.

вскрывая самую глубокую основу изучаемаго явленія, превращаетъ рѣшеніе вопроса въ жестокую и ѣдкую сатиру, заостренную мѣткимъ, удачнымъ словцомъ. Онъ не разъ уже очерчивалъ вѣрными штрихами несостоятельность метафизическаго умонастроенія, но въ послѣдней своей книгѣ рѣшительно превзошелъ себя... Сколько жизни, сколько правды въ обрисовкѣ и, въ то же время, какая каррикатура!

Начнемъ съ коротенькаго наброска, характеризующаго увлеченіе метафизикой, сдѣланнаго Маудсли въ его курсѣ психологіи: «Въ настоящее время, — говоритъ онъ, — къ метафизикѣ, вообще говоря, относятся неблагосклонно и совершенно увѣрены, что она не приноситъ никакой пользы. Общее убѣжденіе заключается въ томъ, что она пользуется значеніемъ науки только у тѣхъ, которые несутъ обязательство поступать такимъ образомъ, которые не руководствуются указаніемъ запросовъ жизни, но, занимая оффиціальныя каѳедры, поглощены преподаваніемъ, или же имѣютъ другой родъ занятій такого рода, который представляетъ мало случаевъ для усидчивыхъ наблюденій и много досуга для самосозерцанія. Есть еще мнѣніе, что метафизикой увлекается пылкая молодежь, которая претерпѣваетъ метафизическіе приступы точно такъ же, какъ дѣти — корь, пріобрѣтая чрезъ то, къ счастью для нихъ, неуязвимость по отношенію къ этому патологическому состоянію на всю остальную жизнь. Утверждаютъ, наконецъ, что метафизика поражаетъ дѣятельные и способные умы тѣхъ философовъ, которымъ не удалось пройти школу научнаго изслѣдованія природы и которые поэтому не научились подчинять своего разума силѣ фактовъ и привыкли жить въ болѣе или менѣе идеальномъ мірѣ мыслей» *).

Въ книгѣ, вышедшей въ 1886 году, Маудсли посвящаетъ одну главу критической опѣнкѣ метафизики и, доказывая сродство ея метода съ методомъ теологическимъ, противополагаетъ ихъ методу научному. Онъ говоритъ, что интуитивный путь познаванія обыкновенно примѣняется къ дѣлу тѣмъ успѣшнѣе,

*) «The Physiology of Mind». Third edition. London, 1876, p. 13.

чѣмъ свободнѣе умъ метафизика отъ благодѣтельнаго вліянія положительнаго познанія природы и жизненнаго опыта и чѣмъ болѣе онъ привыкъ къ экстатическому самопогруженію и безсодержательному мышленію. Нѣтъ ничего удивительнаго, что теологи и метафизики всегда находились въ тѣсномъ союзѣ и до настоящаго времени всегда разсчитываютъ другъ на друга въ оборонительной и наступательной войнѣ. На ихъ несчастіе, однако же, союзъ этотъ былъ всегда союзомъ неизмѣнно-безплоднаго сожительства.

Всякая система, теологическая или метафизическая, — говоритъ Маудсли, — не охватывая явленій дѣйствительности, не имѣя фактическаго содержанія, будь она наивозвышеннѣйшая и наиспиритуальнѣйшая въ мірѣ, должна быть признана стоящею внѣ живого организма истиннаго познанія, не можетъ считаться неотъемлемою его частью. Для правильной ея оцѣнки надо принимать во вниманіе не одни только согласующіеся съ нею факты, но и тѣ, которые идутъ съ нею въ разрѣзъ. Пусть она будетъ результатомъ интуитивнаго познанія, плодомъ чистѣйшаго и выработаннѣйшаго искусства умозрительныхъ построеній,—все же никто не можетъ обезпечить ее отъ тяжелой необходимости провѣрки, ни благія намѣренія, ни величіе замысла, ни приверженность адептовъ. Все это не можетъ возмѣстить ея несостоятельности въ томъ случаѣ, если она окажется безсильною выдержать испытаніе.

Прочное основаніе плодотворныхъ идеаловъ и здраваго умственнаго развитія заключается не въ бѣгствѣ изъ нѣдръ природы, не въ экстазѣ перенапряженнаго идеализма, но въ широкомъ взаимодѣйствіи съ природой, съ человѣческою природой во всѣхъ ея видахъ, особенностяхъ и отношеніяхъ. Стараніе стимулировать и возбуждать какую бы то ни было отдѣльно взятую сторону умственной дѣятельности сверхъ возможной достижимости и далѣе требованій, обусловливаемыхъ соотносительными явленіями внѣшней природы,—стараніе придать избранной сторонѣ умственной дѣятельности независимое значеніе обнаруживаетъ, конечно, направленіе, идущее въ разрѣзъ трезвому и спасительному методу, благодаря которому выработалось

нѣчто прочное въ прошедшемъ и вырабатывается въ настоящемъ. Умозрительный философъ, не накопившій соотвѣтственнаго запаса положительнаго опыта и выдумывающій системы міра въ своемъ кабинетѣ, большею частью предается, очевидно, мало чѣмъ лучшему занятію сравнительно съ поэтомъ стараго времени, придумывавшимъ остроумныя объясненія естественныхъ явленій посредствомъ миѳовъ. Такой философъ обнаруживаетъ признаки психелепсіи, которая ведетъ къ преувеличенію значенія самосознанія, но не поддерживаетъ въ равной мѣрѣ силу и здоровье ума *).

Другой весьма талантливый и разнообразный писатель, Лесли Стивенъ, не разъ останавливался надъ характеристикой того умонастроенія, которое мы разумѣемъ подъ названіемъ научно-философскаго, или позитивнаго, и которое онъ считаетъ по преимуществу англійскимъ, при чемъ онъ занимался и вопросомъ разграниченія присущихъ этому умонастроенію воззрѣній отъ метафизическихъ.

Лесли Стивенъ видитъ въ философіи Юма поворотный пунктъ въ исторіи мысли и утверждаетъ, что направленіе, данное англійской философіи этимъ мыслителемъ, получитъ болѣе справедливую оцѣнку, когда будетъ признано ничтожество тѣхъ заоблачныхъ построеній, которыя оно разрушило. Этотъ процессъ можетъ совершаться, впрочемъ, весьма медленно, такъ какъ исторія мысли идетъ путемъ борьбы и предполагаетъ разрушительную работу, соотвѣтствующую созидательной. Такимъ образомъ, ходъ развитія мысли представляетъ постепенное освобожденіе разума отъ ошибокъ, неизбѣжно возникшихъ въ эпоху первобытныхъ, ребяческихъ попытокъ умозрѣнія. Ученія, которыя сперва представлялись простыми выраженіями непосредственнаго наблюденія, оказались содержащими гипотетическій элементъ. Этотъ элементъ и исчезаетъ мало-по-малу подъ вліяніемъ изученія дѣйствительности. Такое изученіе успѣло уже достигнуть въ нѣкоторыхъ областяхъ значенія научнаго познанія. Оно мо-

*) Henry Maudsley. «Natural causes and supernatural seemings». London, 1886. Part. III, Section VIII.

жетъ уже считаться систематическимъ укладомъ истинъ совершенно установившихся. Истины эти достовѣрны и взаимно согласованы. Первичныя аксіомы уже обладаютъ устойчивостью, недосягаемою для скептицизма, такъ что если какое-нибудь явленіе оказывается не согласующимся съ установленными истинами, то мы должны приписать несогласіе это не несостоятельности научныхъ теорій, а недостаточности даннаго наблюденія, пропуску какого-нибудь производящаго пертурбацію элемента. Всякое же новое, достодолжно веденное наблюденіе непремѣнно должно дать въ результатѣ открытіе, вполнѣ сливающееся съ установленною научною системой; оно и санкціонируетъ ее, и санкціонируется ею, въ одно и то же время. Мы можемъ подводить наши основоначала подъ какое-нибудь высшее обобщеніе, но мы не можемъ подвергать измѣненію которую-либо изъ основныхъ истинъ. Мы можемъ смотрѣть на науки математическія какъ на типъ гармонически развивающагося знанія. Если бы разумъ переходилъ отъ извѣстнаго къ неизвѣстному — такъ, какъ это совершалось въ математикѣ, если бы при каждомъ новомъ поступательномъ движеніи операціонный базисъ оставался твердо-неизмѣннымъ,—вся исторія умозрѣнія имѣла бы одинъ и тотъ же типичный характеръ. Исторія показываетъ, однако же, что дѣло шло иначе. Ранѣе выработки положительнаго знанія шли догадки, не всегда согласныя съ истиной и всегда не легко устранимыя. Для успѣшнаго движенія познанія далѣе впередъ необходимо, какъ требовалъ еще Беркли, разсѣять пыль, взбитую нами же самими, убрать лѣса, которые служили для возведенія зданія, и убѣдиться, что лѣса эти не составляютъ необходимой части постройки, — словомъ сказать, возвести всю нашу умственную дѣятельность до самосознанія и разрушить заблужденія, и до сихъ поръ служащія обманчивою опорой всякой логической процедуры. Это — дѣло здравой метафизики; ее Лесли Стивенъ отождествляетъ съ теоріей познанія. Теорія познанія, какъ заявляетъ онъ, должна остерегаться прибѣгать къ объясненію познанія терминами, заимствованными внѣ области самаго познанія. Идя по этой стезѣ, здравая метафизика, или теорія познанія, станетъ въ разрѣзъ

съ «такъ-называемою онтологіей», мысль о состоятельности которой давно уже пора бросить. «Онтологія» это—безплодная область, населенная призрачными химерами, чистѣйшими тѣнями, небытіемъ, прикрытымъ словесными хитросплетеніями, не свойственными жизни даже настолько, чтобы возможно было назвать ихъ ложными. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, допустить, для кого бы то ни было, способность выжать изъ своего разума объясненіе конечныхъ причинъ всѣхъ вообще вещей. Прямая аргументація противъ такихъ системъ не менѣе убѣдительна, чѣмъ ничтожество предполагаемыхъ заключеній. Защитники онтологіи всегда доказываютъ что-либо при помощи безконечной затраты логическихъ доводовъ; но если и допустить, что имъ и удалось что-нибудь доказать, то тотъ же часъ придется убѣдиться въ безполезности такой уступки: на дѣлѣ окажется, что мы не подвинулись ни на шагъ впередъ. «И если въ такихъ словахъ звучитъ дерзость,—говоритъ Стивенъ, — то я все же скажу, что только такое сужденіе и можетъ согласоваться съ подобающимъ философу уваженіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, если я остановлюсь надъ обширными системами, поддерживаемыми самыми знаменитыми мыслителями, и оцѣню ихъ неустойчивость, ихъ безнадежную неспособность выдерживать критику и разрѣшать дѣйствительныя затрудненія, то мнѣ останется только придти къ заключенію, что авторы ихъ были или безумными, — что̀ ужъ будетъ чрезвычайною дерзостью,—или что они брались за разрѣшеніе задачъ, переходящихъ за предѣлы того, что̀ доступно для разума. Величайшій атлетъ оказывается, вѣдь, безсильнымъ, если вздумаетъ устранить отъ себя свою собственную тѣнь». По этой причинѣ, всякій, ведущій научное изслѣдованіе, — будь то область той или этой науки, этики, напримѣръ, какъ то и имѣетъ мѣсто у Лесли Стивена,—не имѣетъ никакой надобности переступать границъ науки и искать въ трансцендентной области рѣшенія своихъ вопросовъ. Сохраненіе прочной почвы дѣйствительности должно быть для него всего дороже; на ней долженъ онъ возводить свое зданіе, предоставляя метафизику полную свободу добираться до слона и до черепахи *).

*) Leslie Stephen. «History of english thought in the eighteenth

Имѣя въ виду по возможности полнѣе прослѣдить за характеристикой научной философіи и отграниченіе ея области отъ области метафизики у англійскихъ новѣйшихъ писателей, намъ нельзя пропустить и извѣстнѣйшаго изъ современныхъ англійскихъ психологовъ научной школы—Джемса Сёлли. Его монографія «Объ иллюзіяхъ» можетъ составить драгоцѣнную главу въ научной теоріи познанія и представляетъ достойный pendant упомянутой выше книгѣ Маудсли «О естественныхъ причинахъ и сверхъестественныхъ кажимостяхъ». Сёлли, какъ и перечисленные выше писатели, считаетъ интуитивное познаніе мнимымъ, безсодержательнымъ, и видитъ въ опытѣ единственный источникъ познанія дѣйствительнаго, прочнаго, устойчиваго. По вопросу объ объемѣ и содержаніи наукъ онъ держится того мнѣнія, что всѣ изучаемые факты какъ внѣшняго, такъ и внутренняго міра распредѣляются между отдѣльными, самостоятельными научными дисциплинами, въ число которыхъ Сёлли включаетъ и психологію. Подъ психологіей онъ разумѣетъ при этомъ науку, изслѣдующую процессъ познаванія съ одной только его субъективной стороны. Что же касается стороны объективной, т.-е. вопроса о томъ, насколько познаніе истинно или состоятельно, то этотъ вопросъ, по мысли Сёлли, вѣдаетъ уже не психологія, а философія, или теорія познанія, которая заключаетъ въ себѣ и логику *).

Принявъ во вниманіе изложенные нами факты, нельзя будетъ не согласиться съ Александромъ Мэномъ, что англичане разумѣютъ подъ позитивизмомъ не сводъ ученія (corps de doctrine), а методъ. Методъ этотъ, по мнѣнію Мэна, можно разсматривать какъ энергическій протестъ противъ ложной и безплодной метафизики, такъ долго имѣвшей власть надъ умами и доселѣ еще не лишившейся своихъ поклонниковъ. Смѣшеніе этого «позитивизма» съ «системою» Ог. Конта — не только ошибка, но дерзость: позитивный методъ восходитъ къ тому

century». In two volumes, 1881, и его же: «The science of Ethics». London, 1882, passim.

*) James Sully: «Illusions. A psychological study». London, 1881, p. 295 и его же: «Outlines of psychology». London, 1884, p. 15.

времени, когда первый, достодолжно констатированный фактъ былъ отчетливо воспринятъ и вѣрно обслѣдованъ, тогда какъ приложеніе позитивнаго метода, сдѣланное Контомъ, почти вполнѣ возникло чуть не вчера и можетъ завтра же быть уличено въ несостоятельности. «Мы не можемъ достаточно сильно протестовать, — говоритъ Мэнъ, — противъ зловредной тенденціи, прицѣпляющей къ великому философскому теченію ярлычокъ одного человѣка и похваляющейся вслѣдъ затѣмъ, что теченіе это всецѣло имъ схвачено и усвоено» *).

Мэнъ не оставляетъ безъ осужденія тотъ позитивизмъ, который не даетъ мѣста чувству и, по словамъ Мэна, едва-ли подымается выше точки замерзанія. Вслѣдъ за Льюисомъ, Мэнъ вооружается противъ всѣхъ исключительныхъ отрицаній и обременительныхъ ограниченій; онъ вполнѣ симпатизируетъ безпрепятственности самыхъ высшихъ умозрѣній. По его мнѣнію, истинно-позитивный методъ не оправдываетъ такой замкнутости и замурованности.

Мы еще будемъ имѣть случай взглянуть ближе на тѣ условія, при которыхъ самыя высшія умозрѣнія возможны и осуществимы, а теперь замѣтимъ только, что у нѣкоторыхъ англійскихъ писателей протестъ противъ резигнаціи, могущей, впрочемъ, какъ то и само собою разумѣется, имѣть свои крайности, мѣтитъ только на провозъ стараго груза подъ новымъ флагомъ. Поскольку поправка Мэна соотвѣтствуетъ именно этой сторонѣ дѣйствительнаго положенія вещей, постольку надо признать, что англійскій позитивизмъ стоитъ ниже того уровня, на который онъ былъ поставленъ Юмомъ. Уже у Милля есть опасныя оговорки; но есть писатели, которыхъ только потому и нельзя включить въ число позитивныхъ, что въ этомъ направленіи они идутъ слишкомъ ужъ далеко.

Говоря объ этихъ писателяхъ, мы не имѣемъ, однако же, въ виду Герберта Спенсера, сопричисляемаго къ позитивной школѣ только по недоразумѣнію. Еще Милль выражалъ удивле-

*) Revue philosophique 1876, T. II. Alexandre Main. «Le positivisme anglais et le système de Comte», pp. 280—284.

ніе, встрѣчая со стороны Макъ-Коша увѣреніе, будто Спенсеръ повиненъ въ заимствованіяхъ у него, Милля *); въ настоящее же время просто смѣшно принимать мистико-метафизическое построеніе Спенсера за позитивное. Когда мы уяснимъ въ слѣдующихъ главахъ основныя положенія научной философіи, намъ станетъ совершенно ясно, почему въ основоначалахъ философіи Спенсера,—блещущей, впрочемъ, отдѣльными глубокими и мѣткими истинами,—можно видѣть повтореніе по-Кантовскихъ натурфилософскихъ паренііі и на какомъ основаніи приложимо къ Спенсеру прозваніе его «англійскимъ Гегелемъ». Для насъ выяснятся тогда какъ его скачки и противорѣчія, такъ и заднія мысли далеко не научнаго пошиба и всѣ вообще «блѣдные призраки мыслей въ царствѣ тѣней», какъ называетъ умозрѣнія Спенсера неутомимый преслѣдователь его—Малькольмъ Гёзри **).

Какъ ни значительно вліяніе Спенсера и какъ ни глубоки въ извѣстной средѣ мотивы этого вліянія ***), оно, конечно, идетъ все же таки въ сторонѣ отъ трезвыхъ научно-философскихъ работъ, и можно съ увѣренностью утверждать, что пока на стражѣ англійскаго позитивнаго движенія стоятъ такіе люди, какъ Гёксли, Маудсли, Лесли Стивенъ, Сёлли, дальнѣйшее успѣшное развитіе этого движенія вполнѣ обезпечено.

«Если бы кто-нибудь спросилъ меня,—сказалъ весьма внушительно Гёксли въ своей эдинбургской рѣчи,—какая политика господствуетъ у жителей луны, и я отвѣтилъ бы, что ничего о томъ не знаю, что ни мнѣ, ни кому-либо другому ничего объ этомъ предметѣ и не можетъ быть извѣстно, и что поэтому я прошу не докучать мнѣ подобными вопросами, то вопрошавшій не имѣлъ бы права, конечно, почесть меня за скептика. Напротивъ того, отвѣтомъ своимъ я бы показалъ, что я просто-напросто откровененъ и честенъ и знаю цѣну времени. Сильный

*) Mill. «Examination» etc., примѣчаніе, стр. 273—274.

**) Подробнѣе о Гёзри въ нашихъ Этюдахъ и очеркахъ, стр. 344—354.

***) См., между прочимъ, E. Dühring's «Kritische Geschichte der Philosophie», S. 531—537.

и тонкій умъ Юма ставитъ множество проблемъ, естественнымъ образомъ интересующихъ насъ, и затѣмъ показываетъ, что онѣ по содержанію своему имѣютъ то же значеніе, что и вопросы о лунной политикѣ, что они по природѣ своей не подлежатъ отвѣту и поэтому не заслуживаютъ вниманія людей, которымъ приходится, живя на свѣтѣ, дѣлать свое дѣло». И Юмъ оканчиваетъ одинъ изъ своихъ Опытовъ такими словами: «возьмемъ въ руки какое-нибудь теологическое или мистико-схоластическое произведеніе и спросимъ: содержитъ-ли оно какое-нибудь изслѣдованіе о количествѣ или числѣ? Нѣтъ. Содержитъ-ли какое-нибудь опытное изслѣдованіе эмпирическихъ фактовъ? Нѣтъ. Ну, такъ бросимъ же книгу въ огонь, такъ какъ въ ней ничего иного, кромѣ софистики и обмана, и быть не можетъ» *).

*) Huxley, o. c., S. 137.

ГЛАВА IV.

Нѣмецкая научная философія.

Теперь мы перейдемъ къ расмотрѣнію развитія понятія научной философіи въ Германіи и остановимся сперва на краткомъ обзорѣ оцѣнки Контовскаго позитивизма въ этой странѣ, а затѣмъ приступимъ къ ближайшему ознакомленію съ воззрѣніями главныхъ представителей собственно-нѣмецкой научной философіи или, пожалуй, нѣмецкаго позитивизма. Здѣсь, какъ то и было уже замѣчено выше, мы найдемъ самое полное, опредѣленное и ясное рѣшеніе занимающаго насъ вопроса.

1. Оцѣнка Контовскаго позитивизма въ Германіи.

Въ Германіи, гордой своею славною философскою традиціей, позитивизмъ Конта, какъ то и само собою разумѣется, не могъ утвердиться и найти авторитетныхъ сторонниковъ. Къ нему, правда, очень сочувственно отнеслись нѣкоторые видные представители нѣмецкой философіи: Ланге, Дюрингъ, Гёрингъ, Эйкенъ, но между его послѣдователями нѣтъ громкихъ именъ. Если назвать мало извѣстныхъ писателей—Твестена и Шпрингера, то ими и исчерпается все число адептовъ, которыхъ Конту удалось найти въ странѣ философовъ. Теперь можно сказать съ увѣренностью, что самый благопріятный для позитивизма моментъ уже пережитъ Германіей, хотя нельзя не признать, что

моментъ этотъ прошелъ не безъ косвеннаго воздѣйствія на нѣмецкую мысль: и онъ несомнѣнно привходилъ въ тотъ комплексъ вліяній, которыя все болѣе и болѣе влекли умы къ идеѣ научности въ области философіи. Самый терминъ остался даже у нѣкоторыхъ писателей новой школы, хотя писатели эти и развивали свои воззрѣнія совершенно независимо отъ «системы» Ог. Конта и внѣ всякой связи съ нею.

Не надо упускать изъ вида, что именно въ то время, когда статьи Милля и Спенсера выводили философію Ог. Конта изъ той неизвѣстности, въ которой она находилась, въ Германіи происходилъ знаменитый «поворотъ къ Канту», оказавшій на эволюцію нѣмецкой философской мысли въ послѣднее время такое могущественное вліяніе, что даже противники трансцендентальной философіи не остались внѣ ея сферы дѣйствія, и даже въ полемикѣ съ нею обнаруживали тотъ несомнѣнный фактъ, что ранѣе преодолѣнія основныхъ тезисовъ Канта они проходили его школу, и проходили не безъ пользы для вновь выработанныхъ ими воззрѣній.

Въ теченіе періода, длившагося около десяти лѣтъ, послѣ выхода въ свѣтъ извѣстнаго сочиненія Либмана «Kant und die Epigonen» (1865), вліянія Канта не избѣгло ни одно философское направленіе и, по словамъ Файингера, не было даже возможности писать о философіи, не касаясь значенія основныхъ принциповъ Канта и не истолковывая такъ или иначе значенія «поворота» къ нему *).

Положенія Канта, сдѣлавшіяся основами теоріи познанія или теоріею опыта, стали обязательными для изученія всякаго философа, особенно же со времени упомянутаго выше «поворота». Изученіе это, въ свою очередь, такъ глубоко внѣдрило въ умы значеніе теоріи познанія въ философской системѣ, что всякой философіи, отвергающей или не выработавшей ее, неизбѣжно приходилось считаться неполною и несостоятельною. Собственно Кантову теорію можно было принимать условно, критиковать,

*) Dr. H. Vaihinger. «Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft». I Band. Stuttgart, 1881—82. §§ 13 und 14.

или даже совсѣмъ отвергать,—въ послѣднее десятилѣтіе многіе нѣмецкіе мыслители и преодолѣли ее окончательно,—но не видѣлось и не видится возможности преодолѣть самый принципъ, ставящій теорію познанія во главу угла; не видѣлось и не видится возможности противопоставлять одно догматическое положеніе другому и, оперируя съ элементами познанія, оставлять самое познаніе безъ изученія и наивно орудовать понятіями, какъ бы вещами. Нечего и говорить, что прошедшіе школу Канта смотрѣли свысока на ученіе Ог. Конта, считали ее одною изъ формъ наивнаго реализма и не обнаруживали никакого желанія видѣть его процвѣтаніе на почвѣ, вспаханной критическою философіей.

Такъ было десять, пятнадцать лѣтъ тому назадъ; но и теперь, когда «поворотъ къ Канту», увлекавшій нѣмцевъ въ семидесятыхъ годахъ, можетъ уже считаться пережитымъ *), воззрѣніе на значеніе теоріи познанія для философіи нисколько не ослабѣло, и не рѣдкостью стало и сведеніе всей философіи къ теоріи познанія **). Оцѣнка «системы» Конта не могла, конечно, миновать этой точки зрѣнія, какъ опорнаго пункта, а затѣмъ уже никакое безпристрастіе, никакое благорасположеніе, никакая симпатія самого критика къ личности Конта и его ученію не могли предотвратить окончательнаго вердикта и найти для доктрины Конта мѣсто среди живыхъ проявленій дѣятельности современной философской мысли.

Лучшимъ выраженіемъ такого именно отношенія нѣмецкой философской критики къ системѣ Конта можетъ служить статья Эйкена, появившаяся въ сборникѣ, изданномъ въ 1887 году по случаю чествованія пятидесятилѣтняго юбилея Целлера.

Эйкенъ отдаетъ полную дань справедливости «духовной силѣ человѣка», поставившаго себѣ такую цѣль, какую поставилъ Ог. Контъ въ своей системѣ позитивной философіи. По мнѣнію Эй-

*) Vierteljahrsschrift fur wiss. Philos., 87. II Heft, S. 204.

**) Ernst Laas «Kants Analogien der Erfahrung», Berlin, 1876, S. 2.—Hans Vaihinger. «Hartmann, Dühring und Lange». Iserlohn 1876, S. 30.—W. Wundt. «Logik». Stuttgart, 1883. II-er Band., S. 619

кена, не найдется человѣка, который могъ бы равнодушно отнестись къ усиліямъ создать строй идей, охватывающій всѣ отрасли познанія въ однородное цѣлое и, такимъ образомъ, вдвигающій философію въ самое русло жизни. Но, восхваляя глубоко-жизненное значеніе стремленій Ог. Конта, Эйкенъ находитъ, однако же, что позитивная система не достигла предположенной творцомъ ея цѣли, что ей не удалось охватить всей шири живой дѣйствительности и коснуться самыхъ жгучихъ вопросовъ сложной борьбы, совершающейся въ современномъ общественномъ строѣ. По мнѣнію Эйкена, человѣческое сознаніе и тѣ различныя его состоянія, которыя обусловливаются столкновеніями, наполняющими общественную и политическую жизнь, оставлены Контомъ почти совершенно въ тѣни *). Его глаза слишкомъ устремлены на внѣшнюю сторону жизни, на всякаго рода регуляризацію, но въ душу человѣческую онъ заглядываетъ мало, недостаточно заботится о ея тревогахъ и волненіяхъ. Эйкенъ находитъ дѣйствительную жизнь гораздо болѣе богатою и подвижною, чѣмъ она представлена въ системѣ Ог. Конта, а потому и отвергаетъ возможность для нея плодотворной жизненной роли, хотя признаетъ, въ то же время, что болѣе широкому и глубокому позитивизму будущаго придется, однако же, сохранить полное уваженіе къ нравственной силѣ и цѣлямъ такого мыслителя, какъ Ог. Контъ.

Если мы станемъ искать у Эйкена объясненія тѣхъ блужданій мысли и недосказанностей, которыя онъ отмѣчаетъ у Конта, то только и найдемъ ихъ въ указаніи на отсутствіе въ позитивной доктринѣ теоріи познанія, которая должна преподать правило и сообщить направленіе предоставленному всякимъ случайностямъ мышленію. При всей важности такой оріентировки, теорію познанія слѣдуетъ считать во всѣхъ отношеніяхъ важною частью современной философіи,—болѣе того, надо признать ее средоточіемъ этой послѣдней, главнымъ объектомъ всѣхъ споровъ. Она можетъ быть развита здѣсь больше, тамъ—

*) Ср. Dühring. «Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Socialismus». 1875. S. 256.

меньше, но совсѣмъ отсутствовать она ни въ какомъ случаѣ не можетъ. Не отсутствуетъ она совершенно и у Конта. Но то, что вкрадывается тайкомъ и дѣйствуетъ вопреки сознательному намѣренію автора, не подымется до полнаго обладанія всѣми своими правами. По этой причинѣ,—заключаетъ Эйкенъ,—Ог. Контъ не поднялся до той высоты, на которую поставлена проблема эта въ новѣйшее время, особенно же со временъ Канта. Тогда какъ время требуетъ критической постановки, система Конта осталась въ основныхъ чертахъ своихъ догматическою.

Наконецъ, Эйкенъ дѣлаетъ еще одно замѣчаніе: онъ требуетъ, чтобы истинный позитивизмъ, «позитивизмъ будущаго», отрѣшился отъ непосредственнаго опыта и поднялся до высшихъ обобщеній. Какъ слѣдуетъ намъ отнестись къ такому требованію: не слѣдуетъ-ли усмотрѣть въ немъ нѣкоторое притязаніе метафизики? Едва-ли,—отвѣтимъ мы на этотъ вопросъ,—такъ какъ Эйкенъ признаетъ, что «философія не допускаетъ теперь возможности полета нашего познанія за предѣлы нашего бытія и перемѣщенія въ глубь вещей иного міра. Если прежде и существовала метафизика такого рода, то она уже пала». Итакъ, у Эйкена мы можемъ констатировать то же различеніе истинной и ложной метафизики, которое мы замѣтили у нѣкоторыхъ англійскихъ философовъ и которое идетъ традиціонно еще отъ Юма. Такъ какъ споръ можетъ идти, во всякомъ случаѣ, не о словахъ, то для характеристики понятія Эйкена о ложной метафизикѣ отмѣтимъ, что онъ открываетъ ее у самого Ог. Конта и тѣмъ особенно сильно вскрываетъ послѣдствія некритичности его системы. Эйкенъ указываетъ, что, по идеѣ Ог. Конта, законъ трехъ состояній получаетъ свое дѣйственное научное значеніе только подъ условіемъ признать за нимъ болѣе чѣмъ простое эмпирическое обобщеніе, болѣе чѣмъ простой общій фактъ (simple fait général); и далѣе, законъ этотъ долженъ строить главныя свойства отдѣльныхъ эпохъ почти a priori, и, наконецъ, Эйкенъ указываетъ еще и на ту мысль Ог. Конта, что мы должны понимать такіе народы, какъ греческій и римскій, не какъ случайныя и частныя общественныя группы, но какъ необходимыя общія поло-

женія (Comte. «Cours», IV, 466; V, 274). При встрѣчѣ съ такими взглядами,—говоритъ Эйкенъ,—не приходитъ-ли намъ на мысль скорѣе Гегель, нежели Ог. Контъ? *).

Послѣднее замѣчаніе—не единственное въ нѣмецкой философской литературѣ. Уже болѣе десяти лѣтъ назадъ Робертъ Циммерманъ сближалъ построенія Конта съ метафизическими системами по-Кантовской эпохи. Въ новѣйшее время такое же сближеніе сдѣлалъ и представитель нѣмецкаго позитивизма Эрнстъ Лаасъ **).

Съ этими же замѣчаніями можно поставить рядомъ и ту оцѣнку Контовскаго позитивизма, которую даетъ Максимиліанъ Брютъ въ недавно вышедшемъ сочиненіи своемъ «Der Positivismus nach seiner ursprünglichen Fassung dargestellt und beurteilt» (Hamburg, 1889). Брютъ находитъ, что если Контъ считалъ метафизическими всѣ тѣ понятія, которыя не обосновываются на опытѣ, а возникаютъ въ процессѣ мышленія подъ воздѣйствіемъ потребности знанія, не уяснившей себѣ границъ своихъ, то ему невозможно было не заняться предварительнымъ опредѣленіемъ этихъ границъ и уясненіемъ такимъ образомъ тѣхъ основаній, опираясь на которыя онъ отрицалъ извѣстныя способности ума. Нѣкоторыя изъ критическихъ замѣчаній Брюта могутъ быть пріурочены къ этому признанію необходимости предварительныхъ логическихъ изысканій, и въ числѣ ихъ на первомъ планѣ слѣдуетъ поставить указаніе на метафизическій характеръ нѣкоторыхъ понятій, незамѣтно вкравшихся въ систему, а также и обнаруженіе неполноты и шаткости нѣкоторыхъ опредѣленій; другія, какъ весьма спорныя, лишены, по нашему мнѣнію, большого значенія, хотя и небезынтересны для того, кто захотѣлъ бы ближе ознакомиться съ современною литературою о позитивизмѣ ***).

---

*) R. Eucken. «Zur Würdigung Comte's und des Positivismus. (Philosophische Aufsätze). Ed. Zeller zu seinem fünfzigjährigen Doctor-Jubiläum gewidmet». Leipz., 1887.

**) Robert Zimmermann. «Kant und die Positive Philosophie» Wien, 1874, S. 36.—Laas. «Idealismus und Positivismus», I. S. 183.

***) Maximilian Brütt. Der Positivismus etc S. 48—60.

Такова судьба Контовой доктрины въ Германіи. Ее расхвалили, но не приняли, и отпустили съ отмѣткой, долженствующей свидѣтельствовать, что позитивизмъ этотъ не подходитъ подъ имъ же самимъ установленное мѣрило. Для полноты фактической стороны вопроса объ отношеніи нѣмецкой критики къ ученію Ог. Конта, слѣдуетъ отмѣтить еще, что Лаасъ считаетъ основныя положенія Конта «отчасти справедливыми», а К. Гёрингъ, не высказываясь по вопросу о классификаціи наукъ, въ общемъ одобряетъ законъ трехъ состояній, находя, однако же, что онъ не охватываетъ всего разнообразія соотносящихся фактовъ и не соотвѣтствуетъ нѣкоторымъ изъ нихъ *).

Затѣмъ, прямое и непосредственное отношеніе стоящей нашего вниманія нѣмецкой философской критики системы Конта можетъ считаться исчерпаннымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ заканчивается и наше обозрѣніе соотношеній, существующихъ между позитивизмомъ Ог. Конта и научно-философскимъ движеніемъ или позитивизмомъ въ широкомъ смыслѣ. Теперь мы уже исключительно займемся этимъ послѣднимъ. «Новый позитивизмъ» извѣстнымъ образомъ примыкаетъ къ позитивизму англійскому, но у него есть не мало особенностей, къ характеристикѣ которыхъ намъ и предстоитъ перейти. Онъ, наконецъ, представляетъ и выходъ изъ тѣхъ положеній, съ которыми мы познакомились при обозрѣніи англійскаго позитивизма, къ дѣйствительному новому и важному обобщенію, которому мы посвятимъ остальную часть нашей работы.

---

*) Laas, ibid.—C. Göring. «System der kritischen Philosophie». Leipz., 1875. II Theil, S. 10—12.

2. Карлъ Гёрингъ.

Мы сказали уже, что первымъ шагомъ въ ходѣ рѣшенія вопроса о томъ, чѣмъ должна быть научная философія, неизбѣжно является поднятіе теоріи познанія до высоты самостоятельной и положительной науки. Очевидно однако же, что, вслѣдъ за принципіальнымъ установленіемъ необходимости этого шага, новая наука должна была выработать свое содержаніе при помощи твердо установленной опытной психологіи, данныя которой служатъ для нея основою. По этой причинѣ, при первомъ же шагѣ къ осуществленію задачи научной теоріи познанія, мы встрѣчаемся съ вопросомъ о соотношеніи ея къ психологіи и зависимости ея развитія отъ успѣховъ послѣдней.

Исходною точкой рѣшенія этого вопроса служитъ различеніе мышленія отъ познаванія и признаніе за «мышленіемъ» значенія «познаванія» только при условіи доказательности каждаго шага, совершаемаго стремящеюся къ познанію мыслью. Опираясь на это очевидное положеніе, развилъ свои взгляды на интересующій насъ вопросъ одинъ изъ значительнѣйшихъ представителей научной философіи, къ несчастію, слишкомъ рано умершій, Карлъ Гёрингъ. Его неоконченный капитальный трудъ Система критической философіи надолго еще останется руководящимъ для многихъ первостепенныхъ научно-философскихъ вопросовъ и въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ пока еще никѣмъ не превзойденнымъ.

Мы не разъ уже говорили о Гёрингѣ въ нашихъ прежнихъ работахъ и имѣемъ основаніе полагать, что нѣкоторые изъ нашихъ читателей раздѣляютъ теперь съ нами уваженіе къ этому мыслителю. Мы чтимъ въ Гёрингѣ одного изъ первыхъ по времени и по значенію представителей научной философіи и считаемъ нужнымъ еще разъ обратиться къ богатому источнику, представляемому его сочиненіями, надѣясь найти въ немъ многія положенія, пропускъ которыхъ оставилъ бы въ нашемъ

очеркѣ современнаго состоянія вопроса о томъ, что̀ такое научная философія, слишкомъ важные пробѣлы.

Замѣтимъ прежде всего, что, назвавъ главное свое сочиненіе «Системою критической философіи» и избравъ для него эпиграфомъ изреченіе Канта, Гёрингъ съ первыхъ же строкъ предупреждаетъ читателя, что его систему отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ историческимъ критицизмомъ или Кантіанствомъ. Называя систему свою критическою, Гёрингъ хотѣлъ только показать, что общею основою ея служитъ критика въ общемъ научномъ смыслѣ этого слова. И далѣе онъ настаиваетъ на той мысли, что именно послѣ того, какъ было обнаружено ничтожество всякаго трансцендентнаго умозрѣнія, философія стала преимущественно критическою, а теорія познанія—тѣмъ полемъ, на которомъ стали производиться попытки обоснованія законовъ научной философіи.

Задачею теоріи познанія, по мысли Гёринга, должно быть раскрытіе всѣхъ неизбѣжныхъ для обыденнаго мышленія ошибокъ и доведенное до очевидности доказательство грубаго самообмана, скрывающагося подъ предполагаемыми высшими знаніями. Какъ наука, переживающая еще процессъ возрастанія, философія должна искать поученія у наукъ уже признанныхъ,—идти по ихъ стопамъ. Но чѣмъ же обезпечивается наукѣ достовѣрность ея круга познаній? Онъ обезпечивается ея методомъ. Единственный же критерій метода заключается въ томъ, что при его посредствѣ могла установиться наука. Философіи и предстоитъ поэтому не тратить силъ на доказательства вѣрности своего метода, а оправдать его фактически и стать, такимъ образомъ, внушительною и для обыденныхъ умовъ. Вступивъ на этотъ путь, философія ставитъ себя въ весьма выгодныя условія: являясь послѣ цѣлаго ряда установившихся наукъ, она можетъ прибѣгнуть къ сравненію различныхъ ихъ методовъ и, такимъ образомъ, выработать отвлеченное понятіе о методѣ вообще, или, выражаясь иначе, воспользоваться методомъ этихъ наукъ въ формальномъ отношеніи. Основное положеніе, получаемое благодаря такому пріему, и заключается въ различеніи

познаванія и мышленія, на которое было нами указано выше.

Съ этого момента выступаетъ на сцену теорія познанія. Цѣль ея, по мысли Гёринга, заключается въ установленіи руководительныхъ началъ для мышленія. Она не занимается описаніемъ процесса мышленія и, слѣдовательно, не даетъ его законовъ, но она установляетъ правила, соблюдая которыя, слѣдуетъ мыслить, если желаютъ достигнуть познанія. Задаваясь такою цѣлью, она, какъ то и очевидно, предполагаетъ, что натуральный процессъ мышленія ведетъ къ заблужденіямъ, а потому, конечно, предполагаетъ предварительное знакомство съ этимъ процессомъ, т.-е. знакомство съ наукою, изучающею естественные законы мышленія, съ психологіей. Психологія должна быть разсматриваема поэтому, какъ необходимый ея базисъ. Само собою разумѣется, что при томъ отношеніи теоріи познанія къ психологіи, на которое мы указали выше, нѣтъ надобности привлекать послѣднюю во всей ея полнотѣ, а достаточно ограничиться только тою ея частью, которая соотвѣтствуетъ опредѣленнымъ выше цѣлямъ правильно-установленной теоріи познанія, а именно: изученіемъ естественнаго процесса мышленія и указаніемъ тѣхъ воздѣйствій, которыя оказываютъ на него другія стороны психической дѣятельности, при чемъ степень изученія самихъ воздѣйствующихъ факторовъ опредѣляется тою мѣрой, которая оказывается необходимою для рѣшенія задачи, предположенной теоріею познанія.

Осуществляя затѣмъ намѣченный въ предшествовавшихъ строкахъ планъ, Гёрингъ, слѣдуя общепринятому различенію трехъ сторонъ психической дѣятельности—ума, чувствованія и воли,—опредѣляетъ сперва соотношенія, существующія, по его мнѣнію, между чувствованіями и волей, и затѣмъ занимается уже вопросомъ о воздѣйствіи ихъ на дѣятельность ума.

По мнѣнію Гёринга, чувствованія (Gefühle) не составляютъ самостоятельнаго момента психической жизни, а представляютъ явленіе соотносительное съ основнымъ явленіемъ этой жизни—хотѣніемъ (Begehren), обозначаемымъ обыкновенно терминомъ «воля» (Wille). Подъ волей здѣсь не слѣдуетъ разумѣть

никакой «сущности», такъ какъ Гёрингъ, «тщательно стараясь ограничить себя индуктивнымъ методомъ и удаленіемъ отъ всякихъ метафизическихъ вліяній», видитъ въ «волѣ» только общее обозначеніе извѣстныхъ всякому психологическихъ фактовъ. Итакъ, чувствованія и воля разсматриваются Гёрингомъ какъ явленія соотносительныя: гдѣ есть одно, тамъ, навѣрное, есть и другое; гдѣ есть причина — воля, тамъ непремѣнно есть и дѣйствіе — чувствованія. Эти послѣднія, какъ такія состоянія, съ которыми всегда связано сознаніе удовольствія или страданія, наслажденія или боли, радости или горя, даютъ намъ указаніе на существованіе явленій воли—тѣхъ хотѣній, удовлетвореніе или неудовлетвореніе которыхъ и выражается удовольствіемъ или страданіемъ, но которыя, независимо отъ этихъ состояній, всегда остались бы для нихъ неизвѣстными, т.-е. никогда не дошли бы до нашего сознанія. Многочисленныя и остроумныя наблюденія, надъ которыми мы, къ сожалѣнію, не можемъ теперь остановиться, приводятся Гёрингомъ для того, чтобы выяснить безсознательность и слѣпоту воли. Гёрингъ доказываетъ, что воля возникаетъ и развивается совершенно независимо отъ нашей умственной дѣятельности, въ тѣхъ темныхъ глубинахъ нашего существованія, куда не проникаетъ сознаніе, но что она, несмотря на это, пропитываетъ собою всю нашу психическую дѣятельность, вплетается во всѣ ея стороны. Она является какъ хотѣніе знать, какъ любопытство, любознательность и т. д. И хотя, такимъ образомъ, она служитъ первоначально какъ стимулъ къ познаванію, но неизбѣжно воздѣйствуетъ на ходъ познавательнаго процесса самымъ вреднымъ образомъ. Недоброе ея вліяніе особенно ярко сказывается на первыхъ стадіяхъ познавательнаго стремленія: она тянется къ удовлетворенію неудержимо, слѣпо, безъ разбора средствъ; только путемъ труднаго и продолжительнаго дисциплинированія становится она способною подчиняться уму и безмолвствовать передъ предписываемыми имъ законами. Вообще говоря, побужденіе къ познанію имѣетъ, по мнѣнію Гёринга, тѣ же свойства, что и другія наши побужденія, которымъ оно первоначально уступаетъ въ силѣ; и оно то-

же получаетъ вполнѣ самостоятельное значеніе, только совершается это сравнительно позже, когда другія побужденія успѣютъ уже найти извѣстное удовлетвореніе. Эта особенность хотѣнія познавать не можетъ, однако же, вести къ тому заключенію, что побужденіе къ знанію разумнѣе другихъ человѣческихъ побужденій. На самомъ дѣлѣ и оно также подчиняется тому всеобщему закону, согласно которому воля,—въ томъ случаѣ, когда она сосредоточивается на одномъ какомъ-нибудь пунктѣ,—пріобрѣтаетъ чрезвычайную силу и интенсивность и, при полномъ отсутствіи какого-либо воздѣйствія свѣта критики, стремительно кидается къ своей цѣли, не обращая никакого вниманія на предостереженія трезвыхъ мыслителей, голоса которыхъ раздаются при такихъ случаяхъ, какъ вопль въ пустынѣ. Весьма своеобразно выразилась эта первобытная слѣпота любознательности у Лессинга, который, какъ извѣстно, заявлялъ, что онъ предпочелъ бы безконечное стремленіе къ истинѣ полному обладанію ею. Лессингъ, подобно многимъ другимъ мыслителямъ, не зналъ другого высшаго наслажденія, какъ исканіе истины; въ то же время, онъ зналъ, конечно, что наслажденіе его исчезнетъ вмѣстѣ съ исчезновеніемъ порождающаго его побужденія, а потому онъ и отказывался отъ полнаго удовлетворенія этого побужденія и разсчитывалъ на сохраненіе единственнаго наслажденія въ жизни посредствомъ постепеннаго удовлетворенія любознательности. Такимъ рѣшеніемъ онъ свидѣтельствовалъ, конечно, о преобладаніи слѣпого побужденія надъ разумомъ. И въ самомъ дѣлѣ, побужденіе его не можетъ назваться разумнымъ, такъ какъ онъ отклонялъ достиженіе цѣли, этому побужденію присущей, и дѣлалъ побужденіе само для себя цѣлью. Если же человѣкъ такой рѣдкой ясности и силы ума, какъ Лессингъ, подчинялся естественной слѣпотѣ хотѣнія познавать, то нечего удивляться, что образъ дѣйствія стремящихся къ знанію людей вообще представляется, хотя и на иной ладъ, лишеннымъ всякой критичности.

Развивая далѣе свою мысль, Гёрингъ говоритъ, что естественное побужденіе къ знанію стремится, прежде всего, ко всеобщему и полному удовлетворенію; по этой причинѣ оно ни-

когда не можетъ довольствоваться методическимъ научнымъ изслѣдованіемъ, опредѣляющимъ границы, за которыя знаніе переходить не можетъ. Не довольствуясь же путями науки, оно, само собою, создаетъ свои пути и средства, имѣя въ виду достиженіе невозможнаго. Примѣры такихъ блужданій мысли имѣются въ исторіи въ преизбыткѣ, и если формы всѣхъ этихъ мнимодостиженій и мѣняются, то ихъ основы и содержаніе остаются и по настоящее время все тѣми же.

Эти условія развитія знанія, по справедливому мнѣнію Гёринга, сильно задерживаютъ прогрессъ научной мысли; прогрессъ этотъ по указанной причинѣ и не можетъ выдерживать сравненія съ прогрессомъ въ сферѣ матеріальной. Воля, когда она направляется къ цѣлямъ матеріальнымъ, находитъ неизбѣжно свои естественныя границы во внѣшней средѣ, — границы, реальность которыхъ часто не можетъ быть преодолѣна даже и при самой высокой степени необузданности воли, ибо «сурово сталкиваются предметы въ пространствѣ». Не даромъ же и житейская мудрость пришла къ убѣжденію, что на всякое хотѣніе есть терпѣніе. Совсѣмъ не то замѣчается тогда, когда воля направляется къ достиженію познанія; познанію недостаетъ корректива дѣйствительности; оно легко можетъ создать себѣ свой собственный міръ и, при его помощи, выбросить за бортъ своего умственнаго обихода неудобную для себя дѣйствительность, если она становится преградой къ полному удовлетворенію его хотѣнія знать. Довольствуясь словами и мыслями, оторванными отъ дѣйствительности, побужденіе къ знанію находитъ свое удовлетвореніе и представляетъ намъ картину «мирнаго совмѣщенія мыслей», подчасъ самыхъ противорѣчивѣйшихъ и безсвязнѣйшихъ.

Вообще говоря,—разсуждаетъ Гёрингъ,—когда цѣли познанія достигаются при преобладаніи воли въ процессѣ достиженія, то онѣ обыкновенно считаются достигнутыми, когда наступаетъ чувствованіе удовольствія, неразрывно связанное съ удовлетвореніемъ всякаго хотѣнія, и устраняется чувствованіе неудовольствія, сопряженное съ неудовлетвореніемъ. По этой причинѣ дѣятельность воли всегда представляется индивидуальною, и

только неразсудительные люди имѣютъ притязаніе на обязательность ихъ личныхъ хотѣній и чувствованій для всѣхъ остальныхъ людей. Чтобы сбить человѣка съ позиціи его хотѣнія, надо допустить существованіе интеллектуальнаго момента въ сферѣ чувствованій, но для такого утвержденія нельзя найти реальныхъ основаній.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, можно вполнѣ согласиться съ указаніемъ Гёринга на постепенное возрастаніе самомнѣнія въ процессѣ мышленія, заправляемаго волей. Считая себя всегда правою, воля доходитъ, наконецъ, до того, что начинаетъ отстаивать даже и такія положенія, ложь которыхъ была уже показана теоретически. Изъ этого же источника проистекаетъ скрываемая иногда, но часто и открыто высказываемая ненависть противъ всякой критики, которая и выражается обычно въ извѣстныхъ жалкихъ словахъ, направляемыхъ по адресу критики: разрушительная, всеотрицающая, бездушная, безсердечная и т. д. И это происходитъ вовсе не тогда только, когда критика входитъ въ столкновеніе съ проявленіями воли, имѣющими матеріальный характеръ; даже и въ практически-безразличныхъ вопросахъ выказывается обычное предпочтеніе субъективнаго удовлетворенія любознательности познанію объективному. Отъ всякаго, обличающаго заблужденія, требуется, чтобъ онъ ранѣе такого обличенія поставилъ на мѣсто отвергаемаго нѣчто положительное и не осуждалъ хотѣнія на тягостное чувствованіе неудовлетворенія.

Изложенныя нами разсужденія Гёринга даютъ ему возможность обосновать то главное положеніе его теоріи познанія, которое имѣетъ уже значеніе руководительнаго начала при обозначеніи раздѣлительной черты между научными знаніями и метафизическими фикціями. Главное положеніе это заключается въ различеніи знанія отъ пониманія, дающемъ возможность прослѣдить за тѣми средствами, при помощи которыхъ хотѣніе знать легко и скоро раздѣлывается съ представляющимися ему задачами и мнимымъ рѣшеніемъ ихъ старается забѣжать впереди медленно подвигающагося методическаго изученія и критики и пытается предвосхитить ихъ результатъ. Тогда какъ

знаніе принимаетъ своею исходною точкой представленія, изъ которыхъ сперва образуется первая, непосредственная его ступень, а потомъ формируются понятія разныхъ степеней отвлеченности, общая совокупность которыхъ можетъ быть распредѣлена на группы, соотвѣтствующія тѣмъ или инымъ группамъ явленій,—пониманіе замѣняетъ всю эту длинную постепенность однимъ скачкомъ: оно сводитъ предлежащее явленіе на другое, очень часто неизвѣстное или просто предполагаемое, и въ этомъ сведеніи находитъ полное удовлетвореніе стимулирующей ее воли. Подмѣна знанія пониманіемъ и создала тѣ внѣопытныя, трансцендентныя сущности, темныя рѣчи о которыхъ всегда считались у метафизиковъ превыспреннимъ пареніемъ мысли въ сферѣ какого-то высшаго разумѣнія. Произволъ въ нанизываніи звеньевъ, именуемыхъ сущностями, и произволъ обрываніе получаемой такимъ путемъ цѣпи указывали, однако же, на совершенное отсутствіе объективнаго обоснованія такого процесса. Такъ, если сущность какого-нибудь явленія считалась какимъ-нибудь x, то, очевидно, можно ставить вопросъ о сущности этого x и сводить его на y, а затѣмъ сущностью y признавать какой-нибудь z; но можно остановиться и на y, такъ же точно, какъ и идти далѣе z. Знаніе, вторгаясь въ эту область, требуетъ, прежде всего, объективнаго основанія для сведенія одного явленія на другое и затѣмъ не допускаетъ сведенія на явленія неизвѣстныя и фиктивныя, т.-е. заопытныя; оно требуетъ, чтобы всякое привлекаемое для цѣлей пониманія явленіе было реальнымъ, всегда сохраняло бы свою связь съ представленіями, а черезъ ихъ посредство—съ міромъ дѣйствительнымъ, и такимъ образомъ пониманіе низводится къ его истинному значенію и ему указываются границы его годности и приложимости. Изъ всего этого видно, что установленіемъ своего главнаго тезиса Гёрингу удалось положить совершенно опредѣленное различіе между методически-образованными понятіями науки и призрачными, произвольно-объективированными понятіями той философіи, которую мы обыкновенно называемъ метафизическою.

Здѣсь будетъ умѣстно, какъ мы полагаемъ, вспомнить о нѣ-

которыхъ нашихъ философахъ и показать, какое значеніе имѣетъ у нихъ принципъ пониманія (соотносительно—объясненія) и какъ рѣшительно они его выставляютъ, разсчитывая на «простоту» читателя. Такъ, г. Лопатинъ, напримѣръ, мечтаетъ о такомъ идеальномъ состояніи знанія, когда «со всею точностью доказанные законы явленій сочетаются съ глубокимъ пониманіемъ внутренней природы вещей, опредѣляющей собою эти законы къ бытію, а сама эта природа найдетъ свое окончательное объясненіе въ идеѣ разумно-духовнаго абсолютнаго начала». Читатель можетъ при помощи Гёринга оцѣнить это двухъ-ярусное, глубокое и окончательное пониманіе, которое еще заостряется идеей абсолюта, не справляющеюся съ условіями философской критики и какъ бы издѣвающейся надъ читателемъ, знакомымъ съ требованіями этой критики. Другой философъ—г. Милославскій—въ двухъ объемистыхъ сочиненіяхъ не перестаетъ твердить о пониманіи, о познаніи (?) сущностей, какъ самомъ цѣнномъ для человѣка, и, наконецъ, о чистотѣ сердца, необходимомъ для всего этого лже-познавательнаго процесса. Третій—г. Гротъ—хвалится, что «противоположилъ позитивной наукѣ вполнѣ законный философскій синтезъ, основанный на чувствѣ» *). Итакъ, пониманіе, объясненіе, разысканіе сущностей, абсолютовъ, и, рядомъ, импульсирующіе факторы: сердце, чувство...

Приведенный выше сжатый очеркъ взглядовъ Гёринга даетъ намъ, какъ мы полагаемъ, возможность придти къ тому общему заключенію, что раздѣлительная черта между метафизикой и наукой проводится исключительно однимъ только методомъ, благодаря которому тѣ или другіе вопросы получаютъ метафизическій характеръ. Въ прежнее время такого характера не лишены еще были вопросы физики, химіи, физіологіи и другихъ наукъ;

*) «Положительныя задачи философіи». Часть первая. «Область умозрительныхъ вопросовъ». Л. Лопатина. Москва, 1886, стр. 7. П. Милославскій. «Типы современной философской мысли въ Германіи». Казань, 1878. Его-же: «Основанія философіи какъ спеціальной науки». Казань, 1883. Г. Гротъ. «О направленіяхъ и задачахъ моей философіи». Москва 1886, стр. 10.

въ настоящее время многіе желаютъ сохранить его хоть за вопросами теоріи познанія. Съ приложеніемъ научнаго метода ко всѣмъ областямъ познанія, метафизическій фазисъ ихъ развитія проходитъ окончательно и становится ясно до очевидности, что терминъ «метафизика» оказывается лишеннымъ всякаго содержанія, хотя, сомнѣнія въ томъ нѣтъ, «хотѣніе, неутолимая жажда» останутся, и поэты въ душѣ никогда не перестанутъ толковать о пустотѣ, «qui s'ouvre par delà de toute science humaine»...

Tandis qu'obstinément le D é s i r qu'on exile
Revient errer autour du gouffre défendu.

3. Гаральдъ Гёфдингъ.

Вѣрно намѣтивъ разграничительную черту научной и не-научной философіи и правильно опредѣливъ значеніе теоріи познанія въ общемъ строѣ наукъ, Гёрингъ, какъ мы думаемъ, слишкомъ съузилъ роль психологіи по отношенію къ вопросу о воздѣйствіи ея на обоснованіе научной гносеологіи. Рѣшая свою задачу, Гёрингъ полагалъ, что онъ могъ вовсе и не касаться даже теоріи такъ-называемыхъ «способностей», помощью которыхъ еще сравнительно недавно старались объяснить психическую дѣятельность, хотя при этомъ ее и дробили на слишкомъ разрозненныя части. Разсужденіе Гёринга о взаимодѣйствіи ума, чувствованій и воли несомнѣнно показываетъ, что онъ предполагалъ вопросъ рѣшеннымъ не въ пользу подраздѣленія психической дѣятельности на «способности»; но нельзя не признать, что одно предполагаемое рѣшеніе вопроса такой важности отняло у Гёринга поводъ идти далѣе общей помѣты той разграничительной черты, прослѣдить которую мы теперь стараемся. И если общее направленіе этой черты и проложено у Гёринга правильно, то нельзя не признать, что обработка ея въ отдѣльныхъ частяхъ лишена той полноты, которая ни въ какомъ случаѣ не можетъ почесться лишнею.

И прежде всего бросается въ глаза то, что если бы Гёрингъ не пренебрегъ указываемымъ нами вопросомъ, то онъ, конечно, не упустилъ бы случая остановиться на привлеченіи «способностей» къ объясненію (соотносительно—пониманію) психической дѣятельности, какъ на очень поучительную иллюстрацію установленнаго имъ различенія пониманія отъ знанія. Иллюзорность этого объясненія была въ недавнее время очень удачно указана Гаральдомъ Гёфдингомъ въ его трактатѣ о психологіи. Иллюзорность эта, какъ замѣчаетъ Гёфдингъ, совершенно подобна той, которая осмѣяна Мольеромъ въ столь извѣстномъ объясненіи дѣйствія опіума (virtus dormitiva). Распредѣляя психическую

дѣятельность на различныя способности, упускали изъ вида чисто-отвлеченный характеръ этого распредѣленія. На самомъ дѣлѣ распредѣленіе это установляетъ только, что между извѣстными психическими состояніями существуютъ извѣстныя различія. Изъ этого не слѣдуетъ, однако же,—заявляетъ Гёфдингъ,—чтобы каждое изъ этихъ состояній слѣдовало выдѣлить въ особую рубрику. Необходимо только изслѣдовать: не содержатся-ли въ каждомъ данномъ психологическомъ состояніи одни и тѣ же элементы, и не обусловливается-ли различіе между этими состояніями преобладаніемъ въ томъ или другомъ изъ нихъ однихъ элементовъ рядомъ съ подчиненностью другихъ? На этомъ основаніи группировкѣ должны подлежать не явленія или состоянія сознанія, а элементы, которые мы, при ближайшемъ разсмотрѣніи, открываемъ въ нихъ; подъ психическими же элементами мы разумѣемъ различныя стороны или свойства состояній сознанія. Такъ, если мы противопоставляемъ, напримѣръ, познаніе чувствованію, то при этомъ можемъ предполагать только преобладаніе элементовъ познанія, въ одномъ случаѣ, и преобладаніе элементовъ чувствованія—въ другомъ. О чистомъ же познаніи и чувствованіи, допускаемомъ умозрительною философіей, по мнѣнію Гёфдинга, не можетъ быть и рѣчи.

При такой постановкѣ вопроса о соотношеніи между психическими элементами, Гёфдингъ не обособилъ соотносительности воли и чувствованія и не изслѣдовалъ вліянія этихъ элементовъ на познаніе совмѣстно, какъ то сдѣлалъ Гёрингъ, а прослѣдилъ каждый родъ вліянія въ отдѣльности. Благодаря этому пріему, картина воздѣйствія чувствованій и воли на незнаніе оказалась у Гёфдинга особенно богатою и въ высшей степени поучительною.

Гёфдингъ, какъ и Гёрингъ, приписываетъ волевымъ элементамъ первый толчокъ къ поискамъ за неизвѣстнымъ, первый импульсъ любознательности, первый мотивъ интереса къ окружающимъ человѣка явленіямъ. По этой-то причинѣ начальные шаги познанія имѣютъ практическій характеръ. Задачею первоначальнаго познанія является открытіе средствъ къ удовлетворенію стремленій, хотѣній, инстинктивныхъ побужденій. Только

мало-по-малу развертывается чистое хотѣніе познанія, стремленіе знать ради самаго знанія. Долго еще практическіе интересы ложатся въ этомъ процессѣ тѣнью на возникающія высшія стремленія, и даже тогда, когда человѣкъ становится уже способнымъ къ созерцательно-восторженному состоянію, замѣтно еще воздѣйствіе практическихъ мотивовъ, придающихъ попыткамъ мысли этого періода телеологическій пошибъ. Самоотреченіе чувствованій, рѣшимость ихъ открыть мысли свободный путь совершается лишь цѣною упорной борьбы, наполняющей собою исторію отдѣльныхъ личностей, также какъ и исторію человѣческаго рода. Человѣкъ хочетъ познать природу такою, какова она есть; но онъ хочетъ, въ то же время, чтобы его собственныя цѣли были и цѣлями природы. Въ послѣдней инстанціи, законъ причинности является для него только средствомъ осуществленія высшаго, согласно его разумѣнію, блага. Форма, въ которую облекается это разумѣніе, всецѣло зависитъ отъ той стадіи общественнаго развитія, къ которой она относится. Такъ, австраліецъ, напримѣръ, видя смерть товарища и не открывая ея причины въ ряду извѣстныхъ ему внѣшнихъ воздѣйствій: выстрѣла изъ лука и т. п., относитъ эту причину къ вліянію колдовства, а самаго колдуна открываетъ по направленію, принятому первымъ попавшимся ему на глаза насѣкомымъ: кто первый встрѣтился на этомъ пути, тотъ и признается отыскиваемымъ убійцей. Мышленіе такого рода, какъ согласное со своими предпосылками, надо счесть, конечно, добропорядочнымъ раціональнымъ мышленіемъ. Что же касается живучести подобныхъ предпосылокъ, то нельзя упускать изъ вида, что и въ настоящее время онѣ еще, хотя бы отчасти, допускаются: милліоны людей въ высоко-цивилизованныхъ странахъ и теперь приписываютъ такъ-называемыя спиритистическія явленія вліянію духовъ. Пока такія или иныя миѳологическія существа представляются сознанію, какъ дѣйствительно существующія, до тѣхъ поръ удовлетвореніе указанныхъ выше стремленій находитъ въ высшей степени легкое и подходящее средство. Причинная связь создается фантазіей, и вводимые въ нее моменты построяются въ рядъ, прохожденіе двухъ, трехъ ступеней ко-

тораго признается уже фантазіей, какъ достиженіе намѣченной ею цѣли; рядъ считается замкнутымъ, и удовлетворенная фантазія ищетъ покоя. Такъ, греки признавали боговъ своихъ за виновниковъ естественныхъ явленій, а происхожденіе самихъ боговъ выводили, согласно теогоніи Гезіода, изъ Хаоса, не спрашивая затѣмъ, откуда произошелъ Хаосъ. Этотъ, какъ и другіе подобные факты приводятъ Гёфдинга къ заключенію, что ошибочно бы было считать миѳологическія объясненія природы способными постепенно перейти въ научныя. Разрывъ между этими двумя рядами Гёфдингъ видитъ въ нарушеніи антропоморфической формы, которая оказывается безсильною устоять противъ возрастанія убѣжденія въ постоянствѣ среднихъ терминовъ ряда и независимости ихъ отъ какого бы то ни было личнаго произвола. Характеристическія черты научнаго понятія причинности заключаются въ томъ, что объясненіе естественныхъ явленій сводится къ естественнымъ же явленіямъ.

Природа получаетъ объясненіе въ самой себѣ, т.-е., какъ сказалъ бы Гёрингъ, пониманіе переходитъ въ знаніе. До-научное мышленіе, развившееся подъ воздѣйствіемъ указанныхъ выше стимуловъ, остается несоизмѣримымъ съ научнымъ на всѣхъ своихъ стадіяхъ: какъ грубый фетишизмъ, такъ и возвышенное пареніе идеалистической философіи сходятся между собою въ этомъ отношеніи. На этихъ различныхъ ступеняхъ умственнаго развитія содержаніе и значеніе чувствованій, конечно, очень различны; но психологическое отношеніе между чувствованіями и познаваніемъ остается на протяженіи всего ряда неизмѣннымъ.

Продолжая очерчивать вліяніе чувствованій на познаваніе, Гёфдингъ останавливается еще на томъ обстоятельствѣ, что и понятіе необходимости первоначально имѣетъ практическій характеръ: мысль ищетъ только тѣ условія, безъ которыхъ цѣли, ставимыя человѣкомъ, остались бы недостижимыми. Мышленіе получаетъ, такимъ образомъ, по отношенію къ чувствованію отрицательный характеръ: чувствованіе сангвинично и нетерпѣливо; оно прямолинейно стремится къ намѣченной цѣли и лишь наперекоръ самому себѣ принуждено признать проти-

водѣйствіе со стороны того средства, безъ помощи котораго цѣли придется получить характеръ недостижимости. Въ этой неразрывности связи средства и цѣли, въ этой неуступающей никакому аффекту послѣдовательности этихъ двухъ моментовъ, въ этомъ желаніи получить А, неустранимо влекущемъ къ полученію В, заключается первое столкновеніе человѣка съ необходимостью. Когда такая необходимость переживается повторительно, мысль приходитъ къ заключенію, что въ ней, въ этой необходимости, она, мысль, встрѣчаетъ извѣстную частицу всякой данной дѣйствительности. Вслѣдъ за этимъ заключеніемъ возникаетъ самостоятельная задача — предметъ непосредственнаго интереса: объяснить законъ этой необходимости и самоотреченно погрузиться въ великое взаимодѣйствіе явленій. Отношеніе причины и слѣдствія будетъ поставлено тогда на мѣсто прежняго отношенія и, какъ показываетъ намъ исторія наукъ, совершится постепенный переходъ отъ «телеологизма» къ «механизму». Чувствованія не перестанутъ оказывать сопротивленіе и дѣлать препятствія процессу этого перехода на каждомъ шагу. И даже тогда, когда наука въ своихъ законахъ дастъ объясненіе всему мірозданію, она будетъ не въ силахъ воспретить чувствованіямъ считать подосновою всего міроразумѣнія, всей системы причинъ и слѣдствій, нѣкую высшую и непостижимую телеологію.

Таково одно изъ главнѣйшихъ вліяній чувствованій на умственную дѣятельность, по взгляду Гёфдинга; вліяніе это, какъ онъ думаетъ, обусловливаетъ ту настоящую почву, на которой произрастаетъ всякая мистика и метафизика, вплетающіяся въ работу мысли, производящія въ ней всякаго рода извращенія и дающія въ результатѣ тѣ сбивчивыя системы, которыя инсинуируются, какъ мудрѣйшія рѣшенія труднѣйшихъ проблемъ. На самомъ дѣлѣ, системы эти возникаютъ и развиваются только благодаря могущественному воздѣйствію чувствованій на подчиняющееся имъ мышленіе.

Все, только что изложенное, показываетъ съ достаточною ясностью, какъ мы полагаемъ, что черты, подмѣченныя Гёфдингомъ, вполнѣ подтверждаютъ изложенныя ранѣе мысли Гё-

ринга и совершенно послѣдовательно дорисовываютъ сдѣланный этимъ послѣднимъ общій абрисъ вліянія хотѣній (соотносительно—чувствованій) на процессъ познаванія. Для насъ особенно важно въ настоящую минуту остановить вниманіе читателя на той особенности, которая присуща воздѣйствію чувствованій на мышленіе и въ томъ случаѣ, когда они становятся въ оппозиціи мыслительной дѣятельности, и въ той, когда они вплетаются въ нее и проникаютъ и переполняютъ ее всю,—мы разумѣемъ слѣпоту чувствованій. Какое мы ни возьмемъ сочетаніе мыслей и чувствованій, мы всегда увидимъ, что не достовѣрность познанія, не истина составляютъ притягательную силу для чувствованій, что для нихъ этою силой всегда является одно только то, что̀ составляетъ основу хотѣнія — цѣледостиженіе. Чувствованія никогда не бываютъ въ силахъ различать подмывающее ихъ стремленіе къ цѣледостиженію отъ идеи цѣледостижимости и провѣрить первое послѣднею,—это всегда было и навсегда останется дѣломъ опыта, по отношенію къ которому чувствованія неизмѣнно сохраняютъ враждебное настроеніе. Тогда какъ мышленіе не перестаетъ поучаться изъ опыта, чувствованія, оставаясь слѣпыми, стоятъ только за одно: за намѣченную ими цѣль. И если они иногда и сплетаются съ такими воззрѣніями, которыя могутъ выдержать критику и дать отчетъ въ своей raison d'être, то такая комбинація, могущая являться результатомъ тѣхъ или иныхъ данныхъ, представленныхъ личностью или средою, никогда не обусловливается, однако же, сознательнымъ шагомъ со стороны чувствованій. Не теряя изъ вида это важное обстоятельство, мы можемъ дать правильную оцѣнку тѣмъ указаніямъ Гёфдинга, въ которыхъ онъ обращаетъ наше вниманіе на благодѣтельный характеръ воздѣйствія чувствованій на мысль, на приносимую иногда общественному прогрессу пользу самою непослѣдовательностью, на которую оно иногда наталкиваетъ, и, въ особенности, на значеніе его, какъ возбудительной силы, какъ стимула пытливости и элемента устойчивости, придаваемыхъ имъ мысли. Только благодаря чувствованіямъ,—говоритъ Гёфдингъ,—являются у мысли глубоко идущіе въ душу корни, только благодаря имъ мы-

сли эти становятся для личности собственнымъ достояніемъ въ полномъ значеніи этого слова.

Эта чисто-психологическая сторона воздѣйствія чувствованій на мышленіе — истинное или ложное — не должна была остаться незамѣченною нами, такъ какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ она получаетъ очень важное гносеологическое значеніе. Не слѣдуетъ упускать изъ вида и то, что указываемая здѣсь роль чувствованій, возводя такіе или иные взгляды и мнѣнія на высоту убѣжденій, придаетъ имъ въ жизни такую важность, какую не можетъ имѣть самая высокая или самая неоспоримая истина, если она по какой бы то ни было причинѣ не выходитъ за предѣлы круга кабинетныхъ преній. Люди, которымъ довелось знать одни только словесныя препирательства, считаемыя ими цвѣтами, заполнявшими пустоту ихъ досуга,—люди, уровень жизни которыхъ никогда не поднимался до истинно-драматическихъ моментовъ и вѣчно оставался несоизмѣримымъ съ трагическими положеніями, способны иногда къ бахвальству, когда имъ приходится высказываться объ «убѣжденіяхъ» въ тотъ моментъ, когда ходъ развитія этихъ убѣжденій переливаетъ ихъ въ дѣйствія и не даетъ мѣста академическимъ словоизліяніямъ. Носясь съ идеею науки, чуждой духа жизни, они хотѣли бы такого собранія мертвыхъ теоремъ, дебатамъ о которыхъ невозможно было бы предвидѣть конца. Но самый ростъ и расцвѣтъ жизни произноситъ надъ ними свое осужденіе. Гармонія мысли и дѣйствія, какъ осуществленіе полноты психической жизни, непрестанно добиваясь возможно полнаго и возможно прочнаго теоретическаго обоснованія, не останавливается однако же на немъ и вѣчно стремится къ возведенію всякой истины до высоты полнаго жизнью убѣжденія.

Въ высшей степени ярко развивается намѣченное выше противопоставленіе въ цитированной уже нами статьѣ г. Владова о Дж. Ст. Миллѣ. Есть писатели, говоритъ г. Владовъ, «которые смотрятъ на свою умственную дѣятельность какъ на органическое отправленіе, необходимое для каждаго человѣка, желающаго жить всѣми сторонами своего существа. Міровоззрѣніе этой фракціи заключается въ томъ, что всѣ отправленія чело-

вѣка должны совершаться нормально, слѣдовательно и мозгомъ нужно работать и для здоровья, и для удовольствія. Намъ даны глаза, они должны наслаждаться прекраснымъ; намъ данъ мозгъ, онъ долженъ функціонировать; намъ данъ языкъ, онъ долженъ упражняться и т. д. Такъ говоритъ эгоистъ XIX столѣтія, индифферентистъ, въ сущности, развитое животное XIX вѣка. Какія идеи производитъ мозгъ этого развитого животнаго, это мало его заботитъ. Область мысли представляется ему шахматною доской, и кто ловчѣе сдѣлаетъ ходъ, тотъ вызываетъ больше похвалъ. Ловкая аргументація, интересная философская система, красивая женщина, старое вино, новый физіологическій фактъ, классическая музыка—все это одинаково хорошія упражненія жизни, по воззрѣнію развитого животнаго, и прислушиваясь къ мнѣніямъ его, трудно замѣтить, чтобы онъ ставилъ серьезное различіе между пріятно возбуждающею умственною работою, куреніемъ хорошей сигары и слушаніемъ хорошей сонаты. Развитое животное, какъ писатель, наноситъ существенный вредъ человѣческой мысли, обращая ее въ праздную забаву, въ орудіе, которое можетъ служить какому угодно идеалу. Если писатель такого разряда силенъ, то это — сила вредная; если онъ и пользуется эрудиціею, то только для подавленія противника и для проведенія какой-нибудь идеи, весьма часто парадоксальной. Въ сущности, какъ ни странно выраженіе, его умственная дѣятельность—кулачное право въ области мысли, гдѣ для того, чтобы не вредить человѣчеству, требуется еще больше добросовѣстности и справедливости, чѣмъ въ обыкновенной жизни, въ которой возможны грубыя гарантіи; въ области же мысли такія гарантіи невозможны, она—настоящая республика, которая только тогда можетъ правильно развиваться, когда люди, ее составляющіе, обладаютъ добродѣтелью».

Этой категоріи пошлыхъ мыслителей г. Владовъ противополагаетъ истинныхъ мыслителей, для которыхъ мысль — задача жизни, сама жизнь. «Они вкладываютъ въ нее свою душу; они не нуждаются въ одобреніи, не боятся порицанія. Они учатъ»... «Они—апостолы извѣстной идеи, поэтому послѣдняя проводится съ такою силою, съ такимъ увлеченіемъ, которое исключаетъ

все фальшивое, всякую пустую эрудицію, всякія парадоксальныя блестки»... «Они очищаютъ умственную и нравственную атмосферу отъ міазмовъ политическихъ и моральныхъ доктринъ. При изученіи ихъ идей, необходимо остановиться на ихъ характерѣ для того, чтобы вполнѣ понять ихъ внутреннюю жизнь, всегда богатую, служащую источникомъ ихъ ученій».

Если бы потребовалась историческая иллюстрація къ послѣдней общей характеристикѣ, то какая можетъ быть выразительнѣе и ярче той, которую даетъ Ренанъ въ своемъ послѣднемъ трудѣ—«Исторія израильскаго народа». «Израиль никогда не могъ примириться съ мыслью о конечномъ торжествѣ зла,—говоритъ Ренанъ.—Мудрые люди этого народа пылали гнѣвомъ къ неправдѣ, которою кишитъ міръ. Мысль о зломъ человѣкѣ, доживающемъ старость въ довольствѣ и покоѣ, приводила ихъ въ ярость. Начиная съ IX вѣка до Р. Х. пророки возводятъ идею эту въ догматъ. Израильскіе пророки это—пылкіе поборники общественной справедливости, къ которымъ въ настоящее время не замедлили бы пріурочить ходячіе шаблонные эпитеты. Они фанатически преданы идеѣ общественной справедливости и громко провозглашаютъ, что если міръ не знаетъ правды и не способенъ познать ее, то пусть онъ лучше будетъ разрушенъ—точка зрѣнія весьма ошибочная, но и весьма плодотворная, такъ какъ, подобно всѣмъ увлеченіямъ, она порождаетъ героизмъ и великій подъемъ человѣческихъ силъ. Прямые продолжатели проповѣди пророковъ, предрекая конецъ міра, преобразуютъ міръ» *).

Пора, однако же, намъ возвратиться къ изложенному выше взгляду Гёфдинга на чисто-гносеологическое воздѣйствіе чувствованій на познаваніе; мы можемъ замѣтить, что выдающимся послѣдствіемъ этого воздѣйствія является, по Гёфдингу, стремленіе познанія переступить предѣлы дѣйствительности, искать объясненія ея явленій въ творчествѣ фантазіи, выступить, какъ говорятъ философы, изъ имманентности и погрузиться въ трансцендентность. Но если мысль, обуздавшая преобладаніе напора

*) Цитируемъ по «Revue philosophique», 1890, № 12, p. 613.

сангвиничности чувствованій, становится научною только при условіи имманентности, т.-е. при объясненіи явленій природы посредствомъ ихъ же самихъ, то самая эта идея имманентности указываетъ уже на тѣ столь ненавистныя метафизикамъ границы познанія, за которыми начинается трансцендентность, отверзающая уста для нескончаемаго празднословія.

Гёфдингъ, обосновавшій, какъ мы знаемъ, имманентность философіи на понятіи причинности, распространяетъ значеніе этого понятія, какъ одного изъ частныхъ случаевъ болѣе общаго понятія относительности, показываетъ неизбѣжность относительности въ процессѣ познаванія. Онъ утверждаетъ, что сведеніе явленій къ абсолютному единству, не знающему различенія субъекта и объекта, не ведетъ и не можетъ вести къ познанію, и потому рѣшительно выдѣляетъ метафизическія гипотезы за его предѣлы и усматриваетъ въ нихъ исходныя точки для «системъ» философовъ-субъективистовъ, дающихъ въ этихъ системахъ одни продукты своего чисто произвольнаго творчества.

Если же послѣ такихъ заявленій, Гёфдингъ, основываясь только на фактѣ ненасытности стремленія человѣческаго духа къ открытію послѣднихъ началъ бытія и завершенію міросозерцанія какимъ-нибудь объединяющимъ его тезисомъ, допускаетъ для метафизики возможность подвигаться по направленію, указываемому опытомъ, и опираться при этомъ на общее для нея и эмпирическаго знанія основаніе, то онъ, какъ мы думаемъ, попадаетъ на такое внутреннее противорѣчіе, которое не можетъ найти себѣ никакого оправданія. Въ самомъ дѣлѣ, какое значеніе можетъ имѣть указываемая Гёфдингомъ послѣдняя заключительная метафизическая гипотеза? Если имманентное, то, значитъ, доказательное и, слѣдовательно, научное, а не метафизическое. Если же гипотеза будетъ трансцендентная, то кому она нужна? Не наукѣ, конечно. Если же метафизическое отойдетъ метафизикамъ, то объ этомъ, разумѣется, никто спорить не станетъ; но едва-ли только значеніе новой гипотезы будетъ больше, чѣмъ значеніе тѣхъ, придумываніе которыхъ Локкъ приравнивалъ игрѣ дѣтей въ куклы.

4. Алоизъ Риль.

До сихъ поръ мы слѣдили за работами по разграниченію области научной философіи отъ области метафизики тѣхъ писателей, которые, согласно сдѣланнымъ нами ранѣе разъясненіямъ, относятся къ числу представителей позитивизма въ широкомъ значеніи этого термина. Писатели эти, какъ намъ извѣстно, не называли себя и не называютъ позитивистами, и если бы разработка научной философіи ограничивалась работами однихъ только этихъ писателей, то, конечно, были бы правы тѣ, которые утверждаютъ, что названіе позитивистовъ присвоиваютъ себѣ только одни послѣдователи Ог. Конта. На несчастье этого рода поборниковъ метафизики, позитивная арена, даже и по названію, гораздо обширнѣе, чѣмъ того требуютъ условія ихъ полемическихъ пріемовъ, такъ что, вооружаясь противъ позитивистовъ и не принимая съ ними боя по всей линіи, наши ратоборцы поневолѣ становятся въ такое положеніе, которое само по себѣ уже предрѣшаетъ дѣйствительное значеніе ихъ бранныхъ подвиговъ.

Замѣтимъ еще, что, приступая къ ознакомленію читателей съ писателемъ, называющимъ себя позитивистомъ, но къ Ог. Конту не примыкающимъ, мы остаемся чужды и того позитивизма, послѣдователи котораго, по мнѣнію г. Лопатина, по большей части только повторяютъ уже сказанное ихъ вождями и которые будто бы боятся метафизики *), а также и того позитивизма, который имѣлъ въ виду г. Гротъ, когда «еще въ 1883 году отвергъ законность позитивнаго террора», царившаго среди общества по отношенію къ философіи **), и, наконецъ, того, весь смыслъ котораго, согласно увѣренію г. Розанова, сводится къ тезису: «лучше плохо думать, чѣмъ хорошо; мысли

*) Л. Лопатинъ. «Положительныя задачи философіи». ч. I, стр. 16 и 17.

**) Н. Гротъ. «О направленіи и задачахъ моей философіи». Москва, 1886 г., стр. 10.

бываютъ истиннѣе, когда онѣ не развиты и не согласованы другъ съ другомъ, мышленіе правильнѣе, когда оно безсвязно» *). Всѣ эти на разный ладъ осѣненные благоволеніемъ нашихъ философовъ позитивизмы остаются внѣ нашего разсмотрѣнія.

Мы начинаемъ съ профессора Фрейбургскаго университета, Алоиза Риля, уважаемаго въ Германіи ученаго и мыслителя, оказавшаго новой постановкѣ позитивной доктрины большія услуги и несомнѣнно отнявшаго у всѣхъ антипозитивистскихъ разглагольствій о законѣ трехъ состояній и классификаціи наукъ всякій смыслъ и всякое значеніе.

По исходной точкѣ своего главнаго труда—Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für positive Wissenschaft (2 B-de, 1876—87)—Риль примыкаетъ къ Канту. Въ первомъ томѣ названнаго сочиненія онъ заявляетъ, что задачею своей онъ, между прочимъ, считаетъ и дальнѣйшее развитіе Кантовой философіи. Черезъ десять лѣтъ, въ третьемъ томѣ, Риль уже рѣшительно высказывается противъ Канта: онъ заявляетъ, что захватъ понятія метафизики былъ у Канта недостаточенъ и много пострадалъ отъ намѣренія этого мыслителя замѣнить теоретическую метафизику другою—практически-догматическою. Притомъ же Риль утверждаетъ, что Кантъ критикуетъ собственно не метафизику, а метафизическія науки — раціональную психологію, космологію и теологію, въ томъ видѣ, который приданъ имъ былъ Вольфомъ. Самъ Кантъ,—говоритъ Риль,—разумѣлъ, какъ извѣстно, свою критику въ смыслѣ обоснованія или плана для будущей системы чистаго разума, т.-е. для такой метафизики, «которая смогла бы выступить наукой. Поистинѣ же онъ, конечно, отнялъ почву у подобной науки однимъ уже опроверженіемъ онтологическаго довода. Вѣдь, каждое метафизическое доказательство опирается на умозаключеніе изъ понятій о существованіи объектовъ, вполнѣ совпадающихъ съ понятіями. Кажется, самъ онъ не доглядѣлъ этой,

*) В. Розановъ. «Важнѣйшія теченія русской философской мысли». (Вопр. филос. и психол. кн. 3, стр. 22).

болѣе общей, стороны онтологическаго довода, такъ какъ критикѣ онъ подвергаетъ одно схоластическое его употребленіе» *). Общее заключеніе Риля то, что «Кантъ не прорвалъ волшебнаго круга метафизическихъ измышленій даже и тамъ, гдѣ онъ прямо противъ нихъ ратуетъ. Онъ сдѣлалъ еще слишкомъ много уступокъ и пріемамъ, и духу школьной метафизики, на которые онъ всего болѣе нападаетъ».

Но еще ранѣе такого вердикта по отношенію къ Кантовой философіи, Риль былъ убѣжденъ, что «критицизмъ есть разрушеніе трансцендентнаго, обоснованіе позитивной философіи. Его позитивное направленіе отличаетъ его отъ простого скептицизма. Онъ сомнѣвается не ради разрушенія, а ради созиданія. Самому ему не свойственно творчество, но онъ освобождаетъ творческія силы. Онъ пробуждаетъ духъ отъ метафизическихъ грезъ къ бодрой жизни при свѣтѣ дня и въ средѣ живой дѣйствительности. Онъ открываетъ философіи путь прогрессирующей науки. И на этомъ основаніи была бы уже противна духу критицизма остановка на томъ пунктѣ, котораго достигъ Кантъ, хотя на методъ Канта и слѣдуетъ смотрѣть какъ на заслугу, и понынѣ сохраняющую свое значеніе».

Для насъ и не важно, впрочемъ, гоняться за разысканіемъ тѣхъ нитей, которыя связываютъ «позитивную философію» Риля съ «историческимъ критицизмомъ» Канта. Твердое положеніе Риля по отношенію къ Канту, такъ ярко намѣченное во второмъ томѣ его большого сочиненія, важно намъ для обрисовки независимаго характера философіи Риля и для констатированія наличности тѣхъ данныхъ, которыя могли бы въ достаточной мѣрѣ воспрепятствовать смѣшенію Риля съ тѣми ново-кантіанцами, которые,—какъ увѣряетъ г. Лопатинъ,—по своимъ окончательнымъ выводамъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ частностей, почти неразличимо сливаются съ позитивизмомъ. Точкой отправленія этихъ ново-кантіанцевъ,—по мнѣнію г. Лопатина,—служитъ теорія разума Канта, принимаемая на вѣру и безъ

*) Для цитатъ мы пользуемся прекраснымъ переводомъ Е. Ѳ. Корша, придерживаясь, впрочемъ, принятой нами ранѣе терминологіи.

критики даже въ самыхъ темныхъ и сомнительныхъ своихъ пунктахъ, повидимому, наиболѣе нуждающихся въ доказательствахъ и провѣркѣ *). Оставляя на отвѣтственности г. Лопатина самую мысль о возможности существованія такого nonsens'а, какъ сліянія до безразличія позитивистовъ и слѣпыхъ поклонниковъ «теоріи разума» Канта, мы твердо стоимъ на констатированіи того только факта, что мѣтить на Риля г. Лопатинъ не могъ даже и по недоразумѣнію.

Посмотримъ же теперь, какъ разрѣшитъ Риль поставленный нами вопросъ, — какъ различаетъ онъ научную философію отъ ненаучной.

Уже въ первой части II тома своего большого труда, Риль сводилъ понятіе метафизики къ теоріи познанія и рѣзко противопоставлялъ «ученіе о сверхчувственномъ» «системѣ принциповъ познанія чувственнаго». Черезъ нѣсколько же лѣтъ послѣ выхода въ свѣтъ упомянутой книги, Риль выдѣлилъ вопросъ «о различіи научной философіи отъ ненаучной» и придалъ рѣшенію особенно важное значеніе, взявъ его предметомъ своей вступительной рѣчи въ Фрейбургѣ **). Эта рѣчь, обратившая на себя большое вниманіе всѣхъ интересующихся философіей и очень непонравившаяся блюстителямъ старины, явилась теперь въ видѣ первой главы заключительной части II тома и заставила говорить о себѣ еще разъ. Теперь же, благодаря появленію русскаго перевода этой части, она стала доступна и для русскаго читателя.

Риль утверждаетъ, что терминъ «философія» вводитъ теперь въ большое заблужденіе тѣхъ, которые смѣшиваютъ философію древнихъ—метафизику—и философію нашего времени—науку. «На вопросъ: что такое философія?—древніе отвѣтили бы просто: наука. Въ древности, оставляя математику въ сторонѣ, не было вѣдь, ни подлѣ, ни внѣ философіи иной, кромѣ нея, науки; да и на математику Платонъ смотрѣлъ только какъ на подготовку

*) Лопатинъ, о. с., стр. 15.

**) Dr. Alois Riehl: «Ueber wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Philosophie. Eine Akademische Antrittsrede». Freiburg, I. B., 1883.

къ діалектикѣ или къ философіи, чѣмъ и подчинялъ ее, какъ служительницу послѣдней». «Философія — вотъ наука грековъ, наука греческой эпохи вообще, тогда какъ новѣйшія науки въ своей совокупности составляютъ философію новыхъ народовъ и временъ». Что же отличаетъ старую науку отъ новой? Методъ,— отвѣчаетъ Риль; — у древнихъ господствовалъ умозрительный (основанный на догадкахъ) методъ, въ наше время господствуетъ методъ опытный; но цѣль науки и тогда и теперь остается та же: познаніе природы и человѣка, уразумѣніе движеній небесныхъ тѣлъ и процессовъ жизни, разсмотрѣніе нравственныхъ соотношеній и выясненіе законовъ общественнаго строя. Но если цѣли и были однѣ, а пути достиженія ихъ различны, то и результаты были неизбѣжно тоже различны. Греки, прежде всего, старались начертать всеобъемлющую систему цѣлой совокупности вещей,—систему, которая своимъ единствомъ и своею замкнутостью производила эстетическое впечатлѣніе, но которая, при недостаточности знанія, при отсутствіи предварительнаго изученія фактовъ, была достижима только тѣмъ, что міръ и природа насильно втискивались въ одну изъ формъ человѣческаго духа. Метафизическія системы древнихъ были непосредственнымъ продолженіемъ космогоній поэтовъ; вслѣдъ за поэтическимъ миѳомъ идетъ миѳъ философскій. Напротивъ того, новѣйшія науки смотрятъ на «систему», какъ на послѣдній, крайній результатъ ихъ общей изыскательной работы,—результатъ, къ которому онѣ близятся шагъ за шагомъ, путемъ детальныхъ изслѣдованій. И вмѣсто того, чтобы истолковывать природу изъ человѣческаго существа, наоборотъ, стараются понять человѣческую жизнь изъ всеобщихъ законовъ природы.

Греческая форма науки въ XVII вѣкѣ замѣнилась новою, но античная форма не дала вытѣснить себя за одинъ разъ, а продолжала долго еще держаться о бокъ съ новоразвившимися. Такимъ образомъ произошла средневѣковая схоластическая философія и «системы» философіи новаго времени. О распаденіи же философіи съ наукою до совершенной противоположности ихъ между собою Риль считаетъ возможнымъ говорить лишь относительно того періода, который наступилъ въ Германіи послѣ

Канта. Только въ эту пору возникло мнѣніе, будто возможно философствовать и совсѣмъ безъ науки или даже въ явномъ противорѣчіи съ ней. Можно различно судить объ общемъ духовномъ значеніи поэтическихъ системоизмышленій этой эпохи, но нельзя оспаривать вѣрности приговора о ихъ научной малоцѣнности, утвердившагося теперь уже непреложно. Теперь мы смотримъ на эти системы, какъ на возвратъ къ образу мысли того времени, когда поэзія и наука еще не ясно отдѣлились одна отъ другой.

Итакъ, можно сказать, что противоположность существуетъ не между наукою и философіею, а только между ветхою, отжившею формой и тѣмъ новымъ, полнымъ жизни видомъ, какой приняла она въ XVII столѣтіи. Философія, въ широкомъ смыслѣ слова, просто совпадаетъ теперь съ наукою и, взятая въ болѣе тѣсномъ значеніи, образуетъ извѣстную особую науку на ряду со всѣми прочими. Въ этомъ тѣсномъ своемъ значеніи философія является какъ критика познанія. Отрицательною задачей ея становится изслѣдованіе метафизическихъ измышленій и вообще борьба противъ метафизики—не только явной, широко излагающейся въ цѣлыхъ системахъ, но и скрытой, незамѣтно примѣшивающейся къ наукѣ и не устранимой безъ критики понятій; положительною же задачей ея Риль считаетъ разсужденіе объ условіяхъ познанія природы или объясненіе научнаго познанія.

Разъясняя далѣе значеніе философіи въ самомъ общемъ смыслѣ этого термина, Риль говоритъ, что въ этомъ смыслѣ философія составляетъ одно и сознаетъ себя за одно съ возможно-полнымъ научнымъ вѣдѣніемъ, она—синтезъ въ наукѣ и по духу, и по пріемамъ. Разсматривая философію съ этой точки зрѣнія, Риль утверждаетъ, что «нашъ научный вѣкъ съ его идеями о неистребимости силы, съ его объясненіемъ органическихъ процессовъ изъ всеобщихъ законовъ матеріи, съ его соединеніемъ психологіи съ физіологіей есть вѣкъ въ высокой степени философскій, и, конечно, ужъ болѣе философскій, чѣмъ натурфилософская пора Шеллинга и Гегеля, несмотря на то или, вѣрнѣе, благодаря тому, что ни одна такъ-называемая фило-

софская система не смогла присвоить себѣ господства надъ наукой. Что̀ метафизическая система всегда только обѣщаетъ и не выполняетъ никогда, чего ей хочется и что̀ ей не подъ силу, то дѣйствительно достигается постройкою научныхъ системъ. На основаніи совокупнаго научнаго опыта, на основаніи все болѣе и болѣе полнаго анализа явленій, постройка эта вырабатываетъ мало-по-малу и общую связь всѣхъ познаній между собою».

Затѣмъ Риль обращается къ «современнымъ любителямъ философской алхиміи», все еще ищущимъ какихъ-то мудрецовъ, какого-то единственнаго мірообъяснительнаго понятія, и подвергаетъ ихъ измышленія всесторонней критикѣ, которую одинъ изъ рецензентовъ книги Риля справедливо назвалъ всесокрушающею. Риль говоритъ, что явные признаки крушенія метафизики побуждаютъ современныхъ любителей философской алхиміи радоваться уже и тому, если за сверхнаучными ихъ идеями возможно было бы признать хоть относительное, гипотетическое значеніе. На нелѣпость этой мысли указывалъ еще Кантъ. Риль видитъ въ этой вынужденной умѣренности затаенное признаніе начала конца для всякой метафизики, такъ какъ гипотетическая и относительная метафизика—не метафизика уже вовсе. Метафизика, лишенная аподиктической увѣренности, не имѣетъ никакого смысла и никакого значенія. Разбирая значеніе метафизическихъ гипотезъ, Риль приходитъ къ заключенію, что онѣ—«настоящіе опіаты для нашего разсудка; онѣ приводятъ его въ безчувствіе, вмѣсто того, чтобы оживлять и прояснять его. Онѣ порождаютъ видъ всеобъемлющаго знанія, которое нетрудно, впрочемъ, и пріобрѣсть, если только считать желаніе и исполненіе за одно и то же».

Мысль, заключающуюся въ послѣднемъ остромъ замѣчаніи, Риль развиваетъ весьма полномѣрно, приводя цѣлый рядъ доводовъ, разоблачающихъ субъективный пошибъ всѣхъ метафизическихъ умствованій. Послушный голосу своихъ побужденій,—говоритъ онъ,—метафизическій мыслитель хочетъ познать начало вещей по ту сторону явленія, но, отвлекшись отъ явленій, онъ, вмѣсто начала вещей, находитъ только начало своей мысли.

Инымъ путемъ идетъ наука. Она не смѣшиваетъ желанія и исполненія и не довольствуется собою самимъ занимающимся, собою самимъ удовлетворяющимся мышленіемъ. Систематическую потребность субъекта старается она удовлетворить, разыскивая мѣру въ объектахъ и руководясь ею. Она знаетъ и умѣетъ пустить въ дѣло средство, невѣдомое метафизикамъ,—эксперименть или, общѣе говоря, провѣрку. Только одинъ этотъ шагъ,—замѣчаетъ Риль,—даетъ наукѣ возможность опередить чистое умозрѣніе и отдѣлиться отъ метафизики. Метафизика остается непровѣреннымъ и по природѣ своей непровѣримымъ знаніемъ,—областью гадательнаго соображенія и субъективнаго творчества мысли, экспериментальная же или, вообще, провѣряющая себя наука, соединяя въ себѣ умозрѣніе и опытъ, носитъ въ себѣ всѣ задатки жизни и развитія. Философія же, являющаяся синтезомъ науки, всегда обладаетъ возможностью доказать свои положенія, и, притомъ, не соображеніями, выведенными только изъ понятій, т.-е. чисто лишь логическимъ путемъ, а прямымъ указаніемъ на ходъ событій.

Неудивительно послѣ этого, если между великолѣпными обѣщаніями метафизики и ея скромнымъ довольствомъ при исполненіи ихъ на дѣлѣ обнаруживается разительная несоразмѣрщость. Метафизики всегда въ основу объясненія кладутъ какое-нибудь отвлеченное понятіе. Этотъ пріемъ метафизика вмѣняетъ себѣ въ неоспоримую заслугу. «И право,—замѣчаетъ Риль,—трудно было бы лишить ее этой заслуги, еслибъ и въ наукѣ добрая воля и доброе намѣреніе могли считаться за самое дѣло». Къ несчастью для метафизики, нельзя указать ни на одно «объясненіе», которое метафизика не заимствовала бы у науки съ тѣмъ, чтобы, извративъ его истинное значеніе, насильственно приспособить къ своимъ универсальнымъ задачамъ. Обозрѣвая метафизическія системы въ этомъ отношеніи, Риль вскрываетъ ихъ роковую несостоятельность и еще разъ возвращается къ характеристикѣ метафизики, какъ древняго, устарѣлаго типа мысли, отжившаго, первобытнаго уклада науки.

«И подобно тому, какъ ранніе начинатели науки,—говоритъ

онъ,—такъ и теперь философы—систематически все ищутъ какой-то первичной вещи, какого-то верховнаго родового понятія бытія, которое должно содержать въ себѣ его виды, какъ бы ни называли они, впрочемъ, первичную эту вещь, матеріей или духомъ; или же хотятъ вывести всякое въ мірѣ совершеніе изъ одного общаго закона, какъ Гегель, напримѣръ, который думаетъ объяснить его изъ діалектической саморазвивчивости понятія, или Гербертъ Спенсеръ, прибѣгающій для этого ко всеобщей формулѣ развитія, которая должна потомъ измѣнять значеніе составляющихъ ее словъ для каждой группы явленій, потому что иначе она остается къ ней непримѣнимою. Уже и по однимъ формально-логическимъ основаніямъ цѣль метафизической постройки системъ можно искать или въ верховномъ родовомъ понятіи, или въ понятіи о высшемъ, всеобщемъ законѣ»... «Метафизическій мыслитель, исходящій отъ понятія о верховномъ родовомъ бытіи, воспользуется для изложенія своей системы схемою пространственнаго представленія», «а тотъ, кто, напротивъ, всѣ законы природы возьмется вывести изъ одного мірового закона, тотъ необходимо долженъ держаться схемы времени въ преемственномъ развитіи явленій изъ первоначальной основы». Метафизики никогда не обходятся при этомъ безъ помощи аналогій, держащихся на чисто-субъективныхъ основаніяхъ. Указывая на несостоятельность метафизическихъ системъ въ этомъ отношеніи, Риль дѣлаетъ весьма вѣское замѣчаніе о значеніи пониманія или—соотносительно — объясненія въ этихъ системахъ. «На повѣрку выходитъ, — говоритъ онъ, — что мы должны систематизировать природу для того, чтобы понимать ее. Но понятія, которыми мы дѣлаемъ ее для себя вразумительной,—только степени абстракціи нашего мышленія о природѣ, а вовсе не причины или основанія ея собственнаго хода или процесса. Поэтому нѣтъ возможности апріори рѣшить, какъ далеко идетъ единство самихъ объектовъ, систематика всего содержанія опыта».

Наука не менѣе метафизики ревностно ищетъ единства и связности между познаніями, но она не увлекается ни аналогіями, ни непровѣряемыми гипотезами, а потому и можетъ утверж-

дать единство между вещами лишь по стольку, по скольку открываетъ ихъ фактически и установляетъ экспериментально. Поэтому-то науки и не дали еще никакого всепониманія, никакого универсальнаго тезиса, ничего предназначаемаго слыть, а не быть дѣйствительнымъ познаніемъ природы.

Итакъ, приходится повторить еще разъ, что метафизическая философія, какъ по пониманію предмета систематическаго изслѣдованія, такъ и по способу построенія своихъ системъ, представляетъ, сравнительно съ наукой, устарѣлый, отсталый типъ мышленія. «Существуетъ только единственный родъ системостроенія,—говоритъ Риль, — именно тотъ, который служитъ не на время, не срочнымъ заполненіемъ пробѣла между двумя несвязанными еще областями знанія, но который совершается въ силу прогресса точныхъ наукъ, который неудержимо идетъ въ ширь и глубь и оставляетъ все менѣе и менѣе простора системамъ метафизиковъ».

Подводя итогъ своему осужденію метафизической философіи, Риль говоритъ, что убѣжденіе въ ея невозможности онъ считаетъ однимъ изъ важнѣйшихъ результатовъ всеобщей теоріи науки. «Это убѣжденіе не допуститъ впередъ тратить умственныя силы на обсужденіе неразрѣшимыхъ, да и невѣрно поставленныхъ, проблемъ. Но оно открываетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и новые пути для самого научнаго изслѣдованія. Убѣжденіе, что наука и теоретическая философія—одно и то же, что существуетъ только одна система познанія, а не двѣ, ставитъ существенно высшую цѣль наукѣ. На основѣ этого убѣжденія наука исполнится сознаніемъ своего философскаго призванія, своей систематической задачи. Въ своемъ раздѣленіи труда увидитъ она не цѣль, а только средство для достиженія цѣли — синтеза познанія,—средство, споспѣшествующее и совершенно необходимое. Не станутъ уже слишкомъ высоко цѣнить изслѣдованіе мелкихъ подробностей, какъ дѣлалось и должно было дѣлаться прежде, пока наука не сознавала высшей своей задачи, а, напротивъ, предоставляла ее фантастическому мышленію метафизиковъ. Возведеніе самой науки въ философію—вотъ философская задача нашего времени,—высшая и многообъят-

нѣйшая задача, какую только можно поставить въ области познанія».

Сказаннымъ могло бы исчерпаться понятіе философіи въ тѣсномъ смыслѣ, если бы значеніе философіи могло ограничиться одною только теоретическою областью. А такъ какъ рядомъ съ нею существуетъ еще область практическая, то и возникаетъ новая задача—задача этики. Обращаясь къ ней, Риль указываетъ на то, что исторія и сравнительная психологія доставляютъ этикѣ матеріалъ и методъ, и что поэтому этика, съ извѣстной своей стороны, должна неоспоримо считаться наукою; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Риль полагаетъ, что другою стороной своей, именно тою, которою этика обращается къ будущности и разсуждаетъ не о фактахъ, а о тенденціяхъ, не о томъ, что̀ есть и совершается, а о томъ, что̀ должно быть и должно совершаться,—она, конечно, выступаетъ за раму науки въ строгомъ смыслѣ слова.

Мысль эту Риль поддерживаетъ еще и тѣмъ соображеніемъ, что «этика выставляетъ нормы бытія и дѣйствія». «Наука въ собственномъ смыслѣ,—говоритъ онъ, — чужда понятія какого бы то ни было долженствованія. То, что̀, съ практической точки зрѣнія полезности, живучести, красоты, мы называемъ ненормальнымъ, для науки такъ же важно, часто, пожалуй, и важнѣе нормальнаго. Научныя положенія, правильно понимаемыя, никогда не могутъ стать предметомъ нашего нравственнаго и эстетическаго одобренія или порицанія. Они ни нравственны, ни безнравственны, а просто лишь вѣрны или невѣрны. Они не то, чтобъ были истинны, — они становятся истинными тѣмъ, что мы вѣруемъ въ нихъ и по нимъ поступаемъ. Истинность не придаетъ никакому закону природы авторитета нравственнаго, такъ какъ авторитетъ или обязательность всякой нравственной нормы происходитъ исключительно изъ ея общественнаго значенія. Противорѣчіе между научными понятіями и практическими идеями возможно только кажущееся, мнимое, при смѣшеніи между собою ихъ областей, когда мы теряемъ изъ вида, что они принадлежатъ двумъ различнымъ направленіямъ духа, что они должны служить различнымъ его интересамъ».

Риль обращаетъ еще вниманіе и на то, что «теоретическій взглядъ на вещи уже и въ психилогическомъ своемъ корнѣ разнится отъ практическаго. Теоретическій взглядъ идетъ отъ ощущеній, дающихся сознанію извнѣ, тогда какъ практическій взглядъ вырастаетъ изъ чувствованій, которыми сознаніе воздѣйствуетъ наружу. Цѣль перваго—уразумѣніе явленій, основаніе второго—ихъ оцѣнка». Изъ этого видно, что «областью практической философіи слѣдуетъ считать не дѣйствительно сущее, а то возможное, что человѣкъ долженъ еще создать своею волей и энергіей. Практическая философія возвѣщаетъ будущія совершенства, которыя еще не существуютъ какъ объекты теоріи, но которыя могутъ возникнуть. Средство, какимъ ведетъ она на это духъ человѣческій, вовсе не доказательство, а возбужденіе вѣры въ то лучшее, которое человѣкъ долженъ осуществить».

Резюмируя всѣ эти разсужденія, Риль приходитъ къ тому окончательному выводу, что философія должна быть понимаема въ двоякомъ значеніи: какъ общее ученіе о наукѣ и какъ ученіе о практической мудрости и выработкѣ общихъ человѣческихъ идеаловъ. Это послѣднее призваніе исполняетъ она тѣмъ, что сознаніе идеальныхъ стремленій изъ неопредѣленнаго и только сердечнаго, легко ведущаго къ мечтательности, обращаетъ въ опредѣленное и здравомыслящее и связываетъ его прямо съ человѣческимъ благоразуміемъ и съ наукой.

На этомъ мы окончимъ передачу взглядовъ Риля на занимающій насъ вопросъ. Имѣя въ виду, что та часть большого сочиненія Риля, которою мы руководствовались, переведена теперь на русскій языкъ, мы старались ввести наше изложеніе въ возможно-тѣсныя рамки. Мы имѣли въ виду, главнымъ образомъ, заинтересовать читателя превосходною, достойною самаго серьезнаго вниманія книгой и побудить его къ прямому, непосредственному съ нею знакомству.

---

5. Эрнстъ Лаасъ.

Когда, двадцать лѣтъ тому назадъ, вышло первое большое сочиненіе страсбургскаго профессора Эрнста Лааса «Kants Analogien der Erfahrung», и философская позиція этого мало еще извѣстнаго тогда ученаго опредѣлилась съ достаточною ясностью, Файингеръ привѣтствовалъ его, какъ проницательнаго изслѣдователя философіи Канта, ясно намѣтившаго свою цѣль и идущаго къ ней твердо и неуклонно. Въ этой работѣ Лааса Файингеръ констатировалъ не одно только намѣреніе комментировать и опровергать Кантовы Аналогіи опыта, но и попытку подорвать изъ этого центральнаго пункта всю трансцендентальную философію и заложить на ея развалинахъ фундаментъ новаго зданія. «И если вѣрный глазъ инженера,—говоритъ Файингеръ,—сказывается уже въ удачномъ выборѣ мѣста, гдѣ слѣдуетъ заложить мину для взорванія какой-нибудь громадной каменной глыбы, то надо признать, что настоящій трудъ Лааса попалъ именно въ этотъ важный пунктъ» *).

На томъ фундаментѣ, о которомъ говорилъ здѣсь Файингеръ, Лаасъ сталъ вскорѣ возводить то новое зданіе Позитивной философіи, надъ которымъ онъ неустанно работалъ съ 1879 по 1884 годъ. «Idealismus und Positivismus» Лааса, появившійся въ трехъ томахъ въ теченіе означеннаго выше срока и оконченный незадолго до смерти автора, представляетъ несомнѣнно одно изъ самыхъ выдающихся сочиненій во всей философской литературѣ послѣдняго времени и заслуживаетъ, конечно, самаго серьезнаго вниманія всѣхъ интересующихся философіей. Лаасъ, въ полной независимости отъ Ог. Конта, заново обосновываетъ позитивизмъ: онъ создаетъ такой новый типъ его, который представляетъ собой расшире-

*) «Philosophische Monatshefte». XII Band, 2 Heft, S. 443.

ніе и углубленіе русла научно-философской мысли, работающей со временъ Юма и все болѣе и болѣе отодвигающей на задній планъ заносчивыя и обманчивыя идеалистическія системы, не перестающія еще дѣлать попытки возстановленія своего стародавняго вліянія на умы, но встрѣчающія такія препятствія, для преодолѣнія которыхъ недостаточно одного историческаго обаянія.

Обозрѣніе главныхъ пунктовъ Позитивной философіи Лааса даетъ намъ случай познакомиться еще съ однимъ рѣшеніемъ занимающаго насъ вопроса и, такимъ образомъ, еще болѣе расширить наблюденія наши въ области современной философской литературы и насколько возможно приблизиться къ тому общему рѣшенію нашей задачи, которое возможно установить въ настоящее время.

Вопросъ объ опредѣленномъ и ясномъ отграниченіи научной или позитивной философіи отъ ненаучнаго или идеалистическаго міросозерцанія возникаетъ у Лааса на первыхъ же страницахъ его труда. Указавъ на пестроту, представляемую картиной развитія философіи, Лаасъ замѣчаетъ, что пестрота эта усиливается еще разнообразіемъ тѣхъ точекъ зрѣнія, которыя являются руководящими при группировкѣ различныхъ философскихъ направленій: такъ, наприм., тотъ строй воззрѣній, который Лаасъ подводитъ подъ наименованіе идеализма, съ точки зрѣнія логики является какъ реализмъ, съ точки зрѣнія теоріи познанія—какъ апріоризмъ или раціонализмъ, а съ точки зрѣнія онтологіи—какъ спиритуализмъ. Не легко распознаться среди путаницы, вносимой этою номенклатурой съ ея далеко не для всѣхъ извѣстнымъ и понятнымъ происхожденіемъ. Можно замѣтить, однако же, что и во всѣхъ этихъ обыденныхъ классификаціяхъ указывается постоянно на два главныхъ типа, подъ которые подводятся всѣ философскія направленія. Такъ какъ начало всей этой пестроты наименованій восходитъ къ Платону, такъ какъ Платонъ является, притомъ же, и самымъ яркимъ выразителемъ идеалистическаго типа и имѣетъ противъ себя всѣ оттѣнки типа ему противоположнаго, то Лаасъ его и избираетъ представителемъ этого типа и вокругъ него,

какъ перваго его провозвѣстника, группируетъ всѣхъ послѣдующихъ его выразителей. Изучая вслѣдъ затѣмъ характеристическія черты этого философскаго типа, Лаасъ находитъ и въ группѣ его противниковъ столько общихъ чертъ, что считаетъ возможнымъ и ихъ всѣхъ свести къ одному антиплатоновскому или позитивному типу, къ которому и самъ примыкаетъ.

Пестрая картина, представляемая историческимъ ходомъ развитія философской мысли, чрезвычайно упрощается такою группировкой и является, какъ полагаетъ Лаасъ, надежда, что историческія изысканія, которыми такъ богата философская литература, дадутъ, наконецъ, плодъ, и получится руководящее основаніе для всякаго ищущаго свѣта въ этой области знанія. Отдавая справедливость личнымъ достоинствамъ и генію Платона, Лаасъ имѣетъ въ виду показать, что, «выспренность, геніальность и благородство души не могутъ еще служить порукою истины, что, напротивъ того, они чаще ослѣпляли людей, а не освѣщали имъ путь, чаще лишали ихъ трезваго взгляда, чѣмъ укрѣпляли умственно». Что же касается собственно платоновскихъ принциповъ и платоновскаго метода, то сомнительная сторона ихъ обнаруживала себя уже не разъ; ученіе Платона тѣмъ опаснѣе, чѣмъ привлекательнѣе его изложеніе, чѣмъ обаятельнѣе является оно для ума, чѣмъ сильнѣе подкрѣпляетъ естественную его склонность къ духовному опьяненію.

Чары громкихъ словъ—вотъ бѣдствіе, противъ котораго направлены предостереженія Лааса. Трезвый мыслитель этотъ настаиваетъ на возможности высоко чтить идеалъ человѣчества, не подпадая, однако же, подъ гнетъ той философіи, на которой, какъ воображалъ Платонъ, только будто бы и возможно обосновать ихъ. Въ разрѣзъ такому воззрѣнію, Лаасъ утверждаетъ, что для выполненія своего назначенія методъ Платона совсѣмъ недостаточенъ. Въ общемъ, характеръ Платона, по мнѣнію Лааса, есть характеръ романтическій, т.-е. узкій, неплодотворный и нездоровый. Платона, вслѣдъ за Льюисомъ, можно, пожалуй, какъ думаетъ Лаасъ, назвать софистомъ; но, назвавъ его мистикомъ или романтикомъ, не придется уже принимать

его подъ защиту по поводу обвиненія въ софистикѣ: всякая мистика, всякая романтика полны какъ наивныхъ, такъ и искусственныхъ, т.-е. измышленныхъ софизмовъ. Источникъ всѣхъ ихъ—сердце. Не забудемъ, что въ натурѣ Платона существовала не одна только діалектическая, но и поэтическая, и художественная жилка. Платонъ, какъ утверждаетъ Лаасъ, пользовался своею діалектическою способностью вовсе не безпристрастно, вовсе не ради ея самой, но подъ вліяніемъ импульса совершенно опредѣленныхъ идей, — идей чисто романтическихъ, характеризируемыхъ объективною безпочвенностью, съ одной стороны, и субъективною, изъ сердца проистекающею необходимостью—съ другой.

Стоитъ только,—замѣчаетъ Лаасъ,—осмотрѣться кругомъ, чтобы убѣдиться въ громадномъ вліяніи на умы этой романтической философіи. Оно было и остается и широкимъ, и глубокимъ. Нѣкоторые изъ ея догматовъ проницаютъ наше мышленіе и нашъ языкъ; они образуютъ какъ бы подпочву обыденнаго міровоззрѣнія, а также и нѣкоторыхъ важнѣйшихъ учрежденій. Сравнивая въ этомъ отношеніи платоновскій типъ съ типомъ ему противоположнымъ, мы можемъ замѣтить, до какой степени громадно различіе между ними по отношенію интенсивности и охвата ихъ вліянія. Въ наше время даже еще замѣтно, что платоновскій типъ пережилъ нѣкогда періодъ полной побѣды. И, однако же, у платонизма есть хоть одна сторона, по отношенію къ которой онъ долженъ быть поставленъ ниже своего соперника: платонизму не выпало на долю установить и развить свои основоположные тезисы послѣдовательно, органически, научно, такъ чтобы въ наше время типъ этотъ могъ бы представиться въ болѣе роскошномъ и богатомъ ростѣ, чѣмъ первоначально. Участь его была совершенно иная: послѣ того, какъ нѣкоторыя стороны его, выродясь въ аскетическія и экстатическія проявленія, возымѣли частью тлетворное, частью безобразное вліяніе на умы, другія были до такой степени очищены и съужены критикой, что въ настоящее время все, могущее въ платоновскомъ типѣ получить научное значеніе, производитъ своею туманностью и расплывчатостью весьма скудное впечат-

лѣніе сравнительно съ картиной, представленной типомъ противоположнымъ. Бо̀льшая часть платониковъ держатся лишь той или другой изъ сторонъ общей совокупности платоновскаго ученія, и рѣдко встрѣчается такой, который могъ бы возстановить всего Платона или двинуть доктрину его къ новому фазису развитія. Поэтому-то платонизирующая философія издавна сбнаружила склонность удаляться отъ научныхъ преній въ полумракъ мистическихъ вѣрованій, которыя, переходя въ легенды и миѳы, какъ у самого Платона, весьма затрудняютъ отвѣтъ на вопросъ о томъ, гдѣ оканчиваются образы и игра фантазіи и гдѣ начинаются серьезная мысль и истина. Если же обратимся только къ тѣмъ представителямъ платонизма, которые по праву могутъ считаться философами, то хотя и встрѣтимъ въ нихъ основныя черты платоновскаго характера, но сейчасъ же замѣтимъ, что черты эти являются въ связи съ разнообразными измѣненіями и вѣяніями, съ приспособленіями ко времени, обстоятельствамъ, индивидуальностямъ, съ многоразличными уступками противоположной точкѣ зрѣнія, такъ что эта внѣшняя сторона дѣла производитъ впечатлѣніе и возбуждаетъ предположеніе, будто постоянный импульсъ и тенденція, шедшіе отъ Платона, хотя и обладали большою духовною силой, отстаивали, однако же, свои положенія противъ критики, и фактически, и логически, не безъ затрудненія. Вникая въ мотивы, руководившіе ученіемъ при противопоставленіи его воззрѣніямъ противоположнымъ, мы въ состояніи разглядѣть, скрываетъ-ли оно въ себѣ здоровое научное зерно, или же силы его коренятся не въ объективныхъ фактахъ и оправды аемыхъ критикою задачахъ, а въ субъективныхъ и даже фантастическихъ хотѣніяхъ.

Такъ какъ такая геніальная и поэтическая личность, какъ Платонъ, по вліянію своему на весь длинный рядъ философовъ-идеалистовъ, имѣетъ громадное значеніе, то слѣдуетъ признать очень важнымъ раскрытіе тѣхъ причинъ, которыя побуждали Платона противоборствовать воззрѣніямъ, представителемъ которыхъ является, по Платону же, Протагоръ, и заботиться о созданіи ученія, могущаго совмѣстить самостоятельность и необоримость. Платону казалось, что однимъ изъ главныхъ затрудненій, ока-

завшихся для Протагора непреодолимыми, заключалось въ обманчивости чувствъ, какъ орудій воспріятія. Онъ считалъ послѣдствія этой обманчивости пагубными для достоинства науки и настаивалъ на необходимости подчинить ихъ какому-нибудь высшему неизмѣнчивому принципу; затѣмъ, онъ, разумѣется, отвергалъ годность воспріятія, какъ достовѣрнаго основанія для познанія, и проводилъ ту мысль, что объективно-существующія и соотвѣтствующія понятіямъ реальности никогда не могутъ подпасть воспріятію, хотя и играютъ въ процессѣ познаванія первенствующую роль; и далѣе, онъ утверждалъ, что такъ какъ наука имѣетъ своимъ предметомъ истину, истина же высказывается не въ страдательныхъ состояніяхъ воспріятія, а въ сужденіяхъ—продуктахъ категоріи чисто-духовнаго характера, то сенсуалистическая теорія Протагора, какъ явно несостоятельная, должна быть отвергнута. Наконецъ, воспріятіе, по его убѣжденію, не могло представить достаточно прочной, объективной гарантіи истины, а потому онъ и искалъ для нея устойчивое объективное обоснованіе. Такое обоснованіе могла дать, по его воззрѣнію, идея блага, сама въ себѣ покоющаяся, не нуждающаяся въ дальнѣйшемъ обоснованіи, абсолютная. Утверждая на ней не только познаніе, но и бытіе, Платонъ думалъ положить такимъ образомъ предѣлъ всему произвольному, измѣнчивому и противорѣчивому, разсчитывая при этомъ на возможность окончательнаго и прочнаго установленія науки.

Чтобы имѣть возможность представить себѣ со всею ясностью воздѣйствіе Платоновой философіи какъ на его сторонниковъ, такъ и на противниковъ, Лаасъ считаетъ необходимымъ войти въ ближайшее разсмотрѣніе различныхъ сторонъ или мотивовъ этой философіи. Особенность воздѣйствія Платоновой философіи на ея послѣдователей заключалась въ томъ, что ни одинъ изъ нихъ не воспроизвелъ всѣхъ ея сторонъ во всей ихъ полнотѣ; по этой причинѣ является необходимость въ различеніи мотивовъ и ихъ сопоставленіи. Само собою разумѣется, что намъ возможно привести здѣсь только резюмé того обширнаго и тщательно-обработаннаго анализа, который чита-

тель можетъ найти въ первомъ томѣ Лаасова Идеализма и позитивизма.

Главныхъ мотивовъ (или сознательно-ясно, или въ формѣ смутныхъ побужденій), вліявшихъ на установленіе основныхъ положеній платонизма, Лаасъ считаетъ всего пять. Первымъ изъ нихъ Лаасъ выставляетъ чрезмѣрное переоцѣненіе математическихъ образцовъ и несообразное дѣйствительности подражаніе имъ, какъ строго сцѣпленному (силлогистическому) веденію доказательствъ. Все, приложимое къ наглядно представляемымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, постояннымъ и всегда однообразно обозначаемымъ понятіямъ математики, представляется приложимымъ и ко всякаго рода понятіямъ вообще. Почему, казалось бы, не допустить, что бытіе, взятое во всей его совокупности, не скрываетъ цѣлую систему вѣчныхъ онтологическихъ истинъ, подобно тому, какъ пространство—систему истинъ математическихъ? Какое имѣемъ мы основаніе отвергать возможность разложенія всякаго рода понятій дедуктивнымъ путемъ на систематически расчлененные предикаты, содержащіеся въ этихъ понятіяхъ и изъ нихъ выводимые, подобно тому, какъ то имѣетъ мѣсто по отношенію понятій треугольника или круга? Таковы предположенія и цѣли, къ которымъ влеклись умы не въ силу одной только индивидуальной склонности или личнаго предположенія философовъ. Инстинктивныя стремленія ихъ несомнѣнно подкрѣплялись вліяніемъ состоянія наукъ во времена Платона. Ни одна наука той эпохи не могла посягать на сравненіе съ математикой по отношенію научной законченности. Притомъ же, не только тогда, но и теперь еще не рѣдко видятъ въ математикѣ образецъ всякой дедуктивной науки. Подъ этимъ обаяніемъ математики и сложилось мнѣніе, что истинною наукой можно считать только такую, которая можетъ усвоить себѣ пріемы математики. Изъ предпосылки, заключающейся въ такомъ мнѣніи, вытекало само собою: 1) что дедукція и систематизація были неотмѣнимо-обязательны; 2) что во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда для нихъ не оказывалось почвы, не могла быть констатирована и истинная наука; 3) что онтологическія понятія подлежатъ такой же строгой систематизаціи, какъ и мате-

матическія, и, наконецъ, ко всему этому примыкало то наивное и роковое мнѣніе: 4) что такія «понятія» могутъ просто-на-просто быть заимствуемы изъ обыденной рѣчи, при чемъ допускалась мысль о безполезности изслѣдованія генезиса, многосмыслія и растяжимости заимствованныхъ обозначеній. Послѣдующее время дало подтвержденія въ широкомъ распространеніи того умонастроенія, которое обусловливало возникновеніе и развитіе этого мнѣнія. Въ заключеніе своей характеристики этой стороны платоновскаго типа Лаасъ находитъ, что, принимая во вниманіе ея позднѣйшую исторію, ее слѣдуетъ назвать математизирующею или схоластическою.

Къ математическому мотиву тѣсно примыкаетъ уже у Платона и еще тѣснѣе у нѣкоторыхъ его послѣдователей и тотъ, на который Лаасъ считаетъ нужнымъ обратить особенное вниманіе и который въ его изложеніи является какъ второй мотивъ платонизма, а именно: стремленіе къ сведенію всякаго научнаго познанія и всякаго нравственнаго дѣянія къ такимъ абсолютнымъ принципамъ или даже къ единому понятію или положенію, которыя не нуждались бы въ дальнѣйшемъ обоснованіи, да и не были бы способны къ нему. Послѣднимъ этимъ принципомъ у Платона является, какъ и было уже замѣчено выше, идея блага; она и есть тотъ «безусловный», «всеобщій принципъ», который почитается краеугольнымъ основоначаломъ всей философіи. Пользуясь терминомъ самого Платона, Лаасъ называетъ этотъ мотивъ идеализма стремленіемъ къ абсолюту. Діаметральною противоположностью этому стремленію является самоограниченіе, самоотреченіе, резигнація вообще; самое же стремленіе, по замѣчанію Лааса, принимаетъ у различныхъ мыслителей различныя формы: поэтическій полетъ—у однихъ, мистико-сантиментальный складъ—у другихъ, соединеніе того и другого—у самого Платона.

Какъ третью характеристическую черту, отличающую платоновскій типъ, Лаасъ считаетъ убѣжденіе въ существованіи для нашей дѣятельности и для «бытія» вообще извѣстныхъ руководящихъ или нормативныхъ законовъ. Законы эти, согласно такому убѣжденію, имѣютъ свои корни не въ нашей

чувственности, не въ фактахъ дѣйствительности, а въ иной области.—области, называемой, согласно платоновскому словоупотребленію, «духомъ», «разумомъ». Они потому уже должны представляться сверхчувственными и апріорными, что именно они сообщаютъ всему чувственному бытію и всякому стремленію снабженнаго органами чувствъ существа форму и устойчивость, назначеніе и направленіе. Все дѣйствительное познается только при ихъ посредствѣ, все желаемое только благодаря имъ получаетъ санкцію. Эту сторону платонизма Лаасъ называетъ раціоналистическою или апріористическою.

Въ связь съ третьимъ мотивомъ Лаасъ вводитъ четвертый и пятый. Четвертый онъ формулируетъ такъ: наши воспріятія и чувствованія, такъ же какъ и образующіеся изъ нихъ продукты памяти, чувственныхъ побужденій и страстей, являются такими психическими состояніями, которыя въ послѣднемъ итогѣ обусловливаются извнѣ, чрезъ посредство организма, и должны считаться чисто-пассивными состояніями сознанія. Рядомъ съ ними необходимо признать «чистыя» проявленія нашей «высшей» самобытности,—проявленія, имѣющія свою исходную точку не внѣ этой самобытности, а внутри ея. Они, какъ то указалъ уже Платонъ, обозначаются уже въ актѣ сужденія; мы подмѣчаемъ ихъ и въ формированіи и упорядоченіи пассивно-усвоеннаго матеріала воспріятій, обнаруживаемъ во всѣхъ нашихъ «дѣйствіяхъ»; въ нихъ мы видимъ активныя движенія нашего я, вскрытіе присущей намъ самопобудительности (спонтанейности), подтвержденіе нашей «свободы»; они и мыслятся поэтому какъ нѣчто специфически-отличное отъ чувственно-естественнаго механизма, они поэтому и противопоставляются ему. Высказанной этою формулировкой мысли Лаасъ придаетъ названіе мотива самопобудительности (Spontaneitäts-Motiv) и считаетъ его тѣмъ мотивомъ, который хотя и можетъ быть уже подмѣченъ у самого Платона, но который только въ позднѣйшее время достигъ своего полнаго развитія.

Тѣмъ за то полнѣе, сильнѣе и опредѣленнѣе обозначается у самого Платона пятый мотивъ. Лаасъ усматриваетъ его въ

горячей вѣрѣ въ «духовный» принципъ, который «мыслитъ» и «познаетъ», ставитъ себѣ практическіе идеалы и вызываетъ къ жизни нашу дѣятельность,—принципъ, формы и законы котораго соизмѣримы познаваемому бытію, но самое бытіе котораго должно быть отнесено не къ этому міру воспріятій, гдѣ онъ временно проявляется, а къ міру сверхчувственному. Этотъ мотивъ Лаасъ называетъ сверхчувственнымъ или трансцендентнымъ.

Представивъ въ общихъ чертахъ характеристику мотивовъ, вскрываемыхъ Лаасомъ у всего математизированнаго, раціонализированнаго, спиритуализированнаго и, вообще говоря, метафизицированнаго мышленія, мы можемъ обратиться теперь къ общему характеру этого самаго мышленія и представить хоть бѣглый абрисъ его основныхъ чертъ.

Уже ранѣе читатели могли замѣтить и отчасти оцѣнить значеніе, придаваемое Лаасомъ роли хотѣнія въ экономіи нашего мышленія. Возвращаясь не разъ къ этому вопросу въ разныхъ мѣстахъ своего сочиненія, Лаасъ пополняетъ приведенное выше указаніе и констатируетъ, что хотѣніе, потребность, интересъ обусловливаютъ то «безпокойство», которое испытывается всякимъ, кто замѣчаетъ отсутствіе предмета, могущаго доставить ему удовольствіе. Полученіе такого предмета и обладаніе имъ замѣняетъ безпокойство «удовлетвореніемъ», а когда идетъ рѣчь о сферѣ умственной дѣятельности — объясненіемъ, или, соотносительно, пониманіемъ. Лаасъ припоминаетъ при этомъ, что уже Милль показалъ, какое громадное разнообразіе способовъ объясненія было и остается въ ходу у разныхъ народовъ и какъ часто «объясненіе» подъ вліяніемъ внушеній обыденной жизни, обыкновенно преодолѣвающихъ внушенія научнаго методическаго мышленія, замѣняютъ только одну тайну, еще кажущуюся странною, другою, переставшею уже казаться такою. Примѣры, могущіе иллюстрировать перипетіи разнаго рода объясненій, такъ обильны въ исторіи философіи и такъ общеизвѣстны, что долго останавливаться надъ ними нѣтъ никакой надобности. Всякому извѣстны объясненія, предъявляемыя, наприм., тѣми, которые искали и находили утоленіе своего без-

покойства въ сведеніи всѣхъ явленій къ водѣ, воздуху, огню и т. д. Особенное вниманіе при этомъ слѣдуетъ обратить только на то обстоятельство, до какой степени твердо принималась та или иная «потребность» за совершенно достаточный мотивъ и какъ пестры, подчасъ противоположны, были способы удовлетворенія этой потребности. Такъ, напримѣръ, общая причинная связь явленій, представляющая для стремящагося къ «объясненію», какъ regressus in infinitum, возбуждаетъ въ умѣ метафизика потребность завершенія или замкнутія этой цѣпи. Лейбницъ находитъ, напримѣръ, что послѣднее звено должно непремѣнно быть «hors de suite des choses contingentes»... «autrement on n'auroit pas encore une raison suffisante, où l'on pût finir». Лаасъ замѣчаетъ по этому случаю, что едва-ли одно хотѣніе покончить съ сознанною потребностью достаточно для того, чтобъ избѣгнуть причиняемаго ею безпокойства, и приводитъ при этомъ на память читателю, что Аристотель допускалъ вѣчное движеніе; Лейбницъ же считаетъ необходимымъ сослаться на свой «принципъ достаточнаго основанія».

Таковъ въ его основныхъ чертахъ характеръ «объясненія» въ исторіи метафизики, и въ этомъ его смыслѣ и значеніи и называетъ его Лаасъ «такъ-называемымъ объясненіемъ»— «Sogenannte Erklärung». Въ прямой зависимости отъ такого «объясненія» находится, конечно, и «познаніе» у всѣхъ метафизически настроенныхъ мыслителей. Всѣ они смѣшиваютъ обыкновенно «познаніе» (Erkennen) съ «объясненіемъ» (Erklären) и требуютъ и для познанія сведенія къ абсолютнымъ реальностямъ, къ разысканію основанія, принципа, сущности даваемыхъ опытомъ фактовъ и ихъ законовъ.

Ложные пути, которые принимала и принимаетъ мысль, гоняющаяся за этими химерами, очень разнообразны. Влекомая указанными выше мотивами, она принимаетъ то ту, то другую изъ «фикцій» объясненія за высочайшее проявленіе истины и строитъ при ея помощи тѣ воздушные замки, которыми полна исторія метафизики. Было бы слишкомъ долго слѣдить за всею тою разрушительною работой, благодаря которой и Лаасъ въ свою очередь справедливо заслужилъ названіе Alleszermal-

mer'a, мы остановимся только на нѣкоторыхъ особенно важныхъ пунктахъ. Обратимъ, прежде всего, наше вниманіе на понятіе «субстанціи». Терминъ этотъ, какъ извѣстно, принадлежитъ къ числу самыхъ ходкихъ изъ всего нашего мысленнаго инвентаря по отношенію къ вопросамъ онтологическимъ. Онъ иногда служитъ мостомъ для перехода въ трансцендентные регіоны; но, какъ замѣчаетъ Лаасъ, только для тѣхъ, которые не думаютъ предварительно о многосмысленности этого выраженія, а также и о явныхъ слѣдахъ его эмпирическаго происхожденія, замѣчаемыхъ при разсмотрѣніи каждаго, отдѣльно взятаго, его значенія.

«Субстанція,—какъ мѣтко замѣчаетъ Лаасъ, — есть только разсчитанная на внушительность замѣна простого термина «вещь», т.-е. связанной въ конкретное единство и пріуроченной къ одному и тому же мѣсту совокупности свойствъ и силъ. Изъ всей этой суммы, подъ внушеніемъ логическаго сужденія и вліятельныхъ интересовъ, обыкновенно выдѣляется нѣчто среди измѣненій постоянное, сосуществующее, въ противоположность послѣдовательному, и получаетъ значеніе «субстанціи». Такимъ образомъ, понятіе вещи, извѣстнаго конкретнаго единства, распалось на двѣ части: субстанцію и акциденціи. Затѣмъ оставалось еще сдѣлать шагъ къ присвоенію субстанціи новаго свойства — самостоятельности. Мало-по-малу самостоятельность эта получила то опредѣленное значеніе, которое она имѣетъ у Спинозы, стала тѣмъ, «quod in se est et per se concipitur». И вотъ, и въ наше время подъ субстанціей разумѣютъ то, что́ независимо отъ чего бы то ни было другого остается неизмѣннымъ при всѣхъ окружающихъ его перемѣнахъ. Мы будемъ еще имѣть случай представить нѣкоторыя разъясненія взгляда Лааса на понятіе субстанціи, а теперь замѣтимъ только, что Лаасъ не считаетъ возможнымъ выжать изъ понятія субстанціи какія бы то ни было заключенія, годныя для перехода къ трансцендентному. Образованіе понятія субстанціи и пользованіе имъ очень натуральны; но не слѣдуетъ видѣть въ немъ какого-то откровенія и не увлекаться химери-

ческою надеждой чрезъ его посредство проникнуть въ область «an sich».

Спиритуалисты, какъ извѣстно, не стѣснялись многосмысленностью и текучестью термина «субстанція», но пользовались зыбкостью почвы, представляемою этимъ терминомъ, и старались возвести на ней свое причудливое мистико-метафизическое зданіе. Мы имѣли уже случай познакомить читателя съ глубокомысленнымъ и остроумнымъ разсужденіемъ Бэна, доказавшаго какъ нельзя лучше призрачность спиритуалистическихъ поползновеній и преподавшаго благой совѣтъ «не пытаться извлекать солнечные лучи изъ этого огурца». Замѣтимъ теперь, что тѣ, для которыхъ авторитетъ Бэна «не довлѣетъ», могутъ обратиться къ «параллогизмамъ чистаго разума» Канта и такимъ образомъ освѣжить въ памяти старыя истины. Кантъ, впрочемъ, не въ одномъ только этомъ случаѣ, но и во многихъ другихъ, какъ неоднократно признаетъ Лаасъ, много сдѣлалъ для подготовленія почвы для позитивной философіи, и нѣкоторыя его положенія, какъ увидимъ далѣе, были переработаны Лаасомъ и введены въ изложеніе его собственнаго міровоззрѣнія *). Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако же,

*) «Интересно, и для людей, чуждыхъ философіи, въ высшей степени поразительно то, что и Кантъ также по временамъ является представителемъ позитивистской точки зрѣнія,—говоритъ Лаасъ. Мѣста, въ которыхъ великій апріористъ обнаруживаетъ эту точку зрѣнія, не рѣдкость у Канта и въ такой же мѣрѣ могутъ представлять собою матеріалъ для эмпирической системы, въ какой другія являются годными для его трансцендентальной метафизики». «Id. und. Pos.» I, S. 185). Это, конечно, не открытіе; но тѣмъ удивительнѣе, что В. С. Соловьевъ, котораго никакъ нельзя считать чуждымъ философіи, старается увѣрить своихъ читателей, что тотъ, кто—какъ онъ выражается—призываетъ къ Канту, служитъ обращенію общества къ метафизикѣ, такъ какъ Кантъ есть «источникъ всякой метафизики». (Вопр. филос. и психол., кн. 5, стр. 123). Явный этотъ non-sens сорвался у почтеннаго В. С., очевидно, только потому, что онъ слишкомъ увлекся задуманнымъ имъ полемическимъ пріемомъ—возврата долга, да еще и «съ процентами» посредствомъ фальшивыхъ похвалъ. Опытъ показалъ еще разъ, что въ литературѣ, какъ и въ жизни, долги не погашаются тѣмъ способомъ, который избралъ г. Со-

Лаасъ удѣляетъ не мало мѣста и полемикѣ съ этимъ великимъ философомъ, такъ много увлекавшимся тѣми мотивами платоновскаго характера, о которыхъ было говорено выше. Одно только раскрытіе этихъ мотивовъ и обусловливаемой ими *тенденціи* Кантовой мысли нерѣдко можетъ, по мнѣнію Лааса, обнаружить узость и несостоятельность многихъ аргументовъ автора «Критики чистаго разума». И если оставить въ сторонѣ многосмысленность и измѣнчивость терминовъ, которыми пользовался Кантъ и которыя часто затрудняютъ отвѣтъ на вопросъ: не многосмысленны-ли и измѣнчивы и соотвѣтствующія терминамъ этимъ понятія; если пренебречь всею этою стороной въ сочиненіяхъ Канта и только имѣть въ виду идею цѣлаго, то придется сказать, что эта идея и была проникнута тенденціей, заключавшеюся въ подготовленіи почвы для метафизической вѣры, направленной къ міру сверхчувственному. Эта предвзятость (Voreingenommenheit), впрочемъ, не единственная у Канта; видную роль играетъ у него и другая—*идеалъ науки*. На этомъ пунктѣ Кантъ очень близко соприкасается съ своимъ предшественникомъ Платономъ: оба, какъ замѣчаетъ Лаасъ, установляли свои взгляды и считались съ дѣйствительнымъ значеніемъ данныхъ условій; оба не вырабатывали ихъ сообразно съ имѣвшимися въ ихъ распоряженіи объектами, а свободно творили, подгоняя потомъ подъ нихъ дѣйствительность. Тогда какъ мы, позитивисты, говоритъ Лаасъ, довольны и тѣмъ, что намъ удается понять, какимъ образомъ изъ данныхъ воспріятій и постепенно развивающихся потребностей могутъ образоваться извѣстныя познавательныя стремленія — Платонъ ставитъ собственное свое требованіе о томъ, что истинный объектъ науки долженъ обладать вѣчностью, неизмѣняемостью и постоянствомъ, дискредитируя, такимъ образомъ, значеніе данныхъ воспріятія, а Кантъ заявляетъ, что наука въ собственномъ смыслѣ должна быть аподиктическою, апріорною, сознающею идею необходимости, выводящею познаніе изъ однѣхъ

ловьевъ, и не только не погашаются, а растутъ пропорціонально значенію той отрицательной цѣнности, которая представляется для расплаты.

только возможностей, и утверждаетъ, что познаніе, не переходящее предѣлы эмпирической достовѣрности, не есть познаніе въ собственномъ смыслѣ. Въ связи съ этимъ взглядомъ на познаніе находится у Канта и понятіе о возможности иныхъ (нечеловѣческихъ) познаній. Предвзятость, служащая основою этого понятія, ведетъ уже прямо въ область мистики.

Мы ограничимся этими общими указаніями Лааса на значеніе Кантовой философіи и не станемъ излагать даже и вкратцѣ его обширныхъ критическихъ замѣчаній на главнѣйшія воззрѣнія недавно еще такъ увлекавшаго нѣмецкіе умы мыслителя. У насъ, какъ извѣстно, «поворотъ къ Канту», оставившій такое яркое и еще свѣжее воспоминаніе въ философской литературѣ Германіи, прошелъ едва замѣтнымъ. Въ настоящее время представляется для насъ важнымъ не столько ознакомленіе съ критическою оцѣнкой мало-извѣстнаго у насъ Канта, сколько сосредоточеніе вниманія на той новой философіи, которая возникла частью на почвѣ, подготовленной Кантомъ, частью на развалинахъ его системы. Лаасъ принадлежитъ, конечно, къ числу самыхъ видныхъ и вліятельныхъ представителей этой новой философіи, и намъ пора теперь перейти къ очерку положительной стороны того строя, который она пріобрѣла въ его рукахъ.

Охарактеризованному въ предшествовавшихъ строкахъ міросозерцанію съ его мотивами, тенденціями и пріемами, вдохновляющимися и до сихъ поръ духомъ Платоновой философіи, противопоставляетъ Лаасъ то трезвое научное познаніе, которое только въ новѣйшее время успѣло вступить на путь непрерывнаго развитія и которому удалось мало-по-малу побороть вѣковѣчное вліяніе старой метафизики. Родоначальникомъ этого философскаго направленія Лаасъ считаетъ Протагора и утверждаетъ, что, затѣмъ, только съ Юма возстановляется забытый живой родникъ здравомыслія, надъ расширеніемъ и углубленіемъ котораго работаетъ уже не первое поколѣніе мыслителей.

Отъ Юма собственно и ведетъ Лаасъ генезисъ своей доктрины, черезъ Дж. Ст. Милля, помимо Ог. Конта. Онъ смотритъ на основныя положенія его системы — законъ трехъ со-

стояній и классификаціи наукъ,—какъ на такія, въ которыхъ хотя и проявился умъ, а отчасти вѣрная наблюдательность ихъ творца, но которыя, въ то же время, своею искусственною конструктивностью напоминаютъ построенія не кого иного, какъ Гегеля. Примыкая, такимъ образомъ, непосредственно къ Миллю, Лаасъ не желаетъ, однако же, раздѣлять всѣхъ его воззрѣній и соглашается съ Джевонсомъ по нѣкоторымъ пунктамъ его критики Миллевой Системы логики. Не считаетъ онъ непогрѣшимымъ и Юма, но все же находитъ у него такія научно-философскія положенія, которыя стали бы мы тщетно искать у другихъ мыслителей. По этой причинѣ Лаасъ и считаетъ Юма ближайшимъ провозвѣстникомъ современной позитивной философіи.

Твердо увѣренный, что всякая философія, не опирающаяся на теорію познанія, не можетъ разсчитывать на устойчивость, Лаасъ и кладетъ во главу угла обработку гносеологическихъ вопросовъ. Само собою разумѣется, что остріе его теоріи познанія обращено противъ «фантасмагорій» идеализма, но онъ не теряетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ вида и проявленій крайняго скептицизма, противъ которыхъ боролся уже и ранѣе. Считая главными представителями идеализма, какъ мы знаемъ уже, Платона и Канта, Лаасъ не теряетъ изъ вида того обстоятельства, что оба эти мыслителя прежде всего направляли силы свои противъ «скептицизма», хотя каждый изъ нихъ имѣлъ объ этомъ общемъ врагѣ свое особое понятіе. Разумѣлся-ли, однако, подъ скептицизмомъ крайній гераклитизмъ съ его идеею неудержимой измѣнчивости и текучести, исключавшею возможность существованія чего-либо субстанціальнаго и абсолютнаго, или являлся скептицизмъ въ формѣ теоріи причинности Юма, исключавшей возможность метафизическаго перехода къ «вещи въ себѣ»,—все же для идеализма одинаково угрожала опасность потерять занятую еще элеатами позицію, защищавшую излюбленный ими тезисъ о недостаточности чувственнаго познанія и о бытіи рядомъ съ міромъ воспріятій иного высшаго міра сверхчувственныхъ объектовъ («идей» или «нуменовъ»). Эту-то философскую фантастику и имѣетъ въ виду Лаасъ. Задачею своей онъ сга-

вить окончательное ея преодолѣніе и устраненіе. Еще въ своихъ Аналогіяхъ опыта онъ развивалъ мысль о томъ, что мышленіе наше не можетъ простираться за предѣлы дѣйствительнаго міра и что невозможно рядомъ съ реальнымъ бытіемъ міра воспріятій допускать еще множество формъ инобытія. Такая возможность, доказывалъ тогда Лаасъ, допустима только какъ контрастъ, полезный для характеристики бытія дѣйствительнаго, не болѣе. «Намъ извѣстно одно только мышленіе, какъ таковое,—говоритъ онъ,—именно то мышленіе, которое вращается въ области мыслемѣрныхъ данностей, а не въ области фантастическихъ образовъ, которое даже и тогда, когда обращается къ воображаемымъ формамъ, не теряетъ изъ вида нитей, ведущихъ къ міру дѣйствительному. Далѣе: намъ извѣстно одно только бытіе, какъ таковое, именно то бытіе, которое разстилается передъ субъектомъ и является въ столь многосторонней и интенсивной логической окраскѣ, что во многихъ случаяхъ трудно бываетъ рѣшить, нами-ли самими свободно измышлены тѣ формы и методы, которые мы прилагаемъ къ дѣйствительности и такимъ образомъ интеллектуализируемъ это бытіе, или же дѣйствительность сама доставляетъ намъ ихъ непосредственно и мы только отвлекаемъ ихъ отъ нея. Во всякомъ случаѣ, эти формы и методы развиваются въ непрестанномъ обмѣнѣ съ дѣйствительностью. Такимъ образомъ, идея возможности бытія, обрѣтающаяся внѣ предѣловъ бытія эмпирическаго, должна быть, во всякомъ случаѣ, разсматриваема какъ идея позднѣйшая, и ей можетъ быть предоставлено мѣсто лишь постольку, поскольку то требуется мышленіемъ о дѣйствительности и поскольку къ ней приложимъ принципъ тождества и другіе принципы, необходимые для нашей мысли и неустранимые изъ нея. И если мышленіе, сперва заинтересованное даннымъ бытіемъ, можетъ при дальнѣйшемъ ходѣ своемъ замѣтить, что попытки его для объясненія дѣйствительнаго бытія ведутъ къ такому мышленію, въ которомъ принципъ тождества не находитъ себѣ приложенія, въ которомъ дважды-два не составляютъ четырехъ и т. п., то оно или будетъ считать себя заблуждающимся, или безсильнымъ къ возстановленію мысли-

мости. Во всякомъ же случаѣ, прилагать къ области реальнаго абсолютное противорѣчіе и безсмысліе было бы не такъ легко, какъ созидать математику на положеніяхъ въ родѣ того, что сумма угловъ прямолинейнаго треугольника менѣе двухъ прямыхъ и т. д.».

Для внимательнаго читателя разумѣется уже само собою, что если Лаасъ такимъ образомъ обосновываетъ свое отрицаніе метафизическихъ фантасмагорій, то онъ неизбѣжно утверждаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что всѣ наши представленія, какъ бы они тонки и возвышенны ни были, могутъ существовать только какъ первоначальныя или закономѣрно выработанныя и преобразованныя воспріятія. Вопреки мнѣнію философовъ, воображающихъ, что всякое отвлеченное понятіе должно быть непремѣнно апріорное и мѣтить на объектъ трансцендентный, Лаасъ ищетъ реальные корни каждой изъ абстракцій высшаго порядка и всѣ ихъ низводитъ на одну общую почву.

Отстаивая свою позицію противъ напора идеалистовъ, желающихъ непремѣнно видѣть въ «объективности» и «дѣйствительности» сенсуализма лишь нѣчто подпадающее внѣшнимъ чувствамъ, Лаасъ озабочивается защитой этой позиціи и съ другой стороны, — со стороны того скептицизма, который ищетъ опору въ сенсуализмѣ же, но, сбиваясь съ пути, впадаетъ въ цѣлый рядъ внутреннихъ противорѣчій и ошибокъ *).

*) Скептицизмъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, и есть именно тотъ, который у насъ недавно еще хотѣли выдать за характеристическій признакъ нашего національнаго ума. Скептицизмъ этотъ, увѣряли насъ, мало похожъ на здоровое сомнѣніе Декарта или Канта; нашъ скептицизмъ стремится будто бы поразить «самую идею достовѣрности истины», стремится «подорвать самый интересъ къ познанію» и имѣетъ своею формулой: «все одинаково возможно и все одинаково сомнительно». Странное дѣло, однако же: нѣтъ никакой возможности указать хоть на одно лицо, въ которомъ такого рода скептицизмъ нашелъ бы у насъ свое воплощеніе, а между тѣмъ на Западѣ онъ проводился не разъ систематически въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ и находилъ одобреніе въ журналахъ. Лаасъ борется съ нѣсколькими изъ представителей этого скептицизма, а у насъ они неизвѣстны даже и по имени. Что же это за удивительный русскій скептицизмъ! (Кромѣ Idealismus und Posi-

*

Итакъ, философіи, чтобы стать научной, должно умѣть избѣжать двухъ крайностей: безплодныхъ мечтаній и столь же безплодныхъ сомнѣній, и твердо держаться на той почвѣ, которая можетъ дать ей и устойчивость, и всѣ условія, необходимыя для успѣшнаго ея развитія.

Первое зерно той теоріи познанія, которое создало ей эту почву, Лаасъ усматриваетъ въ извѣстномъ тезисѣ Протагора о неразрывной связи субъекта и объекта. Этотъ тезисъ имѣетъ, по мнѣнію Лааса, громадное значеніе для установленія позитивной точки зрѣнія. И если Протагоръ—чему бы онъ тамъ помимо этого положенія ни училъ—остается въ нашихъ глазахъ первымъ провозвѣстникомъ научнаго типа въ философіи, то нельзя отвергать, что его имя должно произноситься нами съ бо́льшею почтительностью, чѣмъ это было до сихъ поръ принято. Вслѣдъ за Протагоромъ выдвигаетъ Лаасъ значеніе коррелативизма или соотносительности субъекта и объекта на первый планъ. Субъектъ и объектъ,—говоритъ онъ,—суть нераздѣлимые близнецы; каждый изъ нихъ удерживается или падаетъ, смотря по тому, устойчивымъ или шаткимъ оказывается соотносительный элементъ. Мы не можемъ мыслить воспринимающаго субъекта остающимся безъ воспріятій; мы утверждаемъ, что «сознаніе», «я» и другія названія, подъ которыми является передъ нами субъектъ, могутъ имѣть только указанный выше соотносительный смыслъ и за предѣлами чувственнаго воспріятія не значатъ ровно ничего.

Коррелативизмъ, по мнѣнію Лааса, нисколько не нуждается для своего фактическаго узаконенія (sachliche Legitimation) въ метафизической подпочвѣ. Можно указать только на доступный для всякаго и подлежащій всеобщей провѣркѣ фактъ, что объекты извѣстны намъ непосредственно, какъ содержаніе сознанія, cui objecta sunt, а субъекты—только какъ центры отношеній, какъ сборные пункты или какъ оборотная сторона воспринятаго содержанія, quibus subjecta sunt; и далѣе, что не-

---

tivismus. III, S. 506 und 671, см. статью Лааса въ Vierteljahrsschrift für Wiss. Ph. VI Jahrgang. Zweites Heft, S. 231—247).

посредственно извѣстные намъ объекты и субъекты не могутъ быть принимаемы какъ существующіе «an sich», что они признаются существующими только при условіи взаимной связи, что они совмѣстно возникаютъ, совмѣстно пребываютъ и всегда остаются нераздѣлимыми.

Обосновываемая Лаасомъ на тезисѣ коррелативизма теорія познанія хотя и повторяетъ старое положеніе, что природа есть «явленіе», но повтореніе это, какъ поясняетъ Лаасъ, не сопровождается заботою о раскрытіи «сущности» или «принципа», скрывающихся за явленіемъ и обнаруживающихся при его посредствѣ. Нѣтъ, «явленіе» принимается не въ этомъ смыслѣ. Выраженіе «природа есть явленіе» означаетъ только относительность понятія природы, т.-е. выражаетъ лишь то, что природа мыслится какъ объектъ по отношенію къ воспринимающему субъекту, тогда какъ существованіе этого самаго субъекта, этого «я», въ свою очередь не допускается безъ соотносительнаго «не я», безъ содержанія, доставляемаго воспріятіями. Дѣйствительность мыслящаго ставится, такимъ образомъ, не выше дѣйствительности мыслимаго; объекты не считаются пребывающими внѣ сознанія, но и не предполагаются существующими «въ насъ»; утверждается только, что они существуютъ по отношенію къ намъ, какъ мы существуемъ по отношенію къ нимъ. «Не я» представляется при этомъ относительно «я» какъ совокупность возможныхъ ощущеній, хотя и различныхъ для каждой отдѣльной личности, но могущихъ мыслиться какъ закономѣрное сліяніе въ одно общее цѣлое. Это общее цѣлое представляетъ собою идеальную картину, которая должна быть поставлена выше всѣхъ случайныхъ отношеній и представляться объектомъ не единоличнаго сознанія, а сознанія вообще. Пользуясь этимъ Кантовскимъ терминомъ и разъясняя его значеніе для позитивной философіи, Лаасъ говоритъ, что соотвѣтствующій «сознанію вообще» объективный міръ есть всеобщій объектъ представленія всѣхъ ощущающихъ существъ, какъ бы иногда ни являлся онъ неопредѣленнымъ, тусклымъ и измѣненнымъ въ воспріятіи отдѣльной индивидуальности.

Теперь, когда мы хоть въ общихъ чертахъ познакомили читателя съ идеей коррелативизма, какъ ее выработалъ Лаасъ, и дополняющихъ ее понятіи «сознанія вообще» и «объективнаго міра», мы можемъ перейти къ изложенію соображеній, которыя выставлены Лаасомъ по вопросу о переработкѣ того принципа, критику котораго мы представили ранѣе, именно: принципъ «объясненія» или соотносительно «пониманія».

По мнѣнію Лааса, позитивистъ долженъ изучать разнообразные пріемы «объясненія», представляемые исторіей человѣческой мысли, и стараться вскрыть руководящія всѣми ими потребности, какъ элементъ, присущій всѣмъ имъ. Онъ долженъ наблюдать смѣну однѣхъ потребностей другими и справедливо оцѣнивать тѣ объясненія, которыя при сравненіи съ предшествовавшими представляются болѣе цѣлесообразными и сравнительно въ высшей мѣрѣ служащими установленію простоты, послѣдовательности и систематичности въ области мысли, идущихъ рука объ руку съ устраненіемъ объясненій болѣе слабыхъ или же совсѣмъ вредныхъ. Во всякомъ случаѣ, на всѣ эти объясненія онъ смотритъ какъ на отвлеченныя понятія, вспомогательныя представленія, фикціи архитектонической фантазіи, субъективныя вѣрованія; всѣ они обладаютъ для него цѣнностью въ той именно мѣрѣ, которая является соотносительно съ вызвавшею ихъ потребностью, — потребностью «объяснить» все непосредственно-данное какими-либо причинами, всегда принимающими въ метафизической онтологіи трансцендентный характеръ. Позитивистъ долженъ знать, какъ и почему всѣ эти трансцендентныя фикціи, какими бы смѣлыми мотивами онѣ ни были вызваны, имѣютъ безусловную цѣнность для тѣхъ, которые приписываютъ имъ какое-то абсолютное значеніе.

Онтологическія построенія, поясняетъ далѣе Лаасъ, начинаются иногда, какъ, напримѣръ, у Декарта и Гербарта, съ предположенія, что мышленіе, переживъ длинный рядъ иллюзій, предразсудковъ и противорѣчій, можетъ подъ вліяніемъ коренного сомнѣнія придти къ убѣжденію о необходимости избрать для себя чистый разумъ новою точкой отправленія. При ближайшемъ же разсмотрѣніи, однако, эта новая точка отправленія ока-

зывается не болѣе, какъ стародавнимъ пошибомъ мышленія, попрежнему питающимся хотѣніями и потребностями. Такъ, у Декарта, наприм., вслѣдъ за его принципіальнымъ сомнѣніемъ, тотчасъ же вмѣстѣ съ «cogito, ergo sum» прорывается наружу всѣмъ индо-европейскимъ народамъ внѣдренная многовѣковымъ вліяніемъ языка схема субстанціи и акциденцій,—схема, которая немедленно же приводитъ къ смѣшенію понятій эмпирическаго и трансцендентнаго «я» и является источникомъ большой неурядицы. Каково бы ни было происхожденіе потребности, которой отвѣчала эта схема, все же она въ значительной степени владѣетъ умомъ Декарта и оказываетъ значительное вліяніе на все послѣдующее метафизическое мышленіе.

Вліяніе этой же схемы Лаасъ усматриваетъ и въ атомистическомъ пріемѣ «объясненія». Объясненіе это, — говоритъ Лаасъ, — первоначально имѣло значеніе метафизической, «отъ разума» исходящей гипотезы (или теоріи); теперь же проницательные современные физики вводятъ ее въ достодолжныя границы. Мы въ атомахъ признаемъ реальнымъ только то, что могло бы представиться намъ, если бы мы вывели наши чувства изъ ихъ зависимости отъ естественныхъ условій и въ неопредѣленной степени усилили способность микроскопическаго увеличенія, свойственнаго нашему зрѣнію. Но мы далеки отъ мысли видѣть въ атомахъ абсолютныя реальности, «вещи въ себѣ», обладающія какою-то специфическою невоспринимаемостью. Для насъ они только въ силу гипотезы представляютъ составную часть воспринимаемаго міра и, какъ «вещи въ себѣ», считаются нами не болѣе, какъ фикціи.

Атомистико-механическая гипотеза (или фикція), — разсуждаетъ далѣе Лаасъ,—оказалась въ высшей степени состоятельною и полезною. Позитивистъ можетъ только желать, чтобъ она развилась сколько возможно полнѣе и была проведена настолько послѣдовательно, насколько то окажется исполнимымъ. Онъ самъ изъявляетъ готовность заняться изслѣдованіемъ функціональной зависимости духовныхъ явленій и процессовъ отъ механическихъ, физическихъ, химическихъ, физіологическихъ условій. Въ такой же мѣрѣ можетъ онъ считать себя заинтересованнымъ и

вопросомъ о сведеніи къ этой «фикціи» всего происходящаго согласно закону сохраненія силъ и ихъ эквивалентнаго соотношенія.

Желая открыть широкія перспективы для развитія механической теоріи, позитивистъ, по мнѣнію Лааса, долженъ, однако же, имѣть въ виду, чтобы развитіе это совершалось въ предѣлахъ возможнаго и допустимаго, чтобы оно не переходило извѣстныхъ границъ. Механическая теорія, какъ думаетъ Лаасъ, не должна бы, напримѣръ, стараться низвести наше сознаніе къ простому результату механическихъ процессовъ, а также не должна бы причинить ущербъ чувству нашей отвѣтственности и вмѣняемости. Если, принявъ все это во вниманіе,—говоритъ онъ далѣе,—мы поставимъ вопросъ о томъ, какое значеніе должны мы приписать гипотезѣ, которую мы желали бы видѣть распространенною до предѣловъ возможнаго и которой мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, ставимъ указанныя выше границы, то мы можемъ сказать, что считаемъ ее, употребляя Кантовскій терминъ, руководительнымъ принципомъ, и именно руководительнымъ принципомъ для объяснительнаго изложенія всѣхъ явленій объективнаго характера.

И современная эволюціонная теорія точно также не можетъ, по мысли Лааса, разсчитывать на иное значеніе, какъ только на значеніе руководительнаго принципа. И какъ далеко ни шли бы «объясненія», даваемыя этою теоріей, все же таки должно остаться мѣсто для сознательной, свободной, обдуманной нравственной дѣятельности, справедливости и т. д.

Изъ этого не слѣдуетъ выводить, однакожъ, — прибавляетъ Лаасъ,—что мы разсчитываемъ на отклоненіе надежды на сведеніе всѣхъ человѣческихъ дѣйствій къ строго-послѣдовательной механической теоріи, долженствующей «объяснить» ихъ. Мы не только не заботимся объ отклоненіи такой надежды, — говоритъ Лаасъ,—но еще и стремимся уяснить, въ какой степени дѣйствія наши могутъ быть понимаемы именно такимъ образомъ. Но пока мы, все же таки, не можемъ не признать, что въ виду коренного различія между психическимъ и физическимъ, внутреннимъ и внѣшнимъ, субъективнымъ и объек-

тивнымъ, наши намѣренія и наша совѣсть остаются внѣ опасности потерпѣть какой бы то ни было ущербъ.

Если мы примемъ во вниманіе, что механическая гипотеза получила начало изъ отрозненнаго анализа объективной стороны сознанія (внѣшнихъ воспріятій), сопоставляемой и противопоставляемой явленіямъ стороны субъективной (чувствамъ, нашему «я», производнымъ представленіямъ и сознаннымъ хотѣніямъ), то мы, прежде всего, начинаемъ заботиться о томъ, чтобы никогда не явилась возможность выхода изъ этого противопоставленія и въ особенности же, чтобы этотъ выходъ не совершался въ силу исключительнаго предпочтенія одной стороны и стушевыванія другой.

Лассъ утверждаетъ въ виду вышесказаннаго, что выше всѣхъ фикцій, гипотезъ и руководительныхъ принциповъ, какъ бы цѣнны и плодотворны они ни были, должно для насъ быть все пережитое и переживаемое. Сколько бы ни скрывалось за нимъ результатовъ человѣческой вдумчивости, все же, какъ таковое, оно должно остаться основнымъ фактомъ для всѣхъ грядущихъ размышленій; а—надо помнить—всякій сложный образъ неизбѣжно заключаетъ въ себѣ элементы абсолютно-первоначальные: частью объективные, внѣшніе, чуждые, частью же субъективнаго и индивидуальнаго характера.

Всереальнѣйшимъ, — разсуждаетъ далѣе Лассъ, — остается для всякой отдѣльной личности, все же таки, твердо установленная, сама по себѣ очевидная фактичность; въ зрѣломъ возрастѣ она, конечно, дается въ едва разложимомъ сплетеніи частныхъ фактовъ и ассоціированныхъ, а также и аперципированныхъ (дополнительныхъ и объяснительныхъ) воспоминаній, фантазій и категорій,—все это является внѣдреннымъ частью въ данную, частью мыслимую противоположность субъективныхъ и объективныхъ элементовъ—«я» и «не я».

Это понятіе реальности пытаются «объяснить» какъ метафизики, такъ и позитивисты. «Объясненіе» позитивистовъ всегда остается, однако же, имманентнымъ, а «объясненіе» метафизиковъ—трансцендентнымъ *). Объясненіе позитивистовъ все-

*) Читателю, интересующемуся разсматриваемымъ здѣсь вопросомъ,

гда оперируетъ съ представленіями, коренящимися въ опытѣ; оно является не столько генеалогіей, сколько анализомъ и систематикой или іерархіей фактическаго матеріала. Позитивистъ изслѣдуетъ, прежде всего, закономѣрную зависимость фактовъ въ ихъ сосуществованіи и послѣдовательности и затѣмъ подчиняетъ ей каждое отдѣльное единичное и конкретное данное. Онъ «объясняетъ» каждое данное положеніе, выводя его изъ положеній предшествовавшихъ согласно ранѣе установленнымъ законамъ. Онъ подводитъ спеціальные законы подъ общіе и разлагаетъ сложныя совокупности на ихъ составные элементы и т. п. Вездѣ старается онъ установить связь, никогда не стремясь перейти границы того, что̀ явно или скрыто содержится въ данныхъ воспріятія. И онъ пользуется разсмотрѣнною выше схемой субстанціи; онъ счелъ бы даже потребность объясненія наиболѣе удовлетворенною, если бы ему удалось свести всѣ физическіе и психическіе факты къ простому и гармоничному ряду классифицированныхъ субстанцій, согласующихся съ установленными въ наукѣ законами и подчиняющихся математической обработкѣ. Но субстанціи позитивиста не трансцендентны, и посредствомъ своего способа объясненія, своихъ анализовъ и дедукцій онъ не помышляетъ о претвореніи изучаемыхъ имъ фактовъ въ абсолютно-раціональные или о преодолѣніи фактическаго дуализма посредствомъ монизма. Онъ можетъ и долженъ привлекать помощь «вспомогательныхъ» представленій, но ни въ какомъ случаѣ не долженъ ставить своею задачей стремленіе добраться до «бытія въ себѣ», до бытія, отвлеченнаго отъ сознанія, — чистой фикціи, какъ то и было уже объяснено выше.

Признавая, что «знать» значитъ не болѣе, какъ воспринимать, памятовать, сравнивать, измѣрять, анализировать, суммировать, заключать отъ подобнаго къ подобному, различать важное отъ неважнаго и т. п., Лаасъ предостерегаетъ отъ увлеченія тѣмъ предполагаемымъ высшимъ «познаніемъ», кото-

---

слѣдуетъ обратить вниманіе на соч. ученика Лааса Кейбеля (M. K e i b e l) Werth und Ursprung der philosophischen Transcendenz. Berlin, 1886.

рое стремится постигнуть абсолютное бытіе, разыскиваетъ основу, принципъ, сущность лежащихъ въ области опыта вещей и ихъ законовъ. И если метафизики станутъ восклицать по поводу узкихъ рамокъ такой философіи, то онъ напомнитъ имъ, что такая резигнація, какъ бы она ни была тягостна для романтически настроеннаго стремленія къ постиженію сущности вещей, входила уже въ ученіе Канта и не считалась имъ пагубною даже для его идеализма. Noumenorum non datur scientia.

Прослѣдивъ вмѣстѣ съ Лаасомъ за изложенными здѣсь различеніями, сопоставленіями и противопоставленіями и стараясь, такимъ образомъ, найти границу между научною и ненаучною философіей или, по терминологіи Лааса, между позитивизмомъ и идеализмомъ, мы, само собою разумѣется, постоянно вращались въ области теоріи познанія, которая одна только и можетъ вѣдать этотъ вопросъ. Достодолжное его выясненіе показало, что перехода отъ науки, изучающей факты познанія, къ мнимой наукѣ, притязающей изучать «бытіе въ себѣ»,—бытіе, отторгнутое отъ сознанія,—нѣтъ и быть не можетъ. Итакъ, изъ излюбленной философами-мечтателями тріады: теоріи познанія, метафизики и этики—остается неразсмотрѣнною только этика, которую, какъ мы знаемъ уже, даже Риль выдѣляетъ въ особую область, только примыкающую къ наукѣ, но не сливающуюся съ нею. Лаасъ, на основаніи тѣхъ положеній, которыя онъ развилъ въ своей теоріи познанія, не находитъ никакого основанія для выдѣленія этики изъ области положительнаго знанія и считаетъ себя совершенно въ правѣ разсматривать этику какъ науку. Онъ утверждаетъ только, что для ея установленія необходимо и ее ввести въ опредѣленныя, ясно обозначенныя границы. Этика, по мнѣнію Лааса, станетъ научною только тогда, когда она поставитъ своею задачей раскрытіе психологическаго и историческаго происхожденія и обоснованія нравственнаго закона. И такъ какъ она, подобно всѣмъ положительнымъ наукамъ, не имѣетъ возможности высказываться о томъ, что̀ лежитъ за предѣлами опыта и что̀ констатируется опытомъ установленными законами, такъ какъ, притомъ же, она не можетъ претендовать

на «познаніе» того абсолютнаго пункта безразличія, который будто бы и есть первооснова всякаго коррелативнаго существованія, то она и должна признать, что тѣ же психологическіе мотивы, которые обыкновенно порождаютъ народныя вѣрованія съ ихъ легендами и догматами, играютъ значительную роль и при установленіи вульгарной морали. Она и должна изыскивать средства къ устраненію этихъ мотивовъ для личностей въ научномъ смыслѣ зрѣлыхъ. Въ этомъ направленіи она идетъ рука объ руку съ Платономъ, но она не станетъ подобно ему утверждать, что этика нуждается въ метафизическомъ обоснованіи.

6. Гансъ Фольцъ.

Главное сочиненіе Лааса Идеализмъ и позитивизмъ, общій очеркъ содержанія котораго данъ былъ нами въ предшествовавшихъ главахъ, нашелъ въ лицѣ одного изъ учениковъ Лааса, Ганса Фольца—критика, стоящаго на почвѣ Лаасовскаго же позитивизма и стремящагося не къ повороту назадъ, а къ движенію еще далѣе впередъ, къ проведенію «новаго позитивизма» съ тою строгою и зоркою послѣдовательностью, противъ которой, по мнѣнію Фольца, въ нѣкоторой мѣрѣ прегрѣшилъ его уважаемый учитель *).

Чтобы имѣть возможность въ полной мѣрѣ понять и достаточно оцѣнить критическія замѣчанія Фольца, необходимо не упускать изъ вида тотъ смыслъ и значеніе, которые были соединяемы Лаасомъ съ терминомъ «erkennen». Указывая на противниковъ позитивизма, Лаасъ говоритъ, что они, навѣрное, возопіютъ противъ отстаиваемой имъ резигнаціи въ области знанія и усмотрятъ въ его позитивизмѣ издѣвательство надъ благороднѣйшими чувствованіями и стремленіями человѣка. Имъ непремѣнно нужно «erkennen», а это значитъ болѣе, чѣмъ переживать, воспринимать, припоминать, сравнивать, измѣрять, анализировать, суммировать, заключать отъ подобнаго къ подобному, отдѣлять существенное отъ несущественнаго и т. п., это значитъ—разыскивать абсолютъ, основу, принципъ, сущность даваемыхъ опытомъ фактовъ и ихъ законовъ». Терминъ «erkennen», какъ можно видѣть изъ такого его истолкованія, означаетъ вовсе не то, что̀ мы разумѣемъ подъ терминомъ «познавать», а является разнозначащимъ термину «понимать», или, пожалуй, любимому термину нѣкоторыхъ нашихъ метафизиковъ—«постигать». И въ самомъ

*) «Die Ethik als Wissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der neuern englischen Ethik». Eine philosophische Abhandlung von Dr. Hans Voltz. Strassburg, 1886.

дѣлѣ, самъ Лаасъ даетъ намъ подтвержденіе такой передачи его «erkennen», прямо отождествляя его съ «erklären» *), такъ что мы при изложеніи критическихъ замѣчаній Фольца постоянно будемъ различать «erkennen—erklären» (постигать, соотносительно: объяснять) отъ «wissen» (знать, познавать), надѣясь избѣжать такимъ образомъ и напрасныхъ недоразумѣній, и излишнихъ придирокъ.

Отдавая полную справедливость Лаасу въ ясной и твердой установкѣ его основной точки зрѣнія, Фольцъ находитъ, что сдѣлавшій такъ много для позитивизма Лаасъ остановился, однако же, передъ главнымъ слѣдствіемъ своего же собственнаго штандпункта, такъ какъ для удерживающаго этотъ штандпунктъ ни о какомъ «объясненіи» или «постиженіи» не можетъ быть и рѣчи. «И если я и утверждаю,—говоритъ Фольцъ,—что Лаасъ не высказалъ этого вывода, то имѣю при этомъ въ виду только объективную правильность моего замѣчанія, такъ какъ хотя и нетрудно указать цѣлый рядъ такихъ мѣстъ въ сочиненіи Лааса, гдѣ выводъ этотъ подразумѣвается, то все же придется признать, что субъективно Лаасъ явно былъ рѣшительнымъ противникомъ этого вывода. Его позитивизмъ, «какъ отстаивающій возможность научной обработки матеріаловъ воспріятія», направленъ, прежде всего, противъ скептицизма, и именно противъ враждебнаго наукѣ скептицизма. Такой скептицизмъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ былъ оказаться завершеніемъ основаннаго Лаасомъ позитивизма».

Можно бы возразить, конечно,—разсуждаетъ далѣе Фольцъ,—что Лаасъ возстаетъ только противъ крайняго скептическаго направленія, тогда какъ здоровый скептицизмъ, мѣтящій исключительно только на «трансцендентную» жажду познанія, не только не отвергается, но поддерживается имъ, такъ что ограничивающаяся однимъ лишь «имманентнымъ объясненіемъ и постиженіемъ» наука остается вполнѣ внѣ его воздѣйствія, такъ же какъ и обосновывающійся на ней позитивизмъ. Слѣдовало бы думать, что такъ именно и есть, но на самомъ дѣлѣ этого-

*) «Id. und Posit.», III, S. 260.

то и нѣтъ. Лаасъ, по мнѣнію Фольца, никогда не имѣлъ духа прямо заявить, что для него не существуетъ уже никакого «постиженія», что наука для него заключается только въ систематизированіи фактическаго матеріала, а подъ «объясненіемъ» можетъ онъ разумѣть только сведеніе къ факту познанному такого факта, который до того оставался еще непознаннымъ. Поэтому-то Лаасъ мѣстами и допускаетъ «объясненіе» при посредствѣ признанныхъ «законовъ», или возводитъ нѣкоторыя положенія на степень «общесвязующихъ» и «руководительныхъ для опыта», или пользуется такими терминами, какъ «нормы, идеалы (теоретическіе), указатели направленія». Мало того: упрекъ идеалистовъ, что «позитивизмъ», собственно говоря, ничего «не постигаетъ», а только «познаетъ, анализируетъ и связываетъ», обезпокоиваетъ Лааса; онъ отвергаетъ правильность такого упрека. Мысль, что «позитивизмъ не можетъ найти объективно-устойчивую, необходимую, всесвязующую, абсолютно-объективную истину», представляется чрезмѣрностью для человѣка, всю свою жизнь посвятившаго культу истины.

Вообще говоря, Фольцъ полагаетъ, что по своей исходной точкѣ и по своему методу столь энергичный и неуклонный позитивистъ, какъ Лаасъ, перестаетъ быть такимъ при гносеологической оцѣнкѣ результатовъ своей работы. Онъ,—говоритъ Фольцъ,—никогда не могъ отказаться отъ мысли, что знаніе и постиженіе сами себѣ должны служить цѣлью (хотя ни въ какомъ случаѣ не «абсолютною» цѣлью), если только «познающій не желаетъ лишить себя почвы».

Указанной здѣсь гносеологической оцѣнкѣ позитивистскихъ результатовъ Фольцъ противопоставляетъ свою, высказываемую имъ сперва въ самой сжатой и краткой формулѣ.

«Мы,—говоритъ Фольцъ,—цѣнимъ одни только факты, мы признаемъ одну только цѣнность,—цѣнность фактическую. Всякое объясненіе, поскольку оно позитивно, можетъ давать результаты одной только фактической цѣнности, и нѣтъ ни малѣйшаго основанія допускать, чтобы результаты эти могли когда-нибудь получить значеніе «всесвязующихъ», «абсолютныхъ», «истинныхъ» и т. д.

Словомъ сказать, Фольцъ считаетъ «научнымъ» познаніемъ то, которое только «упорядочиваетъ и систематизируетъ фактическій матеріалъ», и отвергаетъ то, которое, не довольствуясь упорядоченіемъ и систематизированіемъ, стремится къ какому-либо «объясненію этого матеріала и разыскиваетъ конечныя причины, или цѣли, или идеи, или законы, или нормы, или принципы и т. п. абсолютнаго или апріористическаго характера, на томъ или иномъ основаніи имѣющими въ виду всеобщую связь. Онъ отвергаетъ то познаніе, которое, опираясь на такого рода предположенія, отнимаетъ у фактическаго матеріала его первоначальную цѣнность «эмпирическаго», «даннаго», и старается вывести его изъ чего-либо «высшаго» или хоть поставить отъ этого «высшаго» въ такую или иную зависимость. Фольцъ находитъ, что «раціонализированіе» мышленія поведено у Лааса слишкомъ ужъ далеко, и старается найти ту границу, которую позитивисту не слѣдуетъ переступать. Онъ особенно зорко слѣдитъ за возведеніемъ результатовъ познанія на высоту источниковъ его или, по крайней мѣрѣ, въ роль руководительную, стремящуюся къ такому или иному пріему приниженія фактовъ, лишенія ихъ принадлежащаго имъ основного значенія. Въ этомъ смыслѣ, т.-е. по отношенію къ чему-то «высшему», «метэмпирическому», какъ сказалъ бы Льюисъ, употреблены имъ и такія выраженія, какъ «истина», «идея», «принципъ» и т. п. Не вникнувъ во всѣ эти особенности критическихъ замѣчаній Фольца, легко можно получить ложное представленіе о занятой имъ философской позиціи, — его «philosophical attitude», какъ выражаются англичане.

Присмотримся теперь ближе къ тѣмъ аргументамъ, которыми Фольцъ поддерживаетъ правомѣрность этого «attitude».

Фактами исчерпывается то, чему можетъ научить насъ наука. Этотъ основной «радикальный» тезисъ Фольца истолковывается всего лучше, по его мнѣнію, съ отрицательной стороны; положительная—становится яснѣе при этомъ сама собой. Наука, могущая ограничить себя одними только фактами, исключаетъ разъ навсегда всякое «постиженіе». Понятіе это, какъ показалъ уже Риль, имѣетъ смыслъ лишь при томъ предполо-

женіи, что мы признаемъ возможнымъ высказаться о томъ «нѣчто», которое находится внѣ насъ и въ несомнѣнности существованія котораго удостовѣряютъ насъ ощущенія, признаемъ возможность «постигнуть» это нѣчто, придавая нашему «постиженію» объективное значеніе вопреки очевидной субъективности всякаго постиженія. Для позитивиста, принципіально отрицающаго возможность высказать о внѣшнемъ мірѣ что-либо, переходящее за предѣлы простого утвержденія одного лишь факта существованія, и при этомъ признающаго единственною своею задачей систематизацію колоссальнаго матеріала, доставляемаго нашими ощущеніями, при помощи «схемъ», «фикцій», «вспомогательныхъ представленій», прилагаемыхъ къ реальному, изъ субстанцій состоящему и законами управляемому міру, съ одной стороны, и «сознанія вообще»—съ другой,—для такого позитивиста «постиженія» не существуетъ. Такой позитивистъ можетъ только знать. Упрекъ, обращаемый къ нему, что позитивистъ-де не можетъ «постигать», а только объясняетъ, познаетъ, анализируетъ и связываетъ, совершенно вѣренъ, но для позитивиста не имѣетъ значенія упрека. Онъ только предоставляетъ ему кое-что излишнее, такъ какъ допускаетъ возможность такого «объясненія», которое заключается болѣе, чѣмъ въ сведеніи однихъ фактовъ на другіе.

Разсужденіе это Фольцъ иллюстрируетъ слѣдующимъ конкретнымъ примѣромъ: положимъ, что будетъ сожженъ нѣкоторый объемъ угля; анализъ продуктовъ горѣнія покажетъ, что все вещество угля сохранилось и ни малѣйшая его доля не была, какъ полагали когда-то, истреблена огнемъ. Какъ выскажутся объ этомъ фактѣ: 1) сторонникъ апріористической теоріи познанія, 2) такой позитивистъ, какъ Лаасъ, и 3) чистый позитивистъ? Всѣ трое, конечно, сошлются на «законъ сохраненія вещества», на постоянство матеріи или такъ или иначе выраженную эту мысль. Но какъ различно будетъ значеніе этого «объясненія» для каждаго изъ названныхъ троихъ! Для апріориста «законъ сохраненія вещества» будетъ имѣть значеніе самою сущностью процесса познаванія объективно-даннаго закона, который находится въ извѣстной связи съ тѣмъ или инымъ

свойствомъ или качествомъ предметовъ «внѣшняго міра» и долженъ быть въ томъ или иномъ смыслѣ признанъ принадлежащимъ этому «внѣшнему міру» закономъ; для Лааса онъ будетъ имѣть значеніе «всесвязующаго» «руководительнаго начала опыта», едва-едва отличимаго отъ объяснительнаго «закона» апріористовъ; для послѣдовательнаго же позитивиста, напротивъ того, это—только простой «фактъ», но, если можно такъ выразиться, «сборный фактъ» (eine cumulirte Thatsache), который на основаніи теоріи вѣроятностей можетъ еще повториться, который повторялся уже билліонъ разъ и въ билліонъ первый разъ опять повторится, и который, все же таки, остается только «фактомъ», тогда какъ наше «объясненіе» этого единичнаго факта является лишь сведеніемъ его къ извѣстному намъ ранѣе «сборному факту», новымъ подкрѣпленіемъ значенія послѣдняго.

Лаасъ, по мнѣнію Фольца, счелъ бы изложенный тутъ взглядъ «ребячествомъ, хитроумничаньемъ, чудачествомъ», не имѣющими ни малѣйшаго практическаго значенія. Но, замѣчаетъ Фольцъ, поскольку идетъ дѣло о практическомъ значеніи науки, о власти при ея посредствѣ надъ природою, постольку, разумѣется, незачѣмъ отстаивать этихъ «хитроумничаній и чудачествъ» и можно даже совсѣмъ отказаться отъ просвѣтительнаго вліянія скептическихъ соображеній. Къ сожалѣнію, тутъ передъ нами не практическій, а чисто-теоретическій вопросъ, и именно вопросъ «гносеологическій», а потому о вредѣ или пользѣ нѣтъ у насъ и рѣчи. Мы утверждаемъ столь же просто, какъ и рѣшительно, что если ты позитивистъ, то довольствуйся однимъ лишь систематизированіемъ и знаніемъ фактовъ, или если ты хочешь во что бы то ни стало «постигать» и «объяснять», то позитивистомъ ты уже быть не можешь. Hic Rhodus, hic salta.

По поводу извѣстнаго уже намъ отношенія Лааса къ враждебному наукѣ скептицизму, Фольцъ замѣчаетъ, что подъ этимъ отношеніемъ скрывается совершенно ложная оцѣнка значенія скептицизма: Лаасъ упустилъ изъ вида, что для чистой послѣдовательной позитивной точки зрѣнія «скепсисъ» является лишеннымъ смысла, перестаетъ существовать. Можетъ-ли, въ са-

момъ дѣлѣ, разсудительный человѣкъ сомнѣваться въ томъ, что мы имѣемъ возможность «научно» обрабатывать и примѣнять къ жизни нашъ фактическій матеріалъ, постоянно совершенствуя его систематизацію по отношенію къ удовлетворенію нашихъ потребностей и усиленію нашего господства надъ природою? Затѣмъ, позитивистъ не станетъ, конечно, ставить препятствій къ распространенію скептицизма въ какую бы то ни было другую сторону.

Но если скепсисъ потерялъ всякій смыслъ (кромѣ ребяческаго, пожалуй), то потеряло его и пресловутое «постиженіе». По этой причинѣ Фольцъ считаетъ нужнымъ настаивать, чтобы теорія познанія непремѣнно носила на нѣмецкомъ языкѣ названіе, не дающее мѣста недоразумѣніямъ, и именно: называлось бы «Wissenstheorie», а не «Erkenntnisstheorie». При удержаніи же термина «Erkenntniss» слѣдовало бы говорить: «Erkenntnisskritik» (критика постиженія) или «Erkenntnisswiderlegung» (опроверженіе постиженія). Эта часть теоріи познанія, какъ бы тамъ она ни называлась, останется, впрочемъ, важною задачей для позитивиста вплоть до тѣхъ поръ, пока постиженіе сохранитъ свое обаяніе на умы, т.-е., можно полагать, не потеряетъ своего значенія никогда.

Общій результатъ всего этого разсужденія Фольцъ резюмируетъ слѣдующимъ образомъ: наука можетъ разрабатывать истины только фактическаго характера, фактической цѣнности; разрабатывать же какую-либо область въ научномъ смыслѣ значитъ точно изучать и согласно извѣстнымъ методологическимъ правиламъ систематизировать соотвѣтственный фактическій (соотносительно: воспринятый) матеріалъ. Такъ какъ положительная наука имѣетъ цѣлью господство надъ «природой», то и считаетъ цѣль свою достигнутою, когда ей удается систематизировать свой матеріалъ въ смыслѣ, наиболѣе споспѣшествующемъ знанію природы и господству надъ нею. Достигая такой цѣли, наука не лишаетъ накопленныхъ ею фактовъ ихъ первоначальной эмпирической цѣнности, не ставитъ ихъ въ зависимость отъ какого-либо высшаго принципа, закона или начала, не пытается вывести изъ какихъ-либо апріорныхъ положеній. Разрабатывая

*

своій матеріалъ, наука смотритъ на него съ точки зрѣнія, которую можно назвать «экономическою», и, такимъ образомъ, сохраняетъ за собою характеръ неизмѣнно-эмпирическій.

Намъ остается прибавить ко всему сказанному, что по отношенію къ вопросамъ этическимъ Фольцъ высказывается о работѣ Лааса въ томъ же смыслѣ, что и о его теоріи познанія. Въ дѣлѣ метода, во всѣхъ психологическихъ вопросахъ, въ полемикѣ, даже во всѣхъ соотносящихся къ его работѣ мелочахъ, Лаасъ, по мнѣнію Фольца, постоянно держится истинно-позитивистской точки зрѣніи, но, приступая къ гносеологической оцѣнкѣ своихъ результатовъ, въ постановкѣ задачи этики онъ впадаетъ, какъ и прежде, въ непослѣдовательность и уклоняется отъ позитивной доктрины. Можно сказать даже, прибавляетъ Фольцъ, что въ этикѣ двойственная натура Лааса выступаетъ еще ярче, чѣмъ въ теоріи познанія. Самъ Фольцъ, стараясь свести этику на чисто-научную почву, хлопочетъ объ освобожденіи ея отъ тѣхъ послѣднихъ штриховъ абсолютности, которые еще сохраняются у Лааса ради его мнительности по отношенію къ скептицизму. Фольцъ стоитъ за этику какъ науку, но «науку», разумѣемую въ томъ смыслѣ, который онъ придаетъ этому термину съ своей строго-позитивной точки зрѣнія, какъ то и было съ достаточною подробностью пояснено выше.

7. Эрнстъ Махъ.

Представитель «экономической» точки зрѣнія, Фольцъ не стоитъ одиноко въ философской нѣмецкой литературѣ; онъ примыкаетъ къ небольшой группѣ писателей, установившихъ точку эту ранѣе его и развившихъ вытекающія изъ нея положенія и глубже, и дальше, чѣмъ онъ. Фольцемъ занялись мы ранѣе, чѣмъ другими, только потому, что онъ примѣнилъ усвоенную имъ точку зрѣнія къ критикѣ философскихъ воззрѣній Лааса, и, такимъ образомъ, самъ собою является связующимъ звеномъ между «новымъ нѣмецкимъ позитивизмомъ» и «научною философіей» той группы, къ которой онъ примыкаетъ и съ которою намъ предстоитъ еще познакомиться. Сверхъ того, сопоставленіе Фольца и Лааса и скоро, и наглядно представляло намъ тѣ черты сходства и различія, которыя можно констатировать при сравненіи наиболѣе для насъ интересныхъ и между собою родственныхъ направленій «антиметафизической» философіи въ Германіи.

Писатели той группы, которую мы теперь имѣемъ въ виду, подошли очень близко къ окончательному рѣшенію занимающаго насъ вопроса, а потому мы и обратимъ особенное вниманіе на уясненіе читателю всѣхъ особенностей занятой ими точки зрѣнія.

Мы начнемъ нашъ обзоръ съ работъ профес. Пражскаго университета Эрнста Маха, имѣющихъ, какъ мы думаемъ, глубокій интересъ для всякаго, неравнодушно относящагося къ философскимъ вопросамъ. Спеціальностью Маха всегда была физика и механика, но сочиненія его богаты экскурсіями и въ область философіи и содержатъ весьма много достойнаго самаго серьезнаго вниманія. Есть, впрочемъ, у Маха рефераты и рѣчи, посвященные всецѣло вопросамъ высшихъ обобщеній, каковы, напримѣръ, «Die ökonomische Natur der physikalischen Forschung», 1882, и «Ueber Umbildung und Anpassung in naturwissenschaftlichen Denken, 1884». Изъ спеціальныхъ же

его сочиненій особенно богаты экскурсіями въ область философіи: «Die Mechanik, 1883», и «Beiträge zur Analyse der Empfindungen, 1886».

Основная мысль Маха — охраненіе мышленія отъ расточительности своихъ силъ, экономизированіе ихъ, сдерживаніе ихъ отъ напрасныхъ тратъ. Онъ доказываетъ, что мышленіе, какъ располагающее силами ограниченными, только при томъ условіи можетъ отразить богатую жизнь природы, — жизнь, малѣйшую часть которой оно составляетъ, — если само оно всегда будетъ бережливо, осторожно, экономично. И въ прежнія времена, когда значеніе этого правила еще не замѣчалось, безсознательно примѣнялось оно, однако же, тѣми мыслителями, которые старались охватить основы дѣйствительности немногими органически-расчлененными мыслями. Въ настоящее же время, болѣе чѣмъ когда-либо, изслѣдованіе природы должно сознательно оградить себя отъ всякихъ самообольщеній и, такимъ образомъ, обезпечить, насколько то возможно, достиженіе намѣченной цѣли. Есть, конечно, такіе поклонники науки, которые вѣруютъ въ нее, какъ нѣкогда вѣровали въ волшебныя силы, которые поэтому ожидаютъ отъ нея раскрытія недоступныхъ нашимъ чувствамъ тайнъ природы; но сама наука, явившаяся въ міръ для того, чтобы просвѣтить его, можетъ устранить отъ себя все мистическое, какъ и все суетное: она не нуждается въ нихъ для успѣшности въ достиженіи своихъ цѣлей и ведетъ работу свою явно и открыто для всего человѣчества.

Взглянемъ теперь ближе на то, какимъ образомъ проводится начало сбереженія силъ въ дѣятельности нашей мысли.

Цвѣтъ, звукъ, теплота, давленіе, пространство, время и т. д. являются многообразно связанными между собою и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сплетенными съ настроеніями, чувствованіями и хотѣніями. Изъ этой сѣти выдѣляется относительно прочное и постоянное, запечатлѣвается въ памяти и находитъ свое выраженіе въ языкѣ. Какъ нѣчто относительно-постоянное, обозначаются, прежде всего, тѣ связные комплексы цвѣтовъ, звуковъ и т. д., которые по этой причинѣ получаютъ особыя названія и обозначаются какъ тѣла. Абсолютнымъ постоянствомъ такіе

комплексы, конечно, не обладаютъ. Сознавая или не сознавая это непостоянство, мы, однако же, въ силу экономіи, руководящей образованіемъ нашихъ представленій, отдаемъ преимущество сравнительно-постояннымъ элементамъ передъ скоропреходящими и обозначаемъ это наше предпочтеніе въ обыденномъ мышленіи и въ языкѢ: все то, что можетъ сразу быть нами представлено, получаетъ какое-нибудь названіе, какое-нибудь имя.

Какъ относительно-постоянный, обозначается затѢмъ связанный съ нашимъ организмомъ комплексъ воспоминаній, настроеній, чувствованій, — все то, что мы разумѢемъ подъ нашимъ «я». Этотъ комплексъ — если не принимать въ разсчетъ патологическихъ случаевъ — всегда содержитъ нѢчто настолько постоянное, что возможность не сомнѢваться въ тождествѢ нашего «я» никогда не исчезаетъ. И однако же, и самое это «я» обладаетъ лишь относительнымъ постоянствомъ.

Когда образованіе понятій такихъ субстанцій, какъ мое «тѢло» и мое «я», совершилось, и такимъ образомъ были осуществлены первыя условія оріентировки мысли среди окружающихъ ее явленій, тогда возникаетъ возможность для воли ближе всмотрѢться въ смѢну преходящаго, совершающуюся на почвѢ предполагаемаго постоянства. Все преходящее становится теперь рядомъ свойствъ или качествъ постояннаго. Плодъ сладокъ; но онъ можетъ быть и горькимъ; другіе плоды тоже могутъ быть сладкими и т. д. Такимъ путемъ можетъ быть отнято отъ предметовъ все видимое, слышимое, осязаемое. Видимое распадается при этомъ на цвѢтъ и форму. Въ цвѢтахъ опять выдѢляется нѢчто сравнительно-постоянное: основные цвѢта и т. д. Комплексъ распадается на элементы.

ЦѢлесообразный обычай придавать имя совокупности предполагаемыхъ элементовъ для того, чтобъ охватить мыслью эту совокупность, можетъ,—говоритъ далѢе Махъ,—стать въ весьма своеобразное противорѢчіе съ стремленіемъ разлагать данный комплексъ на элементы. При взаимномъ противопоставленіи этихъ стремленій смутный обликъ «постояннаго», замѢтно не измѢняющагося отъ исчезновенія той или другой составной его

части, можетъ показаться чѣмъ-то существующимъ «въ себѣ» (an sich). И такъ какъ оказывается возможнымъ удалить одну составную часть, не разстроивая картины общаго на столько, чтобъ это общее перестало быть узнаваемымъ, то является мысль, что возможно устранить всѣ составныя части и что затѣмъ, все же таки, останется еще нѣчто. Эта мысль и есть чудовищная мысль о «вещи въ себѣ».

Вещь, тѣло, матерія—ничто внѣ комплекса цвѣтовъ, звуковъ и т. д., внѣ такъ-называемыхъ признаковъ. Мнимая философская проблема о «вещи въ себѣ» является лишь вслѣдствіе неумѣнья оцѣнить значеніе объединенія комплекса элементовъ съ одной стороны, и расчлененія его—съ другой. Оба эти акта имѣютъ каждый свой raison d'être, поскольку оба они суть акты временные и мѣтящіе на свои особыя цѣли. Очевидно, однако же, что совмѣстное приложеніе ихъ невозможно. Всякое тѣло сохраняетъ свое единство и свою неизмѣняемость до тѣхъ поръ, пока у насъ нѣтъ потребности вникать въ подробности. Такъ, земля, напримѣръ, или билліардный шаръ считаются нами правильными геометрическими фигурами до тѣхъ поръ, пока мы не останавливаемъ вниманія на отклоненіи отъ правильности формы и не нуждаемся въ большой точности; но стоитъ намъ заняться орографіей или взять въ руки микроскопъ, какъ сейчасъ же оба тѣла перестанутъ признаваться нами шарами.

Проблема «вещи въ себѣ» не единственная въ своемъ родѣ въ философіи. Наше «я» и отношеніе тѣла къ этому «я» даютъ поводъ возникновенію другой подобной же мнимой проблемы, къ которой теперь и обращается Махъ. Въ краткихъ словахъ онъ излагаетъ проблему эту такъ: комплексъ цвѣтовъ, звуковъ и т. д., вообще все то, что мы обыкновенно называемъ тѣлами, обозначимъ для ясности чрезъ A, B, C..., комплексъ, называемый нашимъ организмомъ, составляющій одно изъ тѣлъ предыдущаго рода, пусть будетъ K, L, M..., комплексъ же хотѣній, припоминаній и т. д. обозначимъ чрезъ α, β, γ... Въ обыденной жизни принято противопоставлять комплексъ α, β, γ... K, L, M..., какъ «я» комплексу A, B, C..., какъ совокупности внѣшнихъ тѣлъ; иногда, впрочемъ, за это «я» принимается только комплексъ

α, β, γ..., тогда какъ K, L, M..., A, B, C... считается за внѣшній міръ вообще. A, B, C... признается первоначально независимымъ отъ «я» и противопоставляется ему какъ нѣчто самостоятельное. Эта независимость сохраняетъ, однако же, за собою относительное значеніе и не можетъ устоять при возрастаніи вниманія. Замѣчается далѣе, что комплексъ α, β, γ... можетъ терпѣть измѣненія, тогда какъ A, B, C... продолжаетъ сохранять свою неизмѣняемость, и обратно. Но многочисленныя измѣненія въ α, β, γ... воздѣйствуютъ на A, B, C... черезъ посредство K, L, M... и обратно. На этомъ основаніи связь между K, L, M... и α, β, γ..., съ одной стороны, и между K, L, M... и A, B, C...— съ другой, представляется болѣе тѣсною, нежели связь между α, β, γ... и A, B, C... Такой взглядъ на отношенія между этими группами можно считать общепринятымъ въ обыденномъ мышленіи и обыденной рѣчи.

При ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, однако же, что A, B, C... всегда опредѣляется посредствомъ K, L, M... Свойства одного и того же предмета всегда являются обусловленными соотношеніемъ ихъ къ нашему организму. Но гдѣ же тотъ предметъ, который представляется намъ столь многоразличнымъ: большимъ вблизи, малымъ вдали, не одинаковымъ для праваго или лѣваго глаза и т. д.? На это можно сказать только, что различные A, B, C... связаны съ различными K, L, M...

Мы видѣли какое-нибудь тѣло, заканчивающееся остріемъ. Если мы приводимъ это остріе въ соприкосновеніе съ нашимъ организмомъ, то ощущаемъ уколъ. Мы можемъ видѣть остріе, не ощущая укола; но лишь только ощутимъ мы уколъ, какъ сейчасъ же находимъ и остріе. Видимое это остріе является, такимъ образомъ, тѣмъ постояннымъ нѣчто, къ которому мы относимъ уколъ, какъ явленіе случайное. Повторяемость случаевъ, могущихъ получить въ нашихъ глазахъ значеніе подтвержденія такого взгляда, можетъ пріучить насъ смотрѣть на всѣ свойства тѣлъ, какъ на дѣйствія присущаго тѣламъ постояннаго нѣчто, воспринимаемаго нашимъ «я», чрезъ посредство нашего организма,—дѣйствія, обыкновенно называемыя ощущеніями. Благодаря такому взгляду, предполагаемое нами постоянное нѣ-

что теряетъ всякое чувственное содержаніе и становится чисто-мысленнымъ символомъ. Въ этомъ случаѣ придется признать правильнымъ утвержденіе, что міръ заключается въ однихъ истинныхъ ощущеніяхъ. Но тогда мы и можемъ знать только наши ощущенія, допущеніе же чего-то постояннаго въ тѣлахъ, также какъ и взаимодѣйствіе послѣднихъ, обусловливающее возникновеніе ощущеній, должны мы признать празднымъ и излишнимъ. Только полуреализмъ или полукритицизмъ могутъ одобрять такое воззрѣніе.

Обыкновенно,—говоритъ далѣе Махъ, развивая свой взглядъ,—комплексъ α, β, γ... K, L, M... въ качествѣ «я» противопоставляется «не я»—комплексу A, B, C... Только тѣ элементы комплекса A,B, C..., которые сильнѣе воздѣйствуютъ на α, β, γ..., выражаясь, напримѣръ, уколами, болями и т. п., принимаютъ иногда за одно цѣлое съ «я». Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ соображеній, приведенныхъ выше, оказывается, что право сводить A, B, C... къ «я» безгранично. На этомъ основаніи понятіе «я» можетъ расшириться до такой степени, что станетъ, наконецъ, охватывать весь міръ. Вообще говоря, «я» является недостаточно рѣзко очерченнымъ, границы его остаются неопредѣленными и подвижными. Пока обстоятельство это не теряется изъ вида, до тѣхъ поръ не возникаетъ по этому вопросу никакихъ метафизическихъ трудностей.

Убѣдясь, что мнимыя единицы «предметы, вещи, тѣла», съ одной стороны, и «я» — съ другой, являются только пособіями для предварительной оріентировки и опредѣленныхъ практическихъ цѣлей, приходится намъ,—говоритъ Махъ, — устранить ихъ, какъ недостаточныя и неудовлетворительныя, изъ научныхъ изслѣдованій. Противопоставленіе «міра» и «я», ощущенія и предмета при этомъ, само собою разумѣется, исчезнетъ, и останется только связь элементовъ, неудачнымъ выраженіемъ которой и служило до сихъ поръ обыденное предположительное противопоставленіе. Наукѣ предстоитъ просто-на-просто признать эту связь и пользоваться ею для оріентировки, отложивъ попеченіе касательно объясненія существованія самихъ элементовъ.

Цѣлымъ рядомъ сопоставленій и примѣровъ Махъ старается показать относительность различія физическихъ и психическихъ явленій, подвижность разграничительной черты между ними, ихъ текучесть, допускающую переходъ одного въ другое, смотря по нашей точкѣ зрѣнія на нихъ. Такъ, напримѣръ, цвѣтъ остается объектомъ физики до тѣхъ поръ, пока мы разсматриваемъ его въ зависимости отъ источника свѣта, но, переходя къ разсмотрѣнію зависимости цвѣта отъ сѣтчатки, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, переходимъ въ другую область изслѣдованія и смотримъ на цвѣтъ, какъ на объектъ психологическаго изученія, какъ на ощущеніе. Изъ этого Махъ заключаетъ, что въ каждомъ изъ приведенныхъ случаевъ различны не предметы, а направленія изслѣдованія.

Различіе этихъ направленій соотвѣтствуетъ тому различію комплексовъ, которые обозначены были выше какъ A, B, C... и α, β, γ... И, въ дѣйствительности, мы всегда умѣемъ различать случай, когда мы видимъ дерево, отъ того случая, когда мы его припоминаемъ или представляемъ. Мы знаемъ, что въ послѣднемъ случаѣ обликъ дерева является гораздо менѣе опредѣленнымъ и болѣе измѣнчивымъ, чѣмъ въ первомъ, и, сверхъ того, дерево является уже на иномъ фонѣ. Все это указываетъ на различіе только въ сочетаніи элементовъ, хотя нельзя не признать, что въ обоихъ случаяхъ самые элементы были тѣ же (цвѣта, звуки и т. д.). Итакъ, элементы или ощущенія могутъ являться то въ болѣе прочномъ, то въ болѣе текучемъ сочетаніи, и цѣль изученія ихъ должна заключаться въ распознаваніи ихъ сочетанія.

Показавъ, что отграниченіе «я» не можетъ никогда быть проведено съ научною опредѣленностью, Махъ показываетъ далѣе, что обычное отграниченіе совершается инстинктивно, подъ вліяніемъ экономическихъ требованій мысли и практическихъ цѣлей вообще, и затѣмъ укрѣпляется путемъ послѣдственности. Теперь ясно, что съ точки зрѣнія Маха первичнымъ является не «я», а элементы. Элементы образуютъ наше «я». Такъ, напримѣръ, когда я утверждаю, что ощущаю зеленый цвѣтъ, то это значитъ, что въ комплексахъ элементовъ (ощущеній,

припоминаніи) находится и элементъ зеленаго цвѣта: когда я перестаю ощущать зеленый цвѣтъ, когда я умираю,—говоритъ далѣе Махъ,—то элементы не возникаютъ болѣе въ прежнемъ сочетаніи. Этимъ все сказано. Перестала существовать не реальная, а только мысленно-экономическая единица.

Если знаніе сочетанія или связи элементовъ не удовлетворяетъ насъ и мы спрашиваемъ: «кому присуще это сочетаніе, кто ощущаетъ?»—то мы такимъ образомъ возвращаемся къ старой привычкѣ подводить всякій элементъ подъ не поддающійся анализу комплексъ и незамѣтно понижаемся до уровня прежняго ограниченнаго штандпункта. Но, помнить надо,—говоритъ Махъ въ заключеніе этой части своихъ разсужденій,—что абсолютнаго штандпункта не существуетъ, что всякая точка зрѣнія оправдывается своею цѣлью; по этой причинѣ здѣсь не имѣлось въ виду окончательно дискредитировать старую точку зрѣнія, а намѣчалось только выясненіе цѣлей каждой изъ указанныхъ точекъ зрѣнія и пересмотръ тѣхъ условій, при которыхъ практическія цѣли обыденной точки зрѣнія должны быть преодолѣны и устранены.

Въ предшествующихъ строкахъ было показано значеніе экономизаціи силъ для умственной дѣятельности, теперь же намъ предстоитъ прослѣдить за приложеніемъ этой точки зрѣнія къ области научной вообще и къ высшимъ научнымъ обобщеніямъ въ особенности.

Мы знаемъ уже, что, согласно взгляду Маха, науки могутъ различаться не только по своему содержанію, но и по способамъ обработки этого содержанія. Всякая же наука стремится къ мысленному копированію фактовъ, имѣя въ виду или практическія цѣли, или устраненіе неудобствъ умственнаго характера. Слѣдуя принятому въ предшествующемъ изложеніи обозначенію разнаго рода комплексовъ элементовъ, можно утверждать, что наука возникаетъ тогда, когда сочетаніе элементовъ A, B, C... и K, L, M... воспроизведется посредствомъ α, β, γ... Такъ, наприм., физика (въ обширномъ ея значеніи) возникаетъ тогда, когда является возможность осуществить указанную выше копію соотношенія элементовъ A, B, C... между собою; физіологія

является вмѣстѣ съ воспроизведеніемъ взаимнаго соотношенія элементовъ K, L, M... и, вмѣстѣ съ тѣмъ, и ихъ отношенія къ A, B, C... Копированіе же α, β, γ... посредствомъ другихъ α, β, γ... даетъ содержаніе психологіи.

«Ошибочно было бы думать,—говоритъ Махъ,—что по отношенію къ физикѣ дѣло идетъ въ меньшей степени о воспроизведеніи или копіи фактовъ, чѣмъ объ атомахъ и законахъ, составляющихъ какъ бы ядро самихъ фактовъ. Безпристрастно вникая въ этотъ вопросъ, приходится признать, что мысленное воспроизведеніе фактовъ вполнѣ удовлетворяетъ какъ практическія, такъ и умственныя наши потребности. Это копированіе или воспроизведеніе фактовъ и является поэтому цѣлью физики; атомы же, силы, законы, напротивъ того, надо считать только средствами, облегчающими для насъ имѣющееся въ виду воспроизведеніе. Цѣнность этихъ средствъ прямо пропорціональна той помощи, которую они могутъ доставить. Понятіе атомовъ еще въ бо̀льшей степени, чѣмъ понятіе матеріи, имѣетъ въ наукѣ значеніе мысленнаго символа; образованіе котораго мотивируется экономическими соображеніями. Отъ этихъ символовъ, какъ и отъ символовъ алгебры, нельзя требовать болѣе того, что̀ нами самими влагается въ нихъ; отъ нихъ нельзя ожидать болѣе свѣта и раскрытія истины, чѣмъ отъ самого опыта. Уже въ области физики слѣдуетъ намъ остерегаться отъ переоцѣненія значенія нашихъ символовъ: еще менѣе должна брать верхъ надъ нами чудовищная мысль примѣнять атомы къ объясненію психическихъ явленій. Атомы суть только символы тѣхъ самыхъ своеобразныхъ комплексовъ элементовъ, которые встрѣчаются намъ и въ тѣснѣйшей области физики.

Развивая далѣе свою мысль, Махъ обращаетъ вниманіе на то, что мы можемъ считать себя вполнѣ освѣдомленными о какомъ-нибудь естественномъ явленіи въ томъ случаѣ, когда находимся въ состояніи охватить нашею мыслью всю совокупность соотносящихся къ этому явленію фактовъ, когда мы можемъ воспроизвести въ мысли всѣ эти факты, получить въ этомъ воспроизведеніи какъ бы замѣну ихъ, дозволяющую намъ не удивляться имъ. Къ этой умственной работѣ мы можемъ при-

влекать, когда нужно, и вспомогательныя (математическія) представленія; но всѣ эти вспомогательныя представленія, законы и формулы являются только количественными регулятивами нашихъ чувственныхъ представленій, средствами, тогда какъ нашею цѣлью, все же таки, всегда останутся самыя представленія.

Далѣе Махъ приступаетъ къ истолкованію столь тѣсно примыкающаго къ началу экономизаціи въ умственной работѣ вопросу о приспособленіи мышленія къ фактамъ. Наука, по мнѣнію Маха, проводитъ сознательно это приспособленіе, имѣющее мѣсто и въ обыденномъ мышленіи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда имъ руководитъ принципъ экономизаціи. Уже при первомъ пробужденіи сознанія всякій человѣкъ обладаетъ многоразлично приспособленными къ фактамъ мыслями. Но такъ какъ ограниченный запасъ мыслей оказывается недостаточнымъ для постоянно накопляющагося опыта, то всякій новый фактъ побуждаетъ мысль къ продолженію начатаго приспособленія. Продолженіе это и совершается посредствомъ процесса сужденія. Сужденіе всегда является пополненіемъ представленія въ видахъ болѣе полнаго охвата даннаго факта. Процессъ сужденія, какъ видно изъ этого, заключается въ обогащеніи, распространеніи и пополненіи чувственныхъ представленій другими такими же, образуемыми подъ руководительствомъ фактовъ. Когда процессъ заканчивается и представленіе успѣло уже стать обычнымъ, оно удерживается нами уже не какъ сужденіе, а какъ воспоминаніе, какъ воспроизведеніе готоваго представленія. Ростъ естественныхъ наукъ и математики совершается, главнымъ образомъ, путемъ образованія такихъ непосредственныхъ знаній; такъ, наприм., предложенія: 1) дерево имѣетъ корни; 2) лягушка не имѣетъ когтей; 3) изъ куколки выходитъ бабочка; 4) треніе электризуетъ стекло; 5) электрическій токъ отклоняетъ магнитную стрѣлку; 6) кубъ имѣетъ 6 плоскостей, 8 угловъ и 12 реберъ,—могутъ съ этой точки получить слѣдующее значеніе: 1-е предложеніе распространяетъ представленіе дерева; 2-е—совершенствуетъ поспѣшно составленное представленіе лягушки; 3, 4 и 5—распространяютъ представленія по отношенію къ вре-

мени и 6-е—даетъ образчикъ геометрическаго непосредственнаго знанія.

Такого рода непосредственныя знанія, — говоритъ далѣе Махъ,—запечатлѣваются въ памяти и являются потомъ какъ самобытныя пополненія данныхъ фактовъ. Различные факты не сходствуютъ между собою вполнѣ; но различные случаи общности составныхъ частей усиливаются отъ этого пополненія и, такимъ образомъ, возникаетъ принципъ возможнаго обобщенія или непрерывности въ воспоминаніи. Съ другой стороны, воспоминаніе можетъ сохранить свое соотвѣтствіе многоразличію фактовъ и, вообще говоря, приносить пользу только при томъ условіи, если оно согласуется съ требованіями принципа достаточнаго дифференцированія. И непрерывность въ воспоминаніи, и достаточное дифференцированіе осуществляются посредствомъ одного и того же средства—выдѣленія тѣхъ составныхъ частей представленія, которыя имѣютъ руководящее значеніе для опыта. Въ процессѣ этой работы могутъ являться отъ времени до времени моменты, обозначающіе недостаточность прежняго дифференцированія и потребность новаго. Эти моменты называются проблемами. Практическія основанія или умственныя неудобства ведутъ къ новымъ приспособленіямъ, къ рѣшенію проблемъ, и, такимъ образомъ, возникаетъ намѣренное мыслеприспособленіе или изслѣдованіе.

Предшествовавшее разсужденіе, какъ то и само собою очевидно, ведетъ къ опредѣленію значенія акта отвлеченія въ характеризуемой съ точки зрѣнія экономизаціи силъ работѣ мысли. Отсюда цѣлый рядъ вопросовъ, которые ставитъ себѣ Махъ въ настоящемъ случаѣ: «Что совершаемъ мы, когда абстрагируемъ? Что такое абстракція? Что такое понятіе? Соотвѣтствуетъ-ли понятію представляемый образъ?» Посмотримъ же, какъ отвѣчаетъ Махъ на всѣ эти столь важные въ гносеологическомъ отношеніи вопросы.

«Всякое мысленное воспроизведеніе опыта,—говоритъ Махъ,—имѣетъ въ виду замѣнить опытъ и дать намъ возможность не повторять его, т.-е. экономизировать по возможности наши силы. Всякое же воспроизведеніе опыта, въ силу того же начала сбе-

реженія силъ, является отвлеченіемъ, абстракціей, схватывающею соотвѣтствующую ея цѣли сторону факта. Изъ этого видно, что всякой абстракціи соотвѣтствуютъ, въ дѣйствительности, не отдѣльные предметы, а лишь извѣстный комплексъ элементовъ, взятыхъ для его образованія. Но тутъ лежитъ уже зерно объективированія или опредмечиванія отвлеченныхъ понятій и исходная точка поисковъ несуществующихъ вещей. Обратимъ вниманіе на значеніе древнѣйшихъ, первобытнѣйшихъ словъ: они служатъ названіемъ «предметовъ». Очевидно, что при установленіи такихъ названій опускается или отвлекается обстановка предмета и измѣнчивость, которой онъ подверженъ, очевидно, что предметъ символизируется словомъ, прежде всего, съ практическою цѣлью, для того, чтобы имѣть возможность сразу вызвать въ сознаніи всѣ соотносящіяся къ данной цѣли впечатлѣнія. И вотъ случается нерѣдко, что и въ эпохи высшаго умственнаго развитія, далеко ушедшаго отъ временъ первобытныхъ, не принимаются въ разсчетъ только-что указанныя условія и возникаютъ поиски «вещи въ себѣ» или какихъ-нибудь иныхъ объективированныхъ абстракцій. Забывается, что самое слово «вещь» есть мысленный символъ для комплекса ощущеній и что «не вещи», а ощущенія должны быть признаны элементами природы. Комплексы ощущеній не имѣютъ прочной устойчивости, мы только мысленно придаемъ ее ради экономизированія силъ, и, помня объ этомъ, должны бы всегда отмѣчать тѣ дополненія и поправки, въ которыхъ нуждается всякая абстракція при ея приложеніи къ тому или другому частному случаю.

Такое же значеніе, по мнѣнію Маха, имѣютъ и тѣ формулы, которыя обыкновенно называются «законами природы». Всякій «законъ природы» даетъ намъ возможность охватить одною формулой такую массу фактовъ, которую не смогла бы удержать никакая память. Всякій «законъ» представляетъ сжатый, доведенный до извѣстнаго объема, отчетъ о фактахъ, и только. И не надо терять изъ вида, что объемъ фактовъ, захватываемый этимъ отчетомъ, всегда менѣе дѣйствительнаго объема ихъ. «Законъ»—продуктъ абстракціи, онъ не захваты-

ваетъ факта всесторонне, а лишь постольку, поскольку фактъ имѣетъ значеніе для насъ. Полнота не осуществляется при этомъ частью намѣренно, частью невольно. «Законы» поэтому нельзя фиксировать разъ навсегда, и надо помнить, что старая формула можетъ нерѣдко являться препятствіемъ при выработкѣ новой.

Въ связи съ понятіемъ «закона» Махъ разсматриваетъ значеніе «объясненія», которое онъ считаетъ сведеніемъ фактовъ, встрѣчающихся впервые, къ фактамъ, ставшимъ извѣстными ранѣе. Измѣнчивость «объясненій», какъ показываетъ Махъ, непрерывна; напримѣръ, изученіе явленій свѣта идетъ параллельно измѣнчивости формулъ законовъ, но во всѣ моменты этой долгой познавательной работы остается намѣченною все одна и та же цѣль—охватить всѣ факты данной области изслѣдованія однимъ мысленнымъ процессомъ при условіи наименьшей затраты силъ. Такой пріемъ имѣетъ, конечно, экономическій характеръ.

Экономическимъ характеромъ науки истолковываетъ Махъ и столь загадочное для многихъ могущество науки. Идея экономичности руководитъ передачею накопленныхъ познаній и образованіемъ одного общаго опыта изъ множества опытовъ отдѣльныхъ личностей. Это же начало является руководящимъ и при стремленіи каждой индивидуальности къ овладѣнію суммою пріобрѣтаемаго опыта при минимумѣ затрачиваемыхъ силъ. Экономическій порядокъ вездѣ является во главѣ угла и вездѣ становится источникомъ могущества. Знаніе тысячъ сосредоточивается въ одной какой-нибудь головѣ и является какимъ-то волшебствомъ для глазъ непосвященныхъ. На самомъ дѣлѣ это волшебство есть только результатъ добропорядочной экономіи. Но сбереженія этой экономіи—экономіи науки—имѣютъ то преимущество передъ всѣми другими, что накопляемыя ими богатства не сопряжены съ какимъ бы то ни было лишеніемъ для кого бы то ни было. Тутъ-то и проявляется присущая наукѣ благодать, ея освободительная, искупительная сила.

Всякая наука,—говоритъ Махъ,—не только держится принципомъ экономизированія силъ познающаго, т.-е. растетъ, раз-

вивается на почвѣ чисто-реальныхъ интересовъ, но и начало свое беретъ изъ чисто-жизненныхъ потребностей. Разрастаясь, наука, подъ вліяніемъ односторонних наклонностей и способностей своихъ воздѣлывателей, неизбѣжно развѣтвляется; но какъ бы ни были тонки ея вѣтви, полная свѣжесть жизненныхъ силъ каждой вѣтви можетъ поддерживаться только ихъ связью съ цѣлымъ. Только этою связью можетъ она успѣшно поддерживать свое стремленіе къ преслѣдуемой ею цѣли и охранять себя отъ уродливостей односторонняго развитія. Развѣтвленіе же ея, дробленіе труда въ ея области, будучи сами по себѣ неизбѣжными, оказываются еще въ томъ отношеніи полезными, что позволяютъ развиться тѣмъ умственно-экономическимъ средствамъ, при помощи которыхъ научно овладѣваютъ своимъ матеріаломъ. Но здѣсь же является уже опасность преувеличить значеніе этихъ средствъ: недаромъ вниманіе изслѣдователей всегда остается къ нимъ приковано. Можетъ случиться и случается, что они, переставъ быть орудіями въ рукахъ ученыхъ, станутъ считаться цѣлью самой науки.

Такое положеніе вещей оказывается, по мнѣнію Маха, дѣйствительно имѣющимъ мѣсто, благодаря несоразмѣрно значительнѣйшему формальному развитію физики сравнительно съ другими естественными науками. Многіе изслѣдователи природы приписываютъ объективное существованіе такимъ понятіямъ, какъ масса, атомъ, сила,—понятіямъ, единственное назначеніе которыхъ заключается въ поддержаніи экономическаго характера опыта. Мало того, они думаютъ даже, что эти объекты именно и подлежатъ изслѣдованію, и что если они станутъ когда-нибудь извѣстны, то все остальное опредѣлится само собою изъ ихъ равновѣсія и движенія. То, что̀ имѣетъ значеніе вспомогательнаго орудія мышленія, является у этихъ мыслителей основою міра дѣйствительнаго.

Старанія свести физіологическія, химическія и физическія явленія къ чисто-механическимъ оказываются тщетными, прежде всего потому, что чисто-механическихъ явленій въ природѣ не существуетъ. Не надо упускать изъ вида, — говоритъ Махъ,— что въ дѣйствительности всякое движеніе находится въ тѣсной

связи съ термическими, магнетическими и электрическими измѣненіями, которыя, возникая въ тѣлахъ, измѣняютъ самыя движенія. И наоборотъ, термическія, магнетическія и электрическія явленія опредѣляютъ движенія. Чисто-механическія явленія, слѣдовательно, суть только абстракціи, вырабатываемыя то преднамѣренно, то по необходимости, въ виду болѣе легкаго обозрѣнія фактовъ. Вообще можно утверждать, что всякое явленіе можно отнести къ любому отдѣлу физики, подраздѣленіе которой обосновано частью на историческихъ, частью условныхъ (conventionnelle), частью физіологическихъ данныхъ.

Въ разумѣніи истиннаго подчиненія спеціальныхъ наукъ общей совокупности знанія заключается, по мнѣнію Маха, та особая философія, которой не долженъ быть чуждъ ни одинъ спеціалистъ. Отсутствіе такой философіи всегда обнаруживается появленіемъ мнимыхъ проблемъ, одно возникновеніе которыхъ, какъ бы онѣ тамъ ни считались—разрѣшимыми или неразрѣшимыми,—извращаетъ характеръ науки. При правильномъ различеніи средствъ и цѣлей научнаго познанія, при ограниченіи области изученія одними фактами, не окажется надобности переносить служащіе экономизаціи силъ орудія одной науки въ другую, и мнимыя проблемы неизбѣжно устранятся. Тогда наука можетъ мало-по-малу войти въ живое русло дѣйствительныхъ явленій, можетъ поставить себѣ цѣлью выработку самаго простого, яснаго и соотвѣтствующаго наименьшей тратѣ силъ понятія о существующемъ.

---

8. РИХАРДЪ АВЕНАРІУСЪ.

Намъ предстоитъ теперь обратиться къ изложенію воззрѣній того изъ представителей научной философіи, который провелъ принципъ экономизаціи силъ, или, точнѣе, принципъ наименьшей траты силъ съ наибольшею полнотой и систематичностью, и который подошелъ къ рѣшенію занимающаго насъ вопроса ближе, чѣмъ всѣ тѣ, съ воззрѣніями которыхъ мы успѣли до сихъ поръ ознакомиться. Затѣмъ намъ останется только разсмотрѣть тотъ, взглядъ, который ведетъ къ окончательному отвѣту на нашъ вопросъ и заключительной формулировкѣ этого отвѣта,—и работа наша будетъ окончена.

Полное и систематическое проведеніе принципа наименьшей траты силъ есть дѣло редактора «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie,» Рихарда Авенаріуса, а заключительное раскрытіе послѣдняго слова той эволюціи мысли, за которою мы прослѣдили, принадлежитъ сотруднику того же журнала Петцольдту, изложившему свои взгляды въ статьѣ, озаглавленной «Zu Richard Avenarius' Prinzip des kleinsten Kraftmasses und zum Begriff der Philosophie,» помѣщенной въ 2-мъ выпускѣ журнала за 1887 годъ.

Для резюмированія воззрѣній Авенаріуса мы будемъ пользоваться, главнымъ образомъ, его сочиненіемъ «Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Princip des kleinsten Kraftmasses,» 1876, и статьями, печатавшимися въ «Vierteljahrsschrift.» Что же касается вышедшаго въ прошломъ году новаго его сочиненія «Kritik der reinen Erfahrung,» то намъ не придется пользоваться имъ для настоящей работы. Каково бы ни было значеніе этого сочиненія и какую бы ни играло оно роль въ философской эволюціи ея автора, намъ, слѣдящимъ теперь не за судьбами этой эволюціи, а за рѣшеніемъ поставленнаго нами вопроса, вполнѣ возможно обойтись безъ ознакомленія съ нимъ читателей; такъ какъ мысль,

которую мы старались уловить и формулировать, получила уже всю ту полноту, опредѣленность и законченность, которыя вполнѣ достаточны для нашей цѣли, и намъ предстоитъ теперь только довести передачу ея до конца.

Приступая къ изслѣдованію понятія о научной философіи, Авенаріусъ ставитъ вопросъ такъ: какимъ образомъ философія возможна какъ наука? или иначе: какимъ образомъ возможна научная философія?

Для установленія всякой науки,—говоритъ онъ,—необходимы два условія:

Первое изъ этихъ условій заключается въ томъ, чтобы матеріалъ наукъ представлялся какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ, въ формѣ понятій. Случайныя и разсѣянныя свѣдѣнія могутъ заключать въ себѣ познанное нѣчто, т.-е. знаніе о чемъ-то, но установить науки они не могутъ. Наука не отмѣчаетъ всякій особенный признакъ каждаго отдѣльнаго предмета, но собираетъ только тѣ признаки, которые составляютъ общую принадлежность всѣхъ отдѣльныхъ предметовъ, которые, слѣдовательно, всеобщи и которые должны давать возможность опредѣлить, при новомъ появленіи предмета, тождество его съ разсматривавшимся прежде и, слѣдовательно, должны неизбѣжно сопровождать предметъ, т.-е. быть необходимыми для узнаванія его. Такъ, совокупность всеобщихъ и необходимыхъ признаковъ предмета и составляетъ научное понятіе о немъ, и только пріобрѣтеніе такого понятія о предметѣ даетъ научное знаніе этого предмета.

Охвативъ матеріалъ посредствомъ понятій, мы затѣмъ установляемъ разъясненіе этихъ понятій черезъ образованіе высшихъ понятій изъ низшихъ. Организованная, такимъ образомъ, система понятій завершается высшимъ понятіемъ, которое и становится во главѣ всѣхъ низшихъ понятій, расположенныхъ сообразно ихъ соотвѣтственнымъ степенямъ.

Недисциплинированное знаніе можетъ, такимъ образомъ, имѣть общее съ наукою содержаніе, его понятія могутъ даже совпадать съ понятіями науки, но послѣдняя всегда будетъ отличаться отъ него формально тѣмъ, что она располагаетъ со-

держаніе свое въ разъясненной системѣ родственныхъ, одно изъ другого выработанныхъ понятій.

Изъ такого образованія понятій и такой ихъ организаціи вытекаетъ для мышленія очень важная выгода: понятіе, содержащее все, что̀ есть общаго въ отдѣльномъ предметѣ, является какъ единство этого отдѣльнаго предмета; все же общее въ мышленіи субъекта является какъ единство различныхъ мыслимыхъ объектовъ. Такимъ образомъ, наука, удовлетворяя стремленію человѣка къ знанію, удовлетворитъ и стремленію человѣческаго разума къ единству. Въ этомъ и заключается преимущество науки надъ простымъ знаніемъ, на этомъ же основывается и сознаніе наукою ея значенія. Понятно, что простое знаніе можетъ быть предпочтено наукѣ только чуждыми этой послѣдней индивидуальными и практическими интересами. Само собою разумѣется и то, что сознаніе собственнаго значенія въ наукѣ тѣмъ интенсивнѣе, чѣмъ болѣе удовлетворяется ею потребность обобщенія знанія, потребность выработки высшихъ понятій и—въ послѣдней инстанціи—самаго наивысшаго. Сознаніе собственнаго значенія въ этомъ послѣднемъ случаѣ особенно интенсивно по той причинѣ, что удовлетвореніе потребности разума въ единствѣ и происходящее отъ того удовольствіе достигаютъ наивысшаго своего развитія.

Изъ вышесказаннаго можно сдѣлать два заключенія. Первое, что всякой наукѣ, въ силу самыхъ условій ея установленія, должно быть присуще стремленіе къ полному объединенію охватываемаго ею знанія, т.-е. къ завершенію образованія входящихъ въ нее понятій однимъ высшимъ понятіемъ. Только оно одно завершаетъ установленіе науки. Стремленіе къ этому завершенію составляетъ для науки не только логическую, но и психологическую необходимость. Второе заключеніе относится къ тому основанію, на которое опирались въ прежнее время при оцѣнкѣ значенія умозрительной философіи. Основаніе это, заключающееся въ удовлетвореніи потребности разума въ единствѣ, есть, очевидно, основаніе формальной стороны философіи. Но такъ какъ эта сторона составляетъ только одно изъ условій установленія науки, то возможность установленія умозрительной

философіи доказывала, слѣдовательно, только то, что философія—какъ формальная наука—возможна.

Обращаясь затѣмъ ко второму условію, необходимому для установленія науки, Авенаріусъ останавливается прежде всего на выясненіи вопроса о томъ, почему умозрительная философія, получивъ значеніе въ одномъ отношеніи, потеряла его въ другомъ? «Потому — отвѣчаетъ онъ — что умозрительная философія была научною только по отношенію къ формѣ, а не по отношенію къ содержанію». Предстоитъ доказать, что философія можетъ возвратить себѣ это значеніе, ставъ наукою и по содержанію, т.-е. такою философіею, которую мы называемъ научною. Надо начать, слѣдовательно, съ рѣшенія вопроса объ опредѣленіи тѣхъ условій, удовлетворить которымъ должно содержаніе понятій, для того чтобы изъ понятій этихъ возможно было строить науку.

Мысль эту очень удобно пояснить примѣрами отрицательнаго характера; для бо̀льшей ясности примѣры берутся рѣзкіе. — Первый примѣръ. Положимъ, что кто-нибудь принимаетъ свои галлюцинаціи за объективныя явленія дѣйствительнаго міра, какъ это и случалось при низкомъ уровнѣ общественнаго развитія; положимъ далѣе, что нашъ галлюцинантъ есть личность даровитая, способная подвести мнимые объекты свои подъ отвлеченныя понятія и затѣмъ свести такія понятія въ систему. Система эта, конечно, не можетъ имѣть научнаго значенія, такъ какъ она удовлетворяетъ однимъ только формальнымъ условіямъ, требуемымъ наукою: условія же, опредѣляющія значеніе содержанія науки, были бы выполнены только въ такомъ случаѣ, если бы галлюцинаціи принимались не за внѣшнія явленія, а за явленія внутреннія, субъективныя, и въ этомъ смыслѣ служили матеріаломъ для образованія о нихъ понятій. — Второй примѣръ. Положимъ, что грохотъ камней, набросанныхъ въ сосудъ, принимается за проявленіе мыслей фетиша, какъ то дѣйствительно и имѣетъ мѣсто у нѣкоторыхъ племенъ въ Бразиліи; положимъ далѣе, что изреченія фетиша были собраны жрецами, сохранились въ ихъ потомствѣ и разработаны въ систему тогда уже, когда о чудѣ съ камнями не было и по-

мину. Будетъ-ли такая система научна? Формально—да; матеріально—нѣтъ, и опять-таки потому, что происхожденіе понятій, изъ которыхъ построена система, не можетъ быть дано никакимъ опытомъ.

Выражая въ положительной формѣ заключеніе, выводимое изъ двухъ приведенныхъ отрицательныхъ примѣровъ, можно сказать, что объекты, долженствующіе сдѣлаться содержаніемъ науки, могутъ быть даны однимъ только опытомъ. Безъ соблюденія этого условія, содержаніемъ для устанавливаемой науки явятся мнимые объекты, и сама наука становится мнимою наукою. Такую науку необходимо, однако же, отличать отъ науки о мнимомъ, т.-е. о психическомъ фактѣ, несомнѣнно существующемъ и могущемъ дать содержаніе для науки. Всякая наука, такимъ образомъ, имѣетъ основаніемъ только опытъ; внѣ опыта науки также строятся, какъ воздушные замки, и если ихъ признаютъ иногда науками, то это случается вслѣдствіе увлеченія формальною ихъ стороною.

Столь употребительное выраженіе «опытныя науки» слѣдуетъ считать, какъ видно изъ этого, плеоназмомъ; но плеоназмъ этотъ находитъ себѣ оправданіе, пока смыслъ и значеніе понятія о наукѣ остается невыясненнымъ. Такимъ же плеоназмомъ слѣдуетъ считать и терминъ «научная философія», и въ томъ же обстоятельствѣ видѣть и его временное оправданіе.

Это послѣднее замѣчаніе прямо ведетъ къ поставленному выше вопросу: возможна-ли такая философія, которая и по содержанію была бы научною?

Разрѣшеніе этого вопроса много зависитъ отъ того, какъ представляется сопоставленіе опытныхъ наукъ и философіи. Если бы философское знаніе и философскія задачи были чужды опыта, то между философіею и науками не могло бы быть ничего общаго, и философія неизбѣжно, по содержанію, существенно отличалась бы отъ наукъ. Но, въ дѣйствительности, факты показываютъ намъ, что науки, поднявшись надъ извѣстнымъ уровнемъ, непремѣнно стремятся къ завершенію своего развитія философскимъ понятіемъ, которое всегда неизбѣжно и

всегда можетъ быть выработано, когда дѣло идетъ объ образованіи высшихъ научныхъ положеній. Основаніе къ такому стремленію очевидно. Опытныя науки суть спеціальныя науки, а для ихъ высшихъ конечныхъ понятій спеціальная точка зрѣнія не можетъ быть достаточна. Высшія понятія, по самой природѣ своей, не спеціальны, но общи, т.-е. они общи нѣсколькимъ спеціальнымъ областямъ, или, иначе: предметъ спеціальныхъ наукъ можетъ быть изучаемъ въ различныхъ отношеніяхъ разными спеціальными науками. Всякая спеціальная наука поэтому, подходя къ выработкѣ своего высшаго понятія, должна войти въ соприкосновеніе съ другими науками, т.-е. въ этомъ отношеніи перестать быть спеціальною наукою. Такимъ образомъ, всѣ спеціальныя науки стремятся къ одному пункту, въ которомъ онѣ сливаются въ одно общее понятіе, совершенно лишенное спеціальнаго характера.

Изъ этого видно, что опытныя науки противопоставляются философіи не съ точки зрѣнія опыта—общаго ихъ основанія, а только постольку, поскольку опытныя науки—науки с п е ц і а л ь н ы я, а философія—наука в с е о б щ а я,—наука, объединяющая понятія, выработанныя отдѣльными дисциплинами, и подводящая ихъ подъ высшее, общее понятіе.

Таковъ результатъ. Каковы же средства?

Такъ какъ всякая спеціальная наука вырабатываетъ только спеціальныя понятія, только тѣ понятія, которыя она можетъ выработать, не выходя изъ круга своей спеціальности, безъ вниманія къ нуждамъ другихъ спеціальныхъ наукъ, то задача выработки общихъ понятій изъ частныхъ понятій двухъ или нѣсколькихъ спеціальныхъ наукъ должна представлять особенности и трудности, чуждыя кругу спеціальной науки. Ни одинъ изъ спеціальныхъ методовъ не можетъ быть годенъ самъ по себѣ для преодолѣнія этихъ трудностей; но для разрѣшенія задачи потребуется отчасти подвергнуть болѣе строгой логической обработкѣ одностороннія спеціальныя понятія, отчасти провѣрить прикладные методы посредствомъ методологическаго анализа и въ то же время изслѣдовать физіологическую и (въ широкомъ смыслѣ) психологическую сторону вліянія субъекта. По-

нятно, что общая совокупность частныхъ понятій спеціальныхъ наукъ наложитъ на умственную работу особый отпечатокъ: мышленіе опредѣлится всестороннѣе, станетъ шире, отвлеченнѣе въ отношеніи логическомъ, глубже — въ психологическомъ. Тутъ-то поэтому и лежитъ та граница, которую собственно-спеціальное мышленіе не осмѣливается переступать, та область, въ которой инстинктъ спеціалиста безошибочно чуетъ философію и куда поэтому не вступаетъ, предпочитая предоставить изслѣдованіе ея философу. Спеціалисты и не подымаютъ, впрочемъ, науки до ея заключительныхъ понятій: это дѣло остается принадлежностью умовъ, предрасположенныхъ къ обобщеніямъ.

Теперь мы стоимъ на порогѣ философіи, именно той научной философіи, возможность которой начинаетъ для насъ просвѣчивать.

Припомнимъ, что система понятій, заключающая въ себѣ знаніе какихъ бы то ни было (опытомъ данныхъ) объектовъ, требуетъ для завершенія своего въ формальномъ отношеніи выработки послѣдняго высшаго понятія, которое, завершая систему, образуетъ изъ нихъ замкнутое цѣлое—науку. Это высшее понятіе не есть уже понятіе спеціально-научное, но общее понятіе, принявшее въ себя всѣ частныя понятія, изъ которыхъ состоитъ система, или, иначе говоря, абстрактно представляющее всю совокупность данныхъ объектовъ. Пока оно не можетъ удовлетворять такому требованію общности и не охватываетъ ряда или группы объектовъ, до тѣхъ поръ можетъ быть мыслимо такое понятіе, объемъ котораго еще общѣе, и самое общее понятіе остается невыработаннымъ.

Такимъ образомъ, всякой спеціальной наукѣ предстоитъ или остаться незаконченною, страдать отсутствіемъ заключительной идеи, или завершиться общимъ, высшимъ понятіемъ. Само собою разумѣется, что, при образованіи этого общаго, высшаго понятія всѣхъ спеціальныхъ наукъ, безотносительно къ ихъ сродству, представляется несравненно болѣе сложная работа, чѣмъ при образованіи общихъ понятій для двухъ или нѣсколькихъ спеціальныхъ наукъ. Однако же, именно то, въ чемъ сосредоточивается здѣсь трудность, является побужденіемъ къ

преодолѣнію ея; и побужденіе это бывало такъ интенсивно, что заставляло пытаться достигнуть указанной выше цѣли, безсознательно или сознательно обходя находящіяся на пути опытныя науки; попытка, успѣхъ которой могъ, очевидно, всегда быть только кажущимся. Такимъ образомъ, потребность единства неудержимо влечетъ къ выработкѣ единства всѣхъ наукъ и объектовъ ихъ, — къ выработкѣ единства, которое было бы, если то возможно, истинно высшимъ и послѣднимъ единствомъ данныхъ опытомъ объектовъ.

Разсмотримъ нѣсколько ближе это единство объектовъ, такъ какъ, согласно замѣчанію, сдѣланному выше, требованіе его установленія дѣлаетъ ощутимыми сопряженныя съ такимъ дѣломъ трудности и въ то же время влечетъ къ преодолѣнію ихъ. Трудности, о которыхъ идетъ рѣчь, заключаются въ томъ, что требуемое высшее единство понятій должно быть свободно отъ противорѣчій, а между тѣмъ, при историческомъ развитіи спеціальныхъ наукъ, не можетъ не соединять въ себѣ такихъ противополагающихъ признаковъ, которые дѣлаютъ его дуалистическимъ. Такъ какъ дуализмъ этотъ, повидимому, принципіаленъ и включеніе его въ научное понятіе, долженствующее имѣть характеръ единства, неизбѣжно дѣлаетъ понятіе это противорѣчивымъ, то возможность устраненія противорѣчія можетъ явиться только какъ результатъ цѣлаго ряда попытокъ подвергнуть изслѣдованію, путемъ изученія принциповъ познаванія, самые крайніе послѣдніе корни противорѣчія какъ на почвѣ объекта, такъ и напочвѣ субъекта. Это изслѣдованіе должно освѣтить упомянутыя трудности установленія самаго общаго понятія, какъ высшаго единства, и обнаружить ту многосложность вопросовъ, которые могутъ повести къ установленію особыхъ спеціальныхъ наукъ, а также выяснить, что всѣ спеціальныя науки должны быть разсматриваемы какъ вспомогательныя по отношенію къ результату самаго изслѣдованія, т.-е. по отношенію къ выработкѣ высшаго понятія. Это изслѣдованіе, наконецъ, приведетъ къ убѣжденію, что спеціально-научныя работы, какъ въ томъ случаѣ, когда онѣ сознательно задаются цѣлью выработки этого конечнаго результата, такъ и въ томъ, когда онѣ стремятся дока-

зать невозможность этой выработки, могутъ быть сами разсматриваемы какъ работы, относящіяся къ области особой самостоятельной науки.

Подходя такимъ образомъ къ опредѣленію философіи, Авенаріусъ намѣчаетъ то широкое понятіе, которое, съ одной стороны, охватываетъ спеціальныя и сложныя изслѣдованія, не могущія быть отнесенными ни къ одной изъ спеціальныхъ наукъ и имѣющія цѣлью возвести понятія низшихъ степеней обобщенія къ послѣднему, самому общему; съ другой стороны, обнимаетъ всю область спеціальныхъ наукъ, относящихся къ указанному выше изслѣдованію въ качествѣ наукъ вспомогательныхъ. Такимъ образомъ, всякая спеціальная наука, ведущая къ наивысшему общему (философскому) понятію, получаетъ значеніе *философской*, такъ какъ для завершенія своего она вводитъ свое относительно-общее понятіе въ связь съ такими же понятіями другихъ наукъ и сознательно служитъ, такимъ образомъ, выработкѣ наивысшаго понятія.

Чтобы по праву называться *наукой* и быть не только *массой накопленнаго знанія*, всякая наука должна необходимо завершиться послѣднимъ высшимъ понятіемъ. Удовлетвореніемъ этого требованія исполняется изложенное выше условіе формальной организаціи понятій. Изъ этого слѣдуетъ, что всякая спеціальная наука, только благодаря философскому элементу, въ нее входящему, становится «*наукою*». По этой-то причинѣ всякая достигшая высшей степени развитія спеціальная наука и стремится сперва инстинктивно, а потомъ сознательно къ проникновенію философіи въ ея понятія.

Послѣ всего сказаннаго, формулированный выше вопросъ: какимъ образомъ возможна научная философія? ставится такъ: возможно-ли существованіе науки безъ участія философіи?

Доведя разсужденіе до этого пункта, Авенаріусъ указываетъ на то, что онъ никогда не терялъ изъ виду того научно-философскаго понятія, которое должно выражать единство всѣхъ спеціально-научныхъ объектовъ. Этимъ понятіемъ спеціальныя науки завершаютъ выработку понятій о своихъ объектахъ и, какъ науки, завершаются сами. Такимъ образомъ, результатомъ вы-

работки одного высшаго понятія объ объектахъ вообще является единство понятія обо всемъ, подлежащемъ научному изслѣдованію,—единство міроразумѣнія. Ни одна изъ спеціальныхъ наукъ не можетъ считаться законченною, пока она не указала мѣста своего объекта въ мірѣ какъ цѣломъ; тѣ же науки, которыя указываютъ человѣческому разуму его мѣсто и стараются выработать о немъ самомъ научныя понятія, обыкновенно считаются философскими науками по преимуществу. Не останавливаясь долго надъ этою стороною вопроса, Авенаріусъ выставляетъ другую, главнѣйшую, заключающуюся въ томъ, что науки стремленіемъ своимъ стать философскими завершаются не только въ формальномъ отношеніи, но и по содержанію, даютъ же онѣ своимъ работамъ законченность только тогда, когда провѣрятъ свои относительно - общія понятія высшимъ единымъ понятіемъ и, такимъ образомъ, окажутъ въ свою очередь содѣйствіе установленію единства міроразумѣнія. Такое проникнутое единствомъ міроразумѣніе и считаютъ обыкновенно задачею философіи, и считаютъ по праву, такъ какъ философія, въ послѣдней инстанціи, есть не что иное, какъ результатъ слитія спеціальныхъ наукъ въ одно всеобщее понятіе.

Выяснивъ такое единство всѣхъ спеціальныхъ наукъ и философіи, можно сравнить это единство съ пирамидой, вершину которой занимаетъ философія, или съ окружностью, въ центрѣ которой стоитъ философія; такое сравненіе совершенно ясно выражаетъ идею значенія философіи, какъ науки. Относясь одинаково ко всѣмъ спеціальнымъ наукамъ, философія подымаетъ каждую изъ нихъ до значенія науки; въ то же время, давая всей совокупности ихъ единство, этому единству придаетъ значеніе науки.

Въ заключеніе Авенаріусъ еще разъ видоизмѣняетъ постановку вопроса и этимъ измѣненіемъ очень удачно даетъ своей мысли весьма характеристическую законченность. «Теперь—говоритъ онъ—вопросъ нашъ заключается не въ томъ, возможно-ли существованіе науки безъ философіи, и не въ томъ, какимъ образомъ возможна философія, которая не была бы наукой, но

въ томъ, какимъ образомъ возможна наука, которая не была бы философіей?»

Мы сказали уже, что Авенаріусъ ставитъ себѣ цѣлью сведеніе всего развитія философіи къ принципу наименьшей траты силъ. Посмотримъ теперь, чѣмъ онъ обосновываетъ и какимъ образомъ проводитъ это положеніе.

Онъ начинаетъ съ установленія цѣлесообразности, какъ свойства, присущаго всякой психической дѣятельности. Можно,— говоритъ онъ, — относиться съ сомнѣніемъ къ различнымъ толкованіямъ происхожденія этой цѣлесообразности, но нельзя сомнѣваться въ ней самой, благодаря слишкомъ большому значенію ея для сохраненія индивида. Мы не можемъ даже представить себѣ возможности этого сохраненія, если не допустимъ, что психическія функціи способны выполнить въ самой высокой степени требованія цѣлесообразности.

Каковы же требованія наши по отношенію къ цѣлесообразности психическихъ функцій? Они двойственны: цѣлесообразно-дѣйствующая организація не только должна рѣшать свою задачу, но должна еще рѣшать ее съ относительно наименьшею затратой силъ, т.-е. съ относительно наименьшимъ пользованіемъ имѣющимися средствами. Всякое рѣшеніе той или другой задачи придется счесть тѣмъ болѣе цѣлесообразнымъ, чѣмъ менѣе силъ будетъ при этомъ потрачено напрасно, — чѣмъ болѣе будетъ ихъ сохранено для другихъ дѣйствій; мы всегда почтемъ данную силу тѣмъ цѣлесообразнѣе приложенною, чѣмъ значительнѣе будетъ полученный чрезъ ея посредство результатъ.

Установивъ взглядъ на общую цѣлесообразность психическихъ функцій, Авенаріусъ переходитъ затѣмъ къ изслѣдованію вопроса о томъ, не обнаруживаетъ-ли одна изъ нихъ, именно теоретическая, т.-е. мышленіе, такое же стремленіе къ охраненію силъ отъ излишнихъ тратъ.

Въ теоретическомъ мышленіи или аперценціи, — говоритъ Авенаріусъ,—идетъ дѣло о взаимодѣйствіи двухъ комплексовъ представленій, съ цѣлью опредѣленія содержанія или, соотно-

сительно, характеристики того изъ нихъ, который является сравнительно менѣе опредѣленнымъ. Если бы психическія силы были безграничны, то о цѣлесообразной тратѣ ихъ не было бы и рѣчи; но такъ какъ силы эти ограничены, то указанную выше выработку опредѣленности содержанія представленій и приходится неизбѣжно вести, по возможности, цѣлесообразно, т.-е. съ наименьшею затратой силъ или, соотносительно, съ наибольшимъ для данной затраты результатомъ.

Что мы можемъ замѣтить,—говоритъ далѣе Авенаріусъ,—если присмотримся къ извѣстной склонности человѣческаго ума къ систематизированію? Прежде всего, то, что во всякой системѣ, какъ системѣ, преслѣдуется значительное сбереженіе силъ. Въ систематизированіи имѣетъ мѣсто организація цѣлыхъ совокупностей представленій, достигаемая установкою одного изъ комплексовъ этихъ представленій въ центральномъ пунктѣ и группировкою остальныхъ вокругъ него. Благодаря такому распорядку представленій, сознаніе облегчаетъ себѣ оріентировку среди ихъ, и затѣмъ еще достигается возможность рѣшенія всѣхъ могущихъ возникнуть проблемъ, такъ какъ представленіе, являющееся содержаніемъ этихъ проблемъ, безъ колебаній подводится подъ центральное, и, далѣе, всякую новую проблему легко примкнуть къ родственной ей группѣ другихъ проблемъ, отнесенныхъ уже къ центральному представленію, и, такимъ образомъ, сразу поставить ее на вѣрный путь къ разрѣшенію. Слѣдуетъ замѣтить, наконецъ, что своею дѣйствительною или мнимою полнотой всякая система представляетъ, въ виду могущихъ возникнуть спеціальныхъ проблемъ, выгоды увѣренности и покоя, и, въ то же время, благодаря своей дѣйствительной законченности, даетъ и выгоды обезпеченной устойчивости системы, такъ какъ всѣ заключенія, выводимыя изъ центральнаго представленія, пріурочиваются къ его же поддержанію, и между всѣми входящими въ систему представленіями устанавливается взаимная связь и обоюдная поддержка.

Всѣ эти моменты,—замѣчаетъ Авенаріусъ,—несомнѣнно служатъ охранѣ затрачиваемыхъ силъ.

Еще явственнѣе обнаруживается стремленіе къ минимальной

тратѣ силъ во всѣхъ случаяхъ, когда мы имѣемъ дѣло съ тѣмъ, что̀ намъ привычно или, соотносительно, непривычно. Всякому извѣстно, что предпочтеніе, оказываемое всему привычному передъ непривычнымъ, находитъ для себя самые разнообразные исходы: непривычное то устраняется изъ обихода мышленія — забывается, то сводится на привычное при помощи той или иной ассоціаціи: новое—на старое, чуждое—на обыденное, неизвѣстное—на извѣстное и т. д.

Разсматривая затѣмъ роль языка, какъ орудія, несущаго чрезвычайно полезную службу при охранѣ силъ отъ напрасной траты, Авенаріусъ приходитъ къ заключенію, что теоретическое мышленіе или аперцепція всегда является съ разсчетомъ на экономизированіе своихъ средствъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ всегда руководится этимъ разсчетомъ. Въ аперцепціи, какъ мы уже знаемъ, дѣло идетъ о взаимодѣйствіи двухъ комплексовъ представленій, одинъ изъ которыхъ—болѣе опредѣленный по своему содержанію—и долженъ оказать по отношенію къ намѣченной цѣли желаемую услугу. Спрашивается, каковы должны быть входящія въ него представленія, для того чтобы услуга эта, т.-е. сбереженіе силъ, могла бы достигнуть максимума? Очевидно, прежде всего, что содержаніе этихъ представленій должно быть извѣстно, и затѣмъ оно не должно быть единичнымъ или частнымъ, а общимъ, т.-е., собственно говоря, имѣть значеніе понятія. Оно должно вести не только къ узнаванію, достигаемому чрезъ сведеніе частнаго къ частному, но къ п о н и м а н і ю, т.-е. къ обогащенію даннаго представленія всѣмъ содержаніемъ того понятія, подъ которое оно подводится. Благодаря этому свойству, пониманіе его и можно считать теоретическою аперцепціей par excellence.

Но оно является и теоретическою аперцепціей par préférence именно въ силу той полноты, съ которою имъ удовлетворяется требованіе наименьшей траты силъ. Общее понятіе не только служитъ расширенію содержанія даннаго представленія, но и захватываетъ еще цѣлый рядъ такихъ представленій, которыя могутъ считаться того же рода, что и данное, или, по крайней мѣрѣ, могутъ быть признаны сходственными

съ нимъ. Не только все содержаніе этого понятія, но и всѣ объекты, къ которымъ можетъ быть отнесено это содержаніе, проходитъ при этомъ чрезъ сознаніе. Такъ, наприм., общее понятіе «животное» наводитъ на мысль не только все охватываемое имъ содержаніе, но еще и припоминаніе о всѣхъ тѣхъ животныхъ, схожихъ съ подводимыми подъ наше понятіе, или предположеніе о такихъ, которыя могли бы включиться въ его содержаніе.

Показавъ важное значеніе пониманія для нашего мышленія, Авенаріусъ ставитъ вопросъ: не принадлежитъ-ли философія, столь горделиво именующая себя «наукою наукъ», къ числу тѣхъ умственныхъ дисциплинъ, задача которыхъ заключается въ пониманіи?

Философія,—говоритъ онъ,—не можетъ еще дать окончательнаго отвѣта на этотъ простой и ясный вопросъ. Можемъ-ли мы указать на обще-признанное понятіе философіи, зная, что философій много, но философіи еще нѣтъ? По этой причинѣ и нѣтъ возможности разрѣшить окончательно поставленный вопросъ, хотя и возможно дать ему хотя одностороннее, по крайней мѣрѣ, освѣщеніе. Ставя вопросъ, Авенаріусъ не имѣетъ въ виду исчерпать его въ логическомъ отношеніи, а подразумѣваетъ только возможность его историческаго разрѣшенія. Не подлежитъ сомнѣнію для всякаго сколько-нибудь знакомаго съ исторіей философіи, что такое рѣшеніе оказалось бы положительнымъ, т.-е. подтвердило бы намъ ту истину, что общее направленіе философіи имѣетъ своею цѣлью пониманіе.

Такимъ образомъ, оказывается, — говоритъ Авенаріусъ въ заключеніе этой части своего разсужденія, — что мы можемъ смотрѣть на принципъ наименьшей траты силъ вообще какъ на основу теоретическаго мышленія и, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ на основу стремленій къ пониманію всѣхъ наукъ, задающихся пониманіемъ, и, слѣдовательно, въ частности, какъ на корень философіи.

Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію вопроса о задачѣ философіи, Авенаріусъ, ссылаясь на предшествующее разсужденіе, говоритъ, что въ цѣлесообразности пониманія были выясне-

ны двѣ стороны: во-первыхъ, сведеніе неизвѣстнаго на извѣстное и, во-вторыхъ, подведеніе частнаго подъ общее,—представленія подъ понятіе. Надо замѣтить, что оба эти момента должны быть разсматриваемы не только какъ основа пониманія, но въ нихъ слѣдуетъ еще видѣть и условія самаго пониманія,—тѣ требованія, которыя необходимо должны быть на лицо для того, чтобы пониманіе могло состояться. Извѣстное и общее понятія и являются именно тѣми средствами, орудіями или факторами, дѣйствіе коихъ производитъ пониманіе. Тамъ, гдѣ ихъ не оказывается, пониманіе становится невозможно.

Теперь является возможность опредѣлить границы пониманія. Онѣ, очевидно, распространены въ той же мѣрѣ, какъ и соотвѣтствующія имъ понятія. Эти же послѣднія идутъ до, такъ сказать, абсолютнаго простого понятія, соотносительно, до понятія абсолютно-простого и, въ то же время, до, такъ сказать, абсолютнаго общаго понятія, соотносительно, до понятія абсолютно-общаго. По этой причинѣ всѣ науки, ставящія себѣ цѣлью пониманіе, считаютъ цѣль свою вполнѣ достигнутою, когда имъ удается, съ одной стороны, расчленить свое содержаніе на простѣйшія составныя части, и, съ другой, вывести тѣ общія понятія, которыя могли бы во всей полнотѣ охватывать данную совокупность явленій. Такія понятія и получаютъ значеніе самыхъ общихъ понятій и высшихъ законовъ, такъ какъ «законы» суть тѣ же аперцепціи, съ тѣмъ только различіемъ отъ общихъ понятій, что подъ нихъ подводятся не однородныя вещи, а однородныя событія.

Изъ этого явствуетъ, что разысканіе законовъ соотвѣтствуетъ тому же стремленію къ пониманію, что и стремленіе мыслить понятіями, и что корень какъ того, такъ и другого слѣдуетъ видѣть въ принципѣ наименьшей траты силъ. Можно утверждать поэтому, что закону нельзя приписать бо̀льшаго объективнаго значенія, чѣмъ понятію; значеніе же ихъ обоихъ зиждется на опытѣ, выраженномъ подведенными подъ нихъ представленіями единичныхъ вещей и единичныхъ событій.

Представленія единичныхъ вещей и единичныхъ событій, подводимыя подъ понятія и законы,—разсуждаетъ далѣе Аве-

наріусъ,—находятъ въ этихъ понятіяхъ и законахъ объединеніе всему тому, что́ у нихъ есть общаго. Точно такое же объединеніе могутъ дать высшія понятія и законы низшимъ и такимъ путемъ объединеніе можетъ быть доведено до того понятія или закона, который соотвѣтствуетъ наивысшему единству. Такимъ образомъ, принципъ наименьшей траты силъ оказывается не только корнемъ стремленія къ пониманію, но и корнемъ стремленія къ единству вообще, къ наивысшему единству въ особенности.

Изъ этого видно, что представленія множественности противорѣчатъ нашему основному принципу. Множественность всегда принимается высоко-развитымъ чувствомъ какъ обремененіе сознанія. Вѣрность этого положенія доказывается исторіею человѣческой мысли, которая, не взирая ни на какія разочарованія, всегда стремилась къ сведенію всей своей дѣятельности къ единству.

Не останавливаясь надъ изслѣдованіемъ вопроса о томъ, существуетъ-ли на самомъ дѣлѣ такое единство, Авенаріусъ обращаетъ вниманіе теперь лишь на то, что стремленіе къ нему проявляется въ тѣсной связи со стремленіемъ къ пониманію или къ мышленію общей совокупности всего существующаго посредствомъ понятій и показываетъ затѣмъ, что наука, избравшая себѣ предметомъ эту совокупность, была не изъ числа тѣхъ, которыя занимались отдѣльными частями, сторонами или развѣтвленіями этой совокупности, а именно та, которая задачею своею ставила изученіе всей этой совокупности, какъ единаго цѣлаго, — наука эта, по свидѣтельству исторіи, и есть философія.

Если мы припомнимъ теперь, — говоритъ Авенаріусъ въ заключеніе этой части своего труда,—что направленное на общую совокупность вещей и событій мышленіе есть мышленіе отвлеченное, т.-е. совершающееся посредствомъ понятій и имѣющее цѣлью пониманіе, и что это мышленіе опредѣляется принципомъ наименьшей траты силъ, то должны будемъ, согласно высказанному нами выше, смотрѣть на философію какъ на возведенное до научности стремленіе мыслить совокупность всего

даннаго въ опытѣ при минимальной на то затратѣ силъ. Совокупность же даннаго въ опытѣ или, соотносительно, того, что можетъ быть дано въ опытѣ вообще, называемъ мы міромъ; подъ философіей, такимъ образомъ, должны мы разумѣть мышленіе о мірѣ согласно принципу наименьшей траты силъ.

Изслѣдованіе вопроса о методѣ философіи Авенаріусъ начинаетъ съ опредѣленія мѣста, занимаемаго философіей въ ходѣ научнаго развитія. Если по отношенію къ ея задачѣ, — говоритъ онъ, — философія должна быть поставлена послѣднею въ ряду наукъ, такъ какъ собственная ея работа предполагаетъ отдѣльныя спеціальныя науки установившимися, то, по отношенію времени установленія, философія, какъ то свидѣтельствуетъ намъ ея исторія, явилась первою. И нельзя не признать, что такое предвосхищеніе философіею ея задачи вполнѣ согласовалось съ присущими ей основными свойствами. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ представленія отдѣльныхъ вещей подводятся подъ общія понятія, которыя, такимъ образомъ, дѣлаютъ возможнымъ пониманіе отдѣльныхъ вещей, то стремленіе къ пониманію находитъ самое скорое и легкое удовлетвореніе тогда, когда мышленіе получаетъ въ свое распоряженіе тѣ общія понятія, какія оно можетъ выработать, направляя свои силы на всю совокупность данныхъ вещей. По этой причинѣ и приходится мышленію обратиться, прежде всего, къ этой совокупности и, слѣдовательно, для философіи, согласно принципу наименьшей траты силъ, само собою открывается первая роль въ исторіи развитія умственной дѣятельности, направленной къ «пониманію». Согласно этому же принципу совершается и дальнѣйшее развитіе философіи, поскольку развитіе это заключается въ болѣе и болѣе тѣсномъ ограниченіи предѣловъ ея области.

Подведеніе представленій подъ понятіе, имѣющее при этомъ мѣсто, предполагаетъ, конечно, что представленія единичныхъ вещей могутъ въ самомъ дѣлѣ быть подведенными подъ понятія. Состоятельность общихъ понятій необходимо должна пройти черезъ эту провѣрку. И какимъ бы путемъ она ни совершалась, во всякомъ случаѣ, окажется нужнымъ образованіе спе-

ціальныхъ понятій для выработки понятія общаго. Цѣль спеціальнаго изслѣдованія, во всякомъ случаѣ, будетъ поставлена въ служебное отношеніе къ философіи: оно должно будетъ или провѣрить состоятельность даннаго общаго понятія, или подготовить выработку такого, которое было бы состоятельно. Тутъ и лежитъ начало дифференцированія научнаго, посредствомъ понятій совершающагося, т.-е. отвлеченнаго мышленія, и чрезъ это дифференцированіе произошло и развѣтвленіе научнаго мышленія на спеціальныя науки.

Характеризуя далѣе отношеніе спеціальныхъ наукъ къ философіи, Авенаріусъ находитъ его двоякимъ: оно является какъ результатъ единства личности мыслителя и какъ результатъ единства цѣли, заключающейся въ только что упомянутой вспомогательной роли спеціальныхъ наукъ. Случайное значеніе перваго обстоятельства очевидно. И если намъ указываютъ на «философа», занимающагося спеціальною наукой, то это не значитъ еще, что имѣется подтвержденіе сліянія данной науки съ философіей. Если логика, этика, эстетика и теперь еще разрабатываются «философами», то это не значитъ еще, что науки эти по отношенію къ философіи имѣютъ такое же вспомогательное значеніе, какъ и естественныя науки, напримѣръ, совершенно выдѣлившіяся изъ области философіи, или какъ психологія, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе изъ нея выдѣляющаяся. Этимъ постепеннымъ пріобрѣтеніемъ самостоятельности спеціальныхъ наукъ задачи философіи, какъ таковой, мало-по-малу свелись къ тому, что философія сознательно отмежевала себѣ пониманіе всей совокупности вещей и противопоставила его пониманію отдѣльныхъ, спеціальныхъ областей. Можно сказать, резюмируя вышеуказанное, что философское пониманіе охватываетъ міръ абстрактною формой, общею всѣмъ единичнымъ вещамъ, тогда какъ естественныя науки или естественно-научная космологія разсматриваетъ міръ какъ единичную вещь, какъ конкретную форму, изъ которой вырабатывается философская абстракція.

Покончивъ съ этимъ вопросомъ, Авенаріусъ переходитъ къ изслѣдованію тѣхъ факторовъ, при посредствѣ коихъ философія

разрѣшаетъ свою задачу—пониманіе общей совокупности вещей. Уже прежде было показано, что всякое пониманіе осуществляется при помощи двухъ элементовъ: извѣстнаго и общаго понятій; теперь предстоитъ разсмотрѣть, какимъ образомъ установлялось понятіе «извѣстнаго» въ ходѣ развитія научнаго мышленія.

«Извѣстное» получило свою роль въ процессѣ пониманія въ качествѣ привычнаго, традиціоннаго. Пока представленія отдѣльныхъ вещей являлись у насъ какъ безпрепятственно подводимыя подъ общія традиціонныя понятія, до тѣхъ поръ въ мышленіи не происходило еще того дифференцированія, которое возникло въ то время, когда стали замѣчать неподводимость нѣкоторыхъ единичныхъ представленій подъ эти понятія. Съ этого времени рядомъ съ традиціонными понятіями, считавшимися незыблемыми, выступаютъ измѣнчивыя, прогрессирующія понятія науки, которыя не опираются уже на привычку, какъ основаніе своей состоятельности, и въ поступательности своего движенія ищутъ тотъ наибольшій результатъ, который можетъ быть достигнутъ соотвѣтственною затратой силъ.

Извѣстнымъ съ того времени начинаетъ считаться то, чѣмъ овладѣло сознаніе, что̀ присутствуетъ въ сознаніи. Въ этомъ смыслѣ, извѣстное—независимо отъ вопроса его происхожденія—всегда является какъ данное опытомъ, иначе говоря, оно всегда есть опытъ, совершаемый нами при томъ или иномъ состояніи сознанія; объектъ опыта признается при этомъ такимъ, какимъ онъ обрѣтается въ сознаніи. Этими чертами характеризуется первобытный опытъ,—тотъ опытъ, въ которомъ еще неразличимо заключено какъ то, что̀ внесено въ представленіе самимъ объектомъ, такъ и то, что̀ вложено въ него субъектомъ, переживающимъ опытъ. Въ анимизмѣ мы можемъ найти обильную иллюстрацію такого первобытнаго опыта; но образчикъ его дается и въ томъ воззрѣніи естествоиспытателя, который въ падающемъ камнѣ усматриваетъ «силу», повергающую камень на землю.

Различеніемъ того, что̀ дѣйствительно дается опытомъ, отъ того, что̀ влагается въ него мыслью субъекта, полагается осно-

ваніе различію научнаго опыта отъ опыта наивнаго. Научный опытъ, какъ оно и разумѣется само собою, и есть именно тотъ, который одинъ только долженъ стать содержаніемъ науки, достигшей высшаго пункта своего развитія. «Извѣстное» съ этого момента перестаетъ уже приниматься такимъ, какимъ намъ даетъ его сознаніе. Теперь требуется уже, чтобы оно было дано научнымъ опытомъ и стало основаніемъ не наивнаго, а научнаго пониманія. Все, что̀ не является въ объектѣ, какъ данное, а прилагается мыслью переживающаго опытъ субъекта,— все это устраняется окончательно изъ сферы научнаго пониманія *).

Но что̀ же именно такое не дается самимъ объектомъ, а влагается въ представленіе его субъектомъ? На этотъ вопросъ Авенаріусъ даетъ весьма опредѣленный отвѣтъ. Онъ обстоятельно разсматриваетъ одинъ за другимъ тѣ роды аперцепціи, которые антропоморфизируютъ мышленіе, вводятъ въ представленія такіе элементы, которые въ извѣстной степени искажаютъ объекты извѣстною долей человѣкоуподобленія ихъ. Авенаріусъ различаетъ три рода такихъ антропоморфическихъ аперцепцій: миѳологическія, антропологическія и тимематологическія. Миѳологическія аперцепціи переносятъ въ представленіе предметовъ всѣ тѣ общія свойства, которыми характеризуется весь человѣкъ,—всѣ тѣ формы, въ которыхъ выражается человѣческое «я»; антропологическія—захватываютъ только сферу чувствованій, а тимематологическія—вносятъ извѣстныя формы нашего разсудка, причинность, субстанціальность. Такимъ образомъ, въ каждой изъ этихъ трехъ аперцепцій мы имѣемъ дѣло съ нѣкоторымъ придаткомъ къ совокупности объективныхъ данныхъ: человѣческая душа является такимъ придаткомъ въ первомъ случаѣ, человѣческое чувство—во второмъ и человѣческая, такъ-называемая, «форма мышленія»—въ третьемъ.

Чѣмъ болѣе подымается мышленіе до высоты научнаго значенія, тѣмъ рѣшительнѣе исключаетъ оно, какъ и было пока-

*) Авенаріусъ указываетъ здѣсь тотъ фактъ, который К. Гёрингъ называетъ переходомъ пониманія въ знаніе.

зано выше, все то, что̀ не заключается въ данныхъ объектахъ. Въ настоящее время очищеніе отъ миѳологической примѣси подходитъ почти къ концу; очищеніе отъ примѣсей антропологическихъ, по меньшей мѣрѣ, намѣчено, тогда какъ вопросъ объ апріорныхъ формахъ мышленія, какъ тимематологической примѣси, которая, въ свою очередь, также должна быть удалена для установленія чистаго опыта,—этотъ вопросъ, какъ утверждаетъ Авенаріусъ, не былъ даже и поставленъ. «Постановка эта и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оправданіе ея, обоснованное на развитіи самого мышленія, дѣлается здѣсь,—говоритъ Авенаріусъ,—въ первый разъ».

Установленіемъ понятія «чистаго опыта» опредѣляются границы научнаго пониманія, которое теперь разъ навсегда устраняетъ отъ себя всю сферу пониманія наивнаго, никогда не могшаго войти въ какія бы то ни было опредѣленныя границы, такъ какъ хваталось, какъ за орудіе пониманія, за все то, что̀ считалось имъ извѣстнымъ, т.-е., какъ мы знаемъ уже изъ предшествовавшаго, все то, что́ было ему привычно, что́ обрѣталось готовымъ въ сознаніи, благодаря традиціи или иной случайности.

Остается прибавить, что и понятіе чистаго опыта также обусловлено принципомъ наименьшей траты силъ, такъ какъ исключить изъ мышленія о данномъ все то, что̀ въ немъ не заключается, значитъ воздержаться отъ затраты на это мышленіе той доли силъ, которая самимъ предметомъ не требуется.

Покончивъ съ уясненіемъ понятія чистаго опыта, Авенаріусъ переходитъ къ вопросу о томъ, каковъ долженъ быть тотъ методическій пріемъ, при помощи котораго философія можетъ разсчитывать охватить свой объектъ (т.-е., выражаясь кратко, логическую совокупность существующаго), однимъ, на чистомъ опытѣ зиждущемся, понятіи.

Но что именно должна считать философія своимъ объектомъ? Какимъ образомъ установитъ она понятіе этого объекта? Очевидно, что первою заботой ея должно быть правильное, методическое установленіе этого понятія, или, говоря иначе, умѣнье добывать для себя дѣйствительно существующіе объекты.

На первомъ планѣ здѣсь, несомнѣнно, стоитъ наблюденіе; всѣ естественно-научные методы суть методы наблюденія. Посредствомъ ихъ не только констатируется наличность предмета, но и, кромѣ того, предметъ этотъ опредѣляется по отношенію его свойства или по содержанію. Эти методы приложимы только къ единичнымъ объектамъ и, слѣдовательно, составляютъ достояніе отдѣльныхъ или спеціальныхъ наукъ.

Но,—продолжаетъ далѣе Авенаріусъ,—мы уже видѣли, что философія не можетъ существовать въ смыслѣ отдѣльной спеціальной науки, такъ какъ намъ извѣстно уже, что при дифференцированіи научнаго изслѣдованія на долю философіи выпала не та или эта спеціальная область, а нѣкоторая отвлеченная общность всѣхъ областей. Отдѣльныя эти области по отношенію къ философіи занимаютъ, какъ мы уже знаемъ, положеніе вспомогательное и посредствомъ своихъ методовъ доставляютъ философіи потребные ей объекты. Ихъ методы суть методы наблюденія, какъ то явствуетъ изъ предыдущаго, совершенно неприложимые къ философіи.

Извѣстно, однако же, что методы наблюденія нельзя считать единственными путями, слѣдуя которымъ естественныя науки достигаютъ до своихъ объектовъ. Такъ какъ всякое наблюденіе неизбѣжно является ограниченнымъ разными физическими — соотвѣтственно: физіологическими и психологическими моментами, то и приходится пополнять его болѣе раціональными пріемами, а именно: заключеніемъ отъ извѣстнаго къ неизвѣстному.

Можно было предполагать, что пріемъ заключенія отъ извѣстнаго къ неизвѣстному станетъ если и не исключительно-философскимъ, то, по крайней мѣрѣ, общимъ для философіи и естественныхъ наукъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ направленіи шли лучшія надежды тѣхъ, которые не замѣтили неприложимость этого пріема къ философскимъ вопросамъ.

Прежде всего, затруднительно было опредѣлить тотъ пунктъ, къ которому пріемъ этотъ могъ бы оказаться приложимымъ. Мы знаемъ уже, что пользованіе «извѣстнымъ» въ научномъ мышленіи подлежитъ ограниченію, стремящемуся свести «из-

вѣстное» въ границы даннаго чистымъ опытомъ. Но камень преткновенія для философіи на этомъ пунктѣ заключается въ томъ, что понятіе чистаго опыта еще предстоитъ выработать.

Притомъ же, указаніемъ на это препятствіе еще не все сказано. Гораздо важнѣе то обстоятельство, что если бы философія и смогла бы, наконецъ, найти ту точку опоры, на которой она имѣла бы возможность утвердить рычагъ своихъ заключеній, то трудъ этотъ остался бы, все же таки, безъ всякихъ результатовъ. Дѣло въ томъ, что предметы и явленія, констатируемые естественными науками при посредствѣ заключенія, всегда однородны съ тѣми, отъ которыхъ дѣлаемо было это заключеніе. Различіе предметовъ всегда имѣетъ или специфическое, или пространственное, или временное значеніе. Другими словами, неизвѣстное, о которомъ дѣлается заключеніе, подпадаетъ подъ то же понятіе, что и извѣстное, служившее основою заключенія. Такъ, напримѣръ, если изъ наблюденій надъ движеніемъ какой-нибудь планеты я, согласно закону параллелограмма силъ, заключаю о присутствіи центральнаго тѣла, къ которому планета тяготѣетъ, то, очевидно, констатированное моимъ заключеніемъ т ѣ л о подводится подъ понятіе т ѣ л а, а его д в и ж е н і е—подъ понятіе д в и ж е н і я. Для естествознанія случай этотъ, представляя значеніе извѣстной проблемы, можетъ имѣть важное значеніе; но для философіи открытіе центральнаго тѣла могло бы только тогда стать событіемъ, когда можно было бы утверждать, что этимъ путемъ получилось вполнѣ новое для опредѣленія бытія понятіе. Нечего и говорить, однако же, что ничто новое этимъ путемъ не получается и что только посредствомъ наблюденія и опыта обогащается имъ естествознаніе. Такимъ образомъ, нельзя сомнѣваться въ томъ, что пріемъ заключенія отъ извѣстнаго къ неизвѣстному не можетъ дать для философіи никакихъ результатовъ.

Точно также,—говоритъ далѣе Авенаріусъ,—философія не обогатилась бы никакими результатами, если бы пыталась восходить все къ болѣе и болѣе общимъ понятіямъ. Все, что бы мы ни добыли заключеніемъ, всегда и неизбѣжно подведется

подъ готовыя уже понятія; объемъ этихъ понятій увеличится, но высота пониманія чрезъ то не измѣнится, такъ какъ она исключительно зависитъ отъ высоты отвлеченія того понятія, подъ которое подводится данное представленіе, и ни отъ чего другого.

Быть можетъ, — не безъ іроніи замѣчаетъ Авенаріусъ въ заключеніе своего разсужденія о значеніи для философіи пріема заключенія отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, — быть можетъ, безрезультатность усилій на этомъ пути оставляетъ для философіи болѣе плодотворное приложеніе этого пріема въ предѣлахъ долженствуемаго быть установленнымъ ею чистаго опыта?

Но и въ этомъ направленіи нѣтъ никакой надежды на успѣхъ. Чистый опытъ, вѣдь, отличается отъ опыта обыденнаго не плюсомъ, а минусомъ; чистый опытъ заключаетъ въ себѣ то же, что и обыденный, за исключеніемъ тѣхъ добавленій, которыя прилагаются къ нему субъектомъ и которыя совсѣмъ ужъ не годятся для обоснованія на нихъ какого бы то ни было заключенія. Исторія вполнѣ подтверждаетъ эту истину: она даетъ длинный рядъ попытокъ, приведшихъ къ олицетвореніямъ, а не реальностямъ,—формамъ, а не къ содержанію,— тавтологіямъ, а не новымъ понятіямъ. Такимъ образомъ, ни одна изъ этихъ попытокъ не можетъ служить для насъ имѣющимъ значеніе прецедентомъ.

Ранѣе уже было замѣчено, что первою задачей, предлежащею теперь философіи, является выработка понятія чистаго опыта. Не теряя изъ вида эту задачу, Авенаріусъ обращаетъ сперва вниманіе на то, что и въ прежнія времена философія, рядомъ съ попытками заключеній отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, преимущественно заботилась объ установленіи понятія о такомъ опытѣ, который, сообразно степени развитія научнаго мышленія въ данное время, могъ считаться или близкимъ къ чистому, или совершенно чистымъ.

Характеръ изслѣдованій въ этомъ направленіи былъ, какъ извѣстно, критическій, а потому можетъ показаться, что критическій методъ и есть именно тотъ, при помощи котораго вырабатывается понятіе чистаго опыта. Нѣтъ сомнѣнія, что методъ

этотъ является здѣсь необходимымъ, но только не болѣе, какъ подготовительный. Недостаточность критики для установленія чистаго опыта доказалъ уже величайшій критическій философъ Кантъ; его Критика чистаго разума прерывается именно на томъ пунктѣ, въ которомъ она могла бы перейти въ критику чистаго опыта. Такая критика не должна была бы довольствоваться раскрытіемъ примѣсей къ тому, что̀ принималось за чистый опытъ, но должна была бы еще рядомъ съ критическимъ анализомъ выдвинуть впередъ и другой пріемъ, при посредствѣ котораго сдѣлалось бы возможно положительное примѣненіе отрицательныхъ результатовъ критики. Этотъ пріемъ, какъ оно и очевидно, только и можетъ быть устраненіемъ (элиминаціей) всего того, что̀ въ опытѣ является добавленіемъ или примѣсью. Методъ устраненія, или элиминаціонный, является, какъ видно изъ этого, собственно философскимъ методомъ. Этотъ методъ, какъ замѣчаетъ Авенаріусъ, и примѣнялся во всѣхъ предшествовавшихъ разсужденіяхъ. Веденныя согласно принципу наименьшей траты силъ, они инстинктивно подчинялись методу элиминаціи, хотя онъ былъ сформулированъ только теперь, послѣ цѣлаго ряда случаевъ, въ которыхъ уже имѣло мѣсто его приложеніе.

Заканчивая изслѣдованіе вопроса о методѣ философіи, Авенаріусъ считаетъ нужнымъ добавить, что если въ предшествовавшемъ изложеніи элиминаціонный методъ и представленъ какъ методъ собственно философскій, то изъ этого не слѣдуетъ еще заключать, что его должно считать методомъ исключительно философскимъ. И естественныя науки также не чужды заботѣ объ очищеніи своихъ, изъ опыта добытыхъ, понятій. Если философія занята очищеніемъ тѣхъ данныхъ, которыя составляютъ ея содержаніе, то дѣлаетъ она это не какъ философія, а какъ научное мышленіе. Философія отличается отъ спеціальныхъ наукъ не своимъ методомъ, но исключительно только своимъ объектомъ—понятіями охватываемою совокупностью фактовъ, данныхъ опытомъ. Различіе между философскимъ и естественно-научнымъ мышленіемъ можетъ имѣть, какъ видно изъ этого, не только относительное, но и произвольное значеніе, оправды-

ваемое развѣ въ историческомъ отношеніи, и методъ элиминаціи принадлежитъ несомнѣнно въ такой же мѣрѣ естественнымъ наукамъ, какъ и философіи, которая получаетъ въ свое вѣдѣніе содержаніе естественныхъ наукъ, ими уже очищенное.

Въ заключеніе всего этого разсужденія можно сказать, что если философія, т.-е. мышленіе, направленное на изученіе общей совокупности всего существующаго, и перестаетъ быть наукой въ обычномъ значеніи этого слова, то она остается, все же таки, научнымъ мышленіемъ. Во всемъ предшествующемъ разсужденіи о ней въ иномъ смыслѣ не было и рѣчи.

Корень философіи, ея задачи и методъ составляютъ содержаніе первыхъ трехъ, разсмотрѣнныхъ уже нами, отдѣловъ сочиненія Авенаріуса; укладу философіи посвященъ четвертый и послѣдній отдѣлъ, ознакомленіемъ съ которымъ мы теперь займемся.

Первымъ вопросомъ здѣсь является анализъ тѣхъ опытныхъ понятій, которыя являются данными, выработанными естествознаніемъ, и отдѣленіе въ этихъ понятіяхъ элементовъ, соотвѣтствующихъ требованіямъ чистаго опыта, отъ внесенныхъ въ нихъ субъектомъ примѣсей.

Мы знаемъ, — говоритъ Авенаріусъ, — что естественныя науки разсматриваютъ все существующее какъ совокупность атомовъ, движимыхъ силою и по необходимости взаимно воздѣйствующихъ другъ на друга.

Отдѣлимъ въ этомъ понятіи примѣсь отъ того, что соотвѣтствуетъ въ немъ чистому опыту, и воспользуемся полученнымъ остаткомъ для образованія намѣченнаго нами высшаго понятія.

Результатъ этого изслѣдованія отчасти уже предвосхищенъ нами и въ нѣкоторой степени не чуждъ въ настоящее время неотсталой наукѣ.

Прежде всего мы ставимъ слѣдующій вопросъ: дана-ли сила въ чистомъ опытѣ, какъ нѣчто движущее? Никакое наблюденіе движущейся вещи,—отвѣчаемъ мы,—не дало возможности воспринять силу, и тотъ единственный случай, когда мы ее воспринимаемъ, относится не къ движенію, а къ нашему

ощущенію силы. Ощущеніе это является всегда какъ сопутствующее движенію нашихъ членовъ, а не какъ чувство, причиняющее это движеніе. Но если порядокъ этотъ и былъ бы обратный, то и тогда никакой опытъ въ свѣтѣ не могъ бы указать той точки, съ которой ощущаемая сила воздѣйствуетъ на мускулы. Мы не испытываемъ такого процесса, а потому и не имѣемъ о немъ никакого представленія. Ощущеніе силы и мускульное движеніе совершенно разнородны, и поэтому нѣтъ никакой возможности заключить отъ одного къ другому, предполагая найти въ этомъ заключеніи состоятельную замѣну опыта.

Не испытывая ощущенія силы, какъ чего-то движущаго, мы точно также не испытываемъ и необходимости этого движенія. Вслѣдъ за силой падаетъ и необходимость, такъ какъ сила есть нѣчто принуждающее, а необходимость — самое принужденіе. Мы испытываемъ только одно — послѣдовательность этихъ явленій; принужденія же или произвола мы вовсе не испытываемъ.

Поскольку представленіе причинности, — продолжаетъ Авенаріусъ,—требуетъ силы, необходимости и принужденія, какъ составныхъ частей послѣдовательности явленій, постольку разомъ падаетъ и причинность. Если принужденіе въ указанной выше комбинаціи необходимо въ смыслѣ «причины», то придется признать, что представленіе это возникло въ данномъ случаѣ совершенно аналогично тѣмъ представленіямъ, которыя связываются съ деревьями, камнями, раковинами и т. п. предметами у фетишистовъ. Основной моментъ здѣсь — пониманіе; но и въ томъ и въ другомъ случаѣ пониманіе это имѣетъ характеръ наивный, антропопатическій. Различіе обоихъ случаевъ—чисто-количественное, отнюдь не качественное.

Подведя итогъ разсужденію, посредствомъ котораго были устранены (элиминированы) «сила» и «причинность», Авенаріусъ считаетъ нужнымъ замѣтить, что устранены онѣ были постольку, поскольку въ нихъ были открыты антропопатическія аперцепціи, а никакъ не въ отношеніи выражаемаго ими эмпирическаго отношенія между двумя и болѣе предметами. При-

чинность не перестанетъ означать непрерывность въ ходѣ всего совершающагося и въ этомъ значеніи находитъ для себя полное оправданіе.

Съ точки зрѣнія принципа наименьшей траты силъ причинность означаетъ соотношенія двухъ моментовъ, одинъ изъ которыхъ можетъ мыслиться какъ цѣль, а другой — какъ средство. На этомъ основаніи самый принципъ можно бы назвать «принципомъ наименьшей затраты средствъ», какъ-то и было уже сдѣлано Цѣльнеромъ.

«Сила» и «причинность» останутся, наконецъ, и какъ такія краткія формулы или сжатыя выраженія, безъ которыхъ пока еще нельзя обойтись.

Теперь предстоитъ изслѣдовать понятіе «субстанціи» и рѣшить вопросъ о томъ, въ какомъ смыслѣ она должна быть устранена и въ какомъ—сохранена.

Для удовлетворительнаго рѣшенія этого вопроса Авенаріусъ считаетъ нужнымъ предварительно бросить бѣглый взглядъ на соотношеніе между развитіемъ мышленія и развитіемъ языка.

Первоначальныя воспріятія, обозначаемыя нашею рѣчью,—говоритъ онъ,—содержатъ предметъ какъ сложное единство, многоразличіе котораго остается еще несознаннымъ. Все болѣе и болѣе развивающаяся у человѣка способность различенія разлагаетъ мало-по-малу, при сильномъ вліяніи развитія рѣчи, это первоначальное единство, но немедленно же вслѣдъ затѣмъ опять возстановляетъ его въ качествѣ новаго единства высшаго рода: различныя свойства и движенія предмета теперь уже различаются и при посредствѣ названій, относительно изолируемыхъ, вновь притягиваются къ первоначальной единицѣ (сохраненной опять-таки языкомъ), какъ къ своему подлежащему въ формѣ сказуемыхъ.

Такимъ образомъ, первоначальная цѣльная вещь противопоставляется ея же собственнымъ свойствамъ, а это отношеніе вслѣдъ затѣмъ, снова подъ вліяніемъ языка, является уже антропоморфизированнымъ, т.-е. вещь представляется уже дѣятельною, подвижною, обладающею и претерпѣвающею. Само собою разумѣется, что это новое понятіе захватываетъ не мало

элементовъ, противорѣчащихъ идеѣ чистаго опыта; но дальнѣйшее его развитіе не только не очищаетъ его отъ этой примѣси, но производитъ еще такія въ немъ перемѣны, которыя только осложняютъ и затрудняютъ задачу критической работы, которая рано или поздно должна наступить.

Значеніе понятія вещи, противопоставленной ея свойствамъ, явно измѣнчивымъ и преходящимъ, приподымаетъ значеніе вещи, остававшейся, какъ-то подтверждалось сохраненіемъ ея названія, неизмѣнною. «Вещь» становится все самостоятельнѣе и независимѣе и наступаетъ время, когда на нее начинаютъ смотрѣть какъ на существенное или дѣйствительно сущее, какъ на устой измѣнчивыхъ свойствъ и незыблемую основу этой ихъ измѣнчивости.

Отсюда до понятія субстанціи—одинъ шагъ. И какъ только устойчивость, неизмѣнность вещи была возведена до абсолютности, міръ распался на два класса существованій: на субстанціи дѣйствительныя, не уничтожаемыя и въ себѣ существующія, и акциденціи, которыя разсматривались какъ измѣнчивыя и не могущія существовать въ себѣ, т.-е. внѣ связи съ субстанціями.

Но что же такое субстанція? Ранѣе, чѣмъ мы дадимъ окончательный отвѣтъ на этотъ вопросъ,—говоритъ Авенаріусъ,—должно намъ разсмотрѣть еще одинъ моментъ въ развитіи этого понятія.

Если мы желаемъ констатировать какое-нибудь измѣненіе, то необходимымъ для того условіемъ является такое относительное постоянство измѣнившагося нѣчто, которое дало бы намъ возможность признавать его за прежнее при новомъ наблюденіи. Если условіе это не имѣетъ мѣста, то новое наблюденіе, встрѣчая полное измѣненіе прежде извѣстнаго намъ предмета, имѣетъ уже передъ собою нѣчто совершенное новое и не можетъ поэтому найти основаніе для констатированія происшедшаго измѣненія. Изъ этого видно, что воспріятіе измѣненія требуетъ отнесенія измѣняющагося къ неизмѣняющемуся, точно также какъ для воспріятія движенія, всегда равнозначущаго измѣненію, требуется отнесеніе его къ чему-либо неподвижному.

Когда развитіе языка сдѣлало возможнымъ противопоставленіе вещи ея собственнымъ свойствамъ, тогда стало возможнымъ относить измѣняемость свойства къ неизмѣняемости самой вещи и, слѣдовательно, констатировать фактъ измѣняемости. Такимъ образомъ, въ представленіи вещи былъ созданъ устойчивый пунктъ, по которому и устанавливалось представленіе о совершившихся измѣненіяхъ. Вмѣстѣ съ развитіемъ воспріимчивости къ этимъ измѣненіямъ росло пропорціонально и сознаніе устойчивости, приписываемой неизмѣняющемуся пункту, получившему названіе субстанціи. Когда измѣняемость стали считать абсолютною, тогда и устойчивость, неизмѣняемость субстанціи также получила абсолютное значеніе.

Итакъ,—говоритъ Авенаріусъ,—субстанція есть психологически-необходимое вспомогательное понятіе, служащее установленію представленія объ абсолютной измѣнчивости, точно также какъ понятіе вещи служитъ выработкѣ представленія объ измѣнчивости относительной. Изъ этого видно, что понятіе субстанціи не подлежитъ устраненію изъ сферы мышленія, но оно должно быть необходимо устранено, какъ соотвѣтствующее объективно-реальному нѣчто, въ дѣйствительности совсѣмъ не существующему.

Чтобы относительно опредѣлить значеніе понятія субстанціи въ мышленіи, Авенаріусъ ставитъ теперь вопросъ о томъ, какова роль субстанціи по отношенію къ пониманію.

Противоположность, въ которую была поставлена субстанція къ ея акциденціямъ, является двоякою: субстанція разсматривается какъ постоянное среди измѣненій и какъ основа всего отъ нея зависимаго. Въ смыслѣ постояннаго нѣчто субстанція является скорѣе какъ вспомогательное орудіе для установки представленія измѣняемости, нежели пособіемъ для пониманія этой измѣняемости. Значеніе ея для пониманія надо искать, слѣдовательно, не здѣсь.

Субстанція, какъ основа всего отъ нея зависимаго, есть продуктъ весьма продолжительнаго развитія,—развитія, совершавшагося въ смыслѣ ослабленія первоначальной, вполнѣ антропоморфической аперцепціи, постепенно поддававшейся вліянію

роста научнаго мышленія. Согласно смыслу только-что указанной аперцепціи, соотношенія между субстанціей и акциденціями установились сперва совершенно по образу и подобію отношеній между нашимъ «я» и его дѣйствіями. Понятія субстанціальности и причинности являются въ этомъ пунктѣ совершенно слитыми.

Это, порожденное наивною аперцепціей, наивное пониманіе еще живо и по настоящее время. Возникшее подъ вліяіемъ развитія рѣчи и рѣчью же сохраненное, пониманіе это стало привычнымъ. И теперь еще продолжаютъ за воспринимаемымъ «нѣчто» искать скрытое, какъ основу, которая проявляетъ себя въ этомъ воспринимаемомъ. И теперь еще держатся того мнѣнія, что, помимо скрытой отъ насъ субстанціи, ничто внѣ насъ существующее не можетъ быть понято. Все это показываетъ, до какой степени глубоко коренится въ мышленіи эта привычка и какъ легко еще и теперь принимать привычное за понятое.

Но какъ бы ни цѣнило современное мышленіе это привычкою усвоенное понятіе, все же таки дальнѣйшее развитіе научнаго мышленія должно будетъ, согласно принципу наименьшей траты силъ, мало-по-малу устранить его, такъ какъ понятіе субстанціи явно приноситъ болѣе вреда, чѣмъ пользы. Для подтвержденія этой мысли слѣдуетъ не упускать изъ вида главные моменты въ ходѣ новѣйшаго развитія соотношеній вещей къ ея свойствамъ.

Рано или поздно долженъ былъ наступить моментъ, когда пришлось уразумѣть, что предполагаемыя свойства вещей были ощущеніями воспринимающаго субъекта. Съ этого времени свойства вещей перестали считаться неотдѣлимою принадлежностью этихъ вещей; освободясь отъ первоначальной отъ нихъ зависимости, сами вещи были поставлены въ непосредственное отношеніе къ ощущающему субъекту. Вслѣдствіе этого образовалось различіе между вещью, какъ она представлялась субъекту, и вещью, какъ она была «въ себѣ» (an sich).

Это открытіе «вещи въ себѣ» оказало воздѣйствіе и на развитіе понятія субстанціи. Различеніе вещи «въ себѣ» и вещи «для насъ» основывалось на старинной аперцепціи, приписы-

вавшей вещамъ энергію, воздѣйствующую на другіе субъекты. Но тотъ же анализъ, который привелъ къ открытію «вещи въ себѣ», показалъ, что и энергія вещи была обусловлена апперцепціей, точно такъ же, какъ субстанція. Субстанція и ея энергія вслѣдствіе этого получили двойственное значеніе: во-первыхъ, какъ вещь въ себѣ и ея реальное воздѣйствіе на субъектъ и, во-вторыхъ, какъ субстанція и причинность въ чисто-субъективномъ смыслѣ. Когда же это двойственное существованіе породило сознаніе заключающагося въ немъ противорѣчія, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и невозможность разрѣшенія этого противорѣчія съ той же прежней точки зрѣнія, тогда образовалось убѣжденіе въ неразрѣшимости этого противорѣчія,—неразрѣшимости, основывающейся на самой природѣ человѣческаго мышленія.

Не слѣдуетъ забывать, однако же, что мышленіе наше не находится въ безусловной зависимости отъ нашей рѣчи. Съумѣвъ освободиться отъ этой пагубной зависимости, мы создадимъ возможность разрѣшенія и указаннаго противорѣчія. Намъ нужно только уразумѣть, что понятіе субстанціи коренится въ условіяхъ развитія языка, а не въ области, внѣ насъ существующей.

И въ настоящее время еще,—заканчивая свое разсужденіе, говоритъ Авенаріусъ,—томится философъ надъ задачею Данаидъ—п о з н а н і е м ъ объективной сущности «вещи въ себѣ», измѣряя при этомъ ея познаваемостью или, соотносительно, непознаваемостью границы своего познаванія. Громада духовной силы и добросовѣстной работы расточается на метафизическое опредѣленіе объективированнаго понятія,—на отысканіе аріадниной нити для выхода изъ лабиринта, существующаго только въ мысли самого ищущаго.

Предшествующія разсужденія показали, — говоритъ далѣе Авенаріусъ,—что понятіе субстанціи можетъ быть устранено изъ нашего міроразумѣнія и что существуетъ весьма большое вѣроятіе, что оно должно устраниться при нормальномъ ходѣ умственнаго развитія. Принимая все это во вниманіе, мы должны теперь считать его уже устраненнымъ. Затѣмъ остается только опредѣлить отношеніе движенія къ ощущенію и раз-

смотрѣть нѣкоторые второстепенные, соотносящіеся сюда, вопросы и такимъ образомъ исчерпать содержаніе и этой послѣдней части резюмированнаго нами изслѣдованія Авенаріуса. Выраженный самыми общими чертами, окончательный результатъ его заключается въ томъ, что все существующее мыслится по содержанію своему какъ ощущеніе, по формѣ— какъ движеніе. Авенаріусъ не говоритъ, что все существующее сводится къ ощущенію и движенію или, еще менѣе, есть ощущеніе и движеніе, но только что оно мыслится такимъ образомъ. Онъ остается вѣренъ поставленному имъ въ самомъ началѣ его сочиненія опредѣленію философіи, какъ мышленія о мірѣ, согласно принципу наименьшей траты силъ, и, охраняя себя отъ уклоненія въ метафизическія изысканія, не высказывается о существующемъ (о бытіи), а говоритъ только о томъ, какъ оно нами мыслится. По этой же причинѣ и вопросъ о сведеніи обоихъ выставленныхъ имъ понятій къ высшему единству одного всеобъемлющаго понятія онъ считаетъ метафизическимъ и оставляетъ открытымъ.

9. Іозефъ Петцольдтъ.

Мы сказали уже, что какъ ни близко подошелъ Авенаріусъ къ разрѣшенію нашего вопроса, но все же не ему, а Петцольдту принадлежитъ честь окончательнаго его рѣшенія. Поправка, вносимая Петцольдтомъ въ воззрѣнія Авенаріуса, относится не къ какой-либо частности или подробности этихъ воззрѣній, но имѣетъ общій, принципіальный характеръ. Намъ необходимо, поэтому, ознакомиться съ тезисомъ Петцольдта по возможности ближе.

Петцольдтъ начинаетъ съ сопоставленія принципа «наименьшей траты силъ» во всякой психической дѣятельности, съ Фехнеровымъ принципомъ «стремленія къ устойчивости» (Prinzip der Tendenz zur Stabilität), представляющимъ въ высшей степени плодотворное обобщеніе и углубленіе ученія Дарвина и раскрывающимъ въ извѣстной мѣрѣ основы всякаго развитія. Сравненіе этихъ двухъ принциповъ,—говоритъ Петцольдтъ,—должно показать, что они тождественны, а добытая такимъ образомъ болѣе общая точка зрѣнія должна бросить новый свѣтъ на значеніе понятія философіи.

Петцольдтъ находитъ, что выставленный Авенаріусомъ принципъ является и недостаточно обоснованнымъ, и недостаточно общимъ. Говоря о цѣлесообразности психическихъ функцій, Авенаріусъ только вскользь указываетъ на соотношеніе этой цѣлесообразности къ поддержанію индивида и намѣренно не развиваетъ дальше своихъ изъясненій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ только мимоходомъ упоминаетъ о приложимости принципа не только къ философіи, но и къ другимъ областямъ, не поддерживая эти указанія никакими объясненіями. Совсѣмъ иначе поступаетъ Фехнеръ: онъ, установляя свой широко охватывающій принципъ, достаточно опредѣленно выясняетъ его всеобщую приложимость. Согласно его взгляду, передаваемому здѣсь въ самомъ сжатомъ изложеніи, всякое движеніе, разсматривае-

мое отъ его возникновенія до окончанія, т.-е. до перехода двигавшихся элементовъ въ состояніе (относительной) устойчивости, есть развитіе. Развитіе можно разсматривать, слѣдовательно, какъ постепенное устраненіе преградъ и всякаго состязанія вообще, или, формулируя точнѣе, всякое развитіе есть результатъ состязающихся между собою стремленій, а результатъ самого развитія есть (относительная) устойчивость. Всѣ эти тезисы имѣютъ чисто-отвлеченный характеръ; высказывая ихъ, мы отвлекаемся отъ всякаго конкретнаго представленія захватываемыхъ развитіемъ элементовъ. Мы имѣемъ въ виду только отношеніе между элементами, поэтому и говоримъ лишь о препятствіяхъ и ихъ устраненіи, о движеніи и устойчивости элементовъ. Очевидно, однако же, что тезисъ этотъ можетъ одинаково относиться и къ направленнымъ на какой бы то ни было предметъ желаніямъ, и къ устремленнымъ къ какимъ бы то ни было цѣлямъ побужденіямъ, и къ сосредоточеннымъ на какомъ бы то ни было вопросѣ научнымъ мнѣніямъ, и къ добивающимся какого бы то ни было результата политическимъ и соціальнымъ дѣйствіямъ, и т. д.

Если мы,—говоритъ далѣе Петцольдтъ,—замѣчаемъ во всѣхъ родахъ состязаній постоянное приближеніе къ устойчивому состоянію, то, само собою разумѣется, что для нашего опыта можетъ идти рѣчь только объ относительномъ постоянствѣ такой устойчивости. Не касаясь внѣшняго міра, приложеніе къ которому указываемаго здѣсь замѣчанія слишкомъ очевидно, и имѣя въ виду только міръ внутренній, надо будетъ признать, что всѣ психическія явленія, которыя можно счесть устойчивыми, всегда существуютъ только въ связи съ относительно-устойчивыми матеріальными состояніями. Условность устойчивости психическихъ состояній вытекаетъ отсюда сама собой. Послѣдніе остатки духовныхъ результатовъ дѣятельности человѣчества исчезнутъ, конечно, на нашей планетѣ вмѣстѣ съ прекращеніемъ человѣческаго рода. Если полный параллелизмъ движенія и ощущенія дѣйствительно существуетъ, то моменты наступленія безусловной устойчивости какъ психической, такъ и физической должны быть связаны между собою неразрывно. Что

же касается системъ условной устойчивости, то онѣ вступаютъ, какъ элементы, въ другія системы: наша солнечная система есть только часть другой, бо́льшей, составляющей, въ свою очередь, часть слѣдующей, и т. д.; организмы тоже образуютъ новыя устойчивыя состоянія (семейства, государства); науки, взаимно устраняя противорѣчія, имѣющія между ними мѣсто, находятъ свое единство въ философіи и т. д.

Петцольдтъ поясняетъ далѣе, что относительныя устойчивыя состоянія мы обыкновенно считаемъ цѣлями, а необходимыя для ихъ осуществленія силы разсматриваемъ какъ средства. Всякая система признается нами тѣмъ болѣе цѣлесообразною по своему строю, чѣмъ менѣе встрѣчаемъ мы возможностей къ разстройству какъ ея самой, такъ и отношеній ея къ внѣшнимъ силамъ, т.-е. чѣмъ исключительнѣе служатъ въ ней силы къ ея поддержанію. Полной цѣлесообразности въ природѣ мы не находимъ, а видимъ только въ нашей солнечной системѣ, напримѣръ, приближеніе къ ней. Изъ этого видно, что понятіе цѣлесообразности въ такой же мѣрѣ относительно, какъ и понятіе устойчивости. Мы мѣряемъ здѣсь человѣческою мѣрой. Умы, для которыхъ милліоны лѣтъ имѣли бы такое значеніе, какъ для насъ мгновеніе, усмотрѣли бы въ жизни земного шара столь же мало цѣлесообразности, сколько мы усматриваемъ ее въ мгновенномъ сверканіи молніи; тогда какъ обитатели капли воды переживаютъ мгновенія такъ, какъ мы десятилѣтія. Они, быть можетъ, въ теченіе времени, которое потребно для паденія капли съ облаковъ на землю, выполняютъ самое содержательное и цѣлесообразное существованіе. Замѣтимъ, что мы разматриваемъ какъ цѣль не исключительно только то, что̀ считается нами устойчивымъ, но можемъ усматривать цѣль и въ томъ, что̀, являясь скоропреходящимъ, служитъ, однако же, возникновенію или поддержанію чего-либо, способствующаго устойчивому состоянію. Такимъ образомъ, въ ряду причинъ и дѣйствій направляющихся къ устойчивому состоянію, каждый членъ можетъ разсматриваться какъ средство, по отношенію къ предыдущему моменту, и какъ цѣль, по отношенію къ моменту послѣдующему. Не совсѣмъ поверхностное мышленіе, все

же таки, принимаетъ за главную цѣль—цѣль конечную, т.-е. такое состояніе, которое можетъ сохранить относительно постоянную устойчивость.

Авенаріусъ указываетъ,—говоритъ далѣе Петцольдтъ,—на склонность людей къ систематизированію, какъ на ясное доказательство безсознательнаго приложенія принципа наименьшей траты силъ. Очевидно, однако же, что въ систематизированіи, также какъ и въ стремленіи къ установленію единства, можно видѣть проявленіе побужденія къ устойчивому состоянію, такъ какъ пока система не организована, пока единство не добыто, до тѣхъ поръ мы не можемъ еще считать «развитія» законченнымъ и цѣль его достигнутою. Сочтется же достигнутою цѣль эта тогда, когда наступитъ моментъ покоя, моментъ устойчивости,—тутъ и полученъ будетъ нами научный результатъ умственной работы или фактъ, вѣнчающій нашу практическую дѣятельность.

Полное, дружное приложеніе силъ для установленія устойчиваго состоянія заключается въ цѣлесообразномъ пользованіи ими. «Во всей природѣ,—заключаетъ Петцольдтъ эту часть своего разсужденія,—неизбѣжно царитъ стремленіе къ такому ими пользованію, царитъ принципъ стремленія къ устойчивости», принципъ наибольшей гармоніи. Этотъ принципъ и долженъ заключать въ себѣ то, что̀ выражено у Авенаріуса «принципомъ наименьшей траты силъ». Въ немъ слѣдуетъ видѣть не только основоположеніе психической жизни, какъ думаетъ Авенаріусъ, но и основоположеніе для всѣхъ естественныхъ явленій, поколику эти послѣднія являются процессами развитія и устойчивыми состояніями.

Продолжая изслѣдованіе принципа Авенаріуса, Петцольдтъ переходитъ къ разсмотрѣнію того истолкованія, которое предоставляетъ этому принципу самъ Авенаріусъ. На первыхъ же страницахъ его труда мы читаемъ, что «всякое рѣшеніе той или иной задачи придется счесть тѣмъ болѣе цѣлесообразнымъ, чѣмъ менѣе силъ будетъ при этомъ потрачено напрасно,—чѣмъ болѣе будетъ ихъ сохранено для другихъ дѣйствій; мы всегда почтемъ данную силу тѣмъ цѣлесообразнѣе приложенною, чѣмъ

значительнѣе будетъ полученный чрезъ ея посредство результатъ». Вторая часть этого положенія, по мнѣнію Петцольдта, останется до тѣхъ поръ лишенною всякаго уловимаго смысла, пока у насъ не будетъ масштаба, которымъ мы могли бы опредѣлить размѣръ получаемыхъ нами результатовъ. На самомъ дѣлѣ, всѣ наличныя потенціальныя или кинетическія силы производятъ въ каждый данный моментъ все то, что онѣ вообще произвести могутъ. Съ точки зрѣнія чистой механики, а, слѣдовательно, и съ точки зрѣнія чистой психо-физики, нельзя, притомъ же, и говорить о бо́льшемъ или меньшемъ результатѣ. Всѣ результаты показываютъ совокупность затраченныхъ силъ и, объективно, ни одинъ не имѣетъ преимущества передъ другимъ. Только субъективное, телеологическое сужденіе дѣлитъ ихъ на цѣлесообразныя и нецѣлесообразныя, на бо́льшія и меньшія, въ зависимости отъ того, много или мало способствуютъ онѣ установкѣ устойчиваго состоянія. На основаніи этихъ соображеній, намъ слѣдуетъ, въ видахъ бо́льшей точности, сформулировать тезисъ Авенаріуса такимъ образомъ: данная сила будетъ считаться приложенною тѣмъ цѣлесообразнѣе, чѣмъ значительнѣе окажется ея дѣйствіе для достиженія устойчиваго состоянія.

Слѣдуетъ еще не упускать изъ вида и того обстоятельства, что фактическое рѣшеніе всякой задачи неизбѣжно совершается всегда при наименьшей затратѣ силъ. Опредѣленно-ограниченный результатъ всегда является эквивалентомъ опредѣленнаго количества силъ, не болѣе. Когда предъявляется требованіе рѣшить какую-нибудь задачу наивозможно-меньшими средствами, то при этомъ не имѣютъ въ виду, конечно, чтобы требуемый результатъ явился выраженіемъ наименьшей суммы силъ, а стараются только, чтобы, кромѣ желаемаго результата, не были вовсе тратимы силы на полученіе другихъ, побочныхъ результатовъ. Въ этомъ смыслѣ только и можемъ мы принимать указаніе на наименьшую трату силъ въ тезисѣ Авенаріуса и только сообразно этому толкованію можемъ понимать и самый тезисъ.

Представивъ вслѣдъ затѣмъ короткое резюме извѣстнаго уже намъ приложенія принципа Авенаріуса къ мышленію во-

обще и философскимъ обобщеніямъ въ особенности, Петцольдтъ приступаетъ къ изложенію той поправки, которую, по его убѣжденію, необходимо внести въ воззрѣнія Авенаріуса. Поправка эта не имѣетъ въ виду расширенія понятія философіи, но только приданіе понятію ея бо̀льшей опредѣленности, вытекающей изъ положеній, установленныхъ самимъ же Авенаріусомъ, частью въ его книгѣ «Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Princip d. k. K.», частью въ статьѣ «Ueber die Stellung der Psychologie zur Philosophie», помѣщенной въ его же философскомъ журналѣ въ 1877 году.

Изъ двухъ задачъ теоретическаго мышленія: установленія (соотнос. усвоенія) системы понятій и приложенія ея къ внѣшнему и внутреннему міру, — интересуетъ насъ теперь только первая. И такъ какъ дѣло идетъ собственно объ опредѣленіи отношенія между философіей и отдѣльными науками, то мы, оставляя въ сторонѣ вопросъ о происхожденіи понятій, констатируемъ только, что всѣ науки стремятся, какъ къ идеалу, къ такому строю, который представлялъ бы замкнутую, послѣдовательную, свободную отъ противорѣчій, полную и общепризнанную систему; иначе говоря, всѣ науки стремятся къ устойчивому состоянію. Изъ этого видно, что, разсматривая задачу каждой науки въ отдѣльности, надо сказать, что задача эта заключается въ приложеніи принципа наименьшей траты силъ къ мышленію объ отдѣльныхъ частяхъ міра; сопоставляя же всѣхъ ихъ и предполагая ихъ законченными, намъ придется сказать, что сумма ихъ отвѣчаетъ мышленію о мірѣ, какъ цѣломъ, согласно нашему принципу. Авенаріусъ, какъ извѣстно, отвергаетъ осуществимость этого послѣдняго результата на томъ основаніи, что отдѣльныя науки не избираютъ всей совокупности существующаго предметомъ своихъ изслѣдованій и не могутъ поэтому выработать высшаго, абсолютно-всеобщаго понятія, охватывающаго все существующее, а устанавливаютъ только тѣ понятія, которыя имѣютъ значеніе высшихъ по отношенію къ спеціальнымъ областямъ изслѣдованія. Изъ этихъ общихъ, предварительно очищенныхъ спеціальными науками, понятій выдѣляетъ ужъ философія все то, что находитъ въ нихъ общаго.

Петцольдтъ возражаетъ противъ такого заключенія, указывая на отсутствіе какихъ бы то ни было рѣзко-очерченныхъ границъ между отдѣльными науками, какія предполагаются приведеннымъ выше взглядомъ Авенаріуса. Петцольдтъ утверждаетъ, что, напротивъ того, отдѣльныя науки, по свойству своихъ объектовъ, находятся неизбѣжно между собою во взаимодѣйствіи. Относительно наукъ естественныхъ признаетъ это взаимодѣйствіе и Авенаріусъ; но онъ не доводитъ разсужденія своего до конца. Нельзя не признать, что отдѣльныя науки принуждены, благодаря ихъ взаимодѣйствію, исправлять одна у другой важныя основныя положенія. Физикѣ и химіи приходится вырабатывать соглашеніе относительно понятія атомовъ. Подобная же взаимность существуетъ между геологіей и біологіей, физикой и физіологіей, физіологіей и психологіей, — вездѣ проявляются разнообразнѣйшія соотношенія, вездѣ объявляются настоятельныя требованія обоюднаго приспособленія посредствомъ устраненія противорѣчій, помѣхъ, излишествъ; вездѣ — стремленіе къ конечному устойчивому состоянію, — къ такому состоянію, въ которомъ могло бы найти покой теоретическое мышленіе. Если же мы предоставимъ спеціальнымъ наукамъ не только взаимно совершенствовать ихъ частныя понятія, но возложимъ еще на нихъ выработку и высшихъ понятій ихъ областей изслѣдованія, не признавая такой работы философскою, то почему бы не потребовать отъ нихъ установки и самаго высшаго общаго понятія, какъ увѣнчанія ими же самими воздвигнутаго зданія; зачѣмъ считать нужнымъ относить эту работу, качественно ничѣмъ не отличающуюся отъ предыдущей, къ какому-то особенному, не естественно-научному, а философскому мышленію? Вѣдь, допускаетъ же самъ Авенаріусъ, что психологія, находившаяся прежде въ полной зависимости отъ философіи, пріобрѣла въ настоящее время полную самостоятельность, отнявъ у философіи существенную часть ея задачи. Эта часть заключается, однако же, не менѣе какъ въ самомъ основномъ ея понятіи, томъ понятіи, которымъ охватывается все существующее. Если, по Авенаріусу, результатомъ психологическаго изслѣдованія слѣдуетъ считать положеніе, что мы мыслимъ

міръ матеріально—какъ ощущеніе, формально—какъ движеніе, то, вѣдь, это положеніе и составляетъ содержаніе философіи.

Петцольдтъ не находитъ нужнымъ входить въ разсмотрѣніе вопроса о томъ, слѣдуетъ-ли признать результатъ этотъ правильнымъ, или ожидать новыхъ изслѣдованій, могущихъ дать новый укладъ мышленію о мірѣ, или, наконецъ, остановиться на той мысли, что въ настоящее время не существуетъ еще возможности принять какой-либо законченный взглядъ, — онъ имѣетъ въ виду только указаніе на необходимость не только ожидать отъ спеціальныхъ наукъ, но и требовать отъ нихъ или одного абсолютно-общаго, или, если потребуется, нѣсколькихъ абсолютно-общихъ понятій *). Въ выработкѣ такого именно понятія или такихъ понятій и слѣдуетъ видѣть, какъ то всегда и было, задачу философіи.

Но философское мышленіе,—продолжаетъ далѣе Петцольдъ,—характеризуется не однимъ тѣмъ, что оно направлено только на общую совокупность существующаго, хотя черта эта, какъ показалъ Авенаріусъ, и существенна, но еще и въ томъ, что оно стремится отнестись, по возможности, непредубѣжденно къ даннымъ отдѣльнымъ явленіямъ и связываетъ это стремленіе съ своимъ взглядомъ на цѣлое. Эта сторона мышленія, какъ справедливо указалъ уже Махъ, и придаетъ воззрѣніямъ собственно философскій характеръ; она присуща всякому великому философу. Философія не принадлежитъ къ числу отдѣльныхъ наукъ: ни по особенности своего содержанія, ни по особливости того общаго понятія, которое могло бы отрознить ее отъ совокупности спеціальныхъ дисциплинъ; она заключается исключительно въ томъ всеохватывающемъ, непредубѣжденномъ мышленіи, которое всѣ отдѣльныя части цѣлаго связываетъ живыми отношеніями и такимъ образомъ создаетъ для себя по отношенію къ явленіямъ спокойную обезпеченность. Между истинною наукой и истинною философіей противорѣчія не существуетъ. Для дѣйствительно плодо-

*) О закономѣрности пользованія терминомъ абсолютный см. наши Этюды и очерки, стр. 327 и слѣд.

творной и сознательной работы обѣ должны идти непремѣнно рука объ руку: философъ, наблюдающій за общимъ направленіемъ подвигающейся впередъ работы человѣческой мысли, долженъ непосредственнымъ вмѣшательствомъ въ спеціальные труды исправлять ихъ; а спеціалистъ не долженъ терять изъ вида общаго направленія, для того, чтобы всегда понимать свое положеніе и не намѣчать такихъ «научныхъ результатовъ», которые въ высшей степени безразличны для цѣлаго и способны только возбуждать у проницательныхъ наблюдателей сожалѣніе о напрасно растраченныхъ силахъ. Спеціалистъ, ничего не вѣдающій о великомъ пути всей вообще науки, подобенъ отдѣльному солдату въ арміи, который хотя и работаетъ для однѣхъ съ нею цѣлей, но остается въ невѣдѣніи о нихъ, а потому легко можетъ преувеличить значеніе своихъ дѣйствій или умалить значеніе дѣятельности другихъ; онъ идетъ безсознательно, а потому не свободно; онъ — орудіе развивающагося дѣла; если его не поведутъ другіе, онъ, всего вѣроятнѣе, направится скорѣе по ложному, нежели по вѣрному пути.

Подходя къ концу своего разсужденія, Петцольдтъ ставитъ вопросъ: какъ далеко можетъ идти философское мышленіе, не теряя права на это названіе? Изъ предыдущаго видно, — говоритъ онъ, отвѣчая на этотъ вопросъ,—что предѣлы тутъ могутъ быть поставлены одними только индивидуальными дарованіями, вообще же установить предѣлы эти нельзя. По Авенаріусу, искать ихъ надо тамъ, гдѣ оканчивается пониманіе природы или вообще пониманіе. Всякая наука вынуждена остановиться на какихъ-нибудь фактахъ, не разлагающихся на болѣе простые, и пренебречь всякимъ трансцендентнымъ объясненіемъ: факты эти, образуя «чистый опытъ», указываютъ на одну границу пониманія, тогда какъ двѣ другія границы находятся въ сторонѣ абсолютно-простого и абсолютно-общаго понятія (или понятій, если сведеніе ихъ къ единству окажется несущественнымъ). Въ этихъ границахъ и совершается систематизированіе понятій, привносимыхъ спеціальными науками,—понятій, которыя ранѣе того имѣли свой собственный, весьма, притомъ, высокій интересъ, но которыя теперь получаютъ интересъ соб-

ственно-философскій. Ясное расчлененіе и гармоническая законченность созидаемаго цѣлаго не должны быть теряемы изъ вида тѣми, которые слѣдятъ за его устроеніемъ. Это цѣлое, эта система имѣютъ для мышленія нашего громадное значеніе, такъ какъ завершеніе ихъ и есть достиженіе настоящей цѣли теоретическаго мышленія — устойчиваго состоянія. Философія всегда много хлопотала объ упрежденіи этого устойчиваго состоянія, хотя попытки ея удавались и рѣдко. Выработка общаго понятія не есть дѣло специфически-философской умственной дѣятельности: это — дѣло общей совокупной работы спеціальныхъ наукъ. То, что Авенаріусъ называетъ «укладомъ философіи», находится въ полной зависимости отъ развитія отдѣльныхъ наукъ. Нѣтъ такой отдѣльной науки—«философіи», которая обладала бы средствами для выработки въ основныхъ чертахъ законченнаго міровоззрѣнія безъ помощи наукъ о природѣ и при посредствѣ предвосхищенія ихъ результатовъ. Мышленіе окажется запечатлѣннымъ философскимъ характеромъ только тогда, когда единичное будетъ охватываться взглядомъ, устремленнымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и на цѣлое, и когда представленіе цѣлаго въ свою очередь будетъ привлечено для разсматриванія единичнаго.

Такъ оканчиваетъ Петцольдтъ свое критико-философское изслѣдованіе, и вмѣстѣ съ нимъ оканчивается и наше изложеніе воззрѣній того ряда мыслителей, на которыхъ мы остановились, какъ на представителяхъ послѣдней эволюціи научно-философской мысли. Намъ остается теперь сказать еще только нѣсколько заключительныхъ словъ.

ГЛАВА V.

Заключеніе.

Читатель, имѣвшій терпѣніе прослѣдить за нашими разысканіями до конца, могъ убѣдиться, конечно, что искомый отвѣтъ найденъ. Отвѣтъ этотъ представляетъ не плодъ мечтательности какого-нибудь уединеннаго философа, а послѣднее, заключительное звено умственной работы цѣлаго ряда мыслителей,—завершеніе сложной философской эволюціи, въ которой желанія, вкусы, настроенія и тенденціи отдѣльныхъ личностей оказываются совершенно поглощенными общимъ направленіемъ мысли, постепенно подвигавшейся по точно-опредѣленному руслу научнаго изслѣдованія. Оригинальность принадлежитъ тутъ не отдѣльно взятому звену, не индивидуальному творчеству, а всей эволюціи, всему ряду усилій коллективной мысли добиться общаго результата научной работы нашего вѣка и выразить его съ тою ясностью и опредѣленностью, которыя разъ навсегда отдѣлили бы его рѣзкою чертой отъ всякаго попятнаго движенія или безсознательной остановки, принимаемой за движеніе поступательное.

Уже Риль выяснилъ, что только поэтическія произведенія руководятся единствомъ какой-нибудь идеи и выполняются одною какою-нибудь личностью, тогда какъ дѣло науки—результатъ общей, связной работы многихъ. Одинъ изъ нашихъ профессоровъ, именно покойный Милославскій, хотя и ме-

тафизикъ въ душѣ, не могъ не замѣтить, однако же, что развитіе научно-философскихъ идей мало связывается съ именами и личностями, «такъ какъ самая наука не есть исключительное произведеніе и достояніе какой-нибудь одной головы, и не одинъ открываетъ законы природы и строитъ научныя обобщенія. Какой-нибудь абсолютный философскій принципъ не могъ быть придуманъ или найденъ десятерыми заразъ, и прежнія философскія системы съ начала до конца создавалъ какой-нибудь одинъ умъ и становился центромъ, главою, учителемъ своего оригинальнаго философскаго мышленія. Напротивъ, современныя научныя умозрѣнія вырабатываются и развиваются цѣлыми массами ученыхъ и не замыкаются въ школѣ какого-нибудь именитаго философа». «Философія, въ смыслѣ какой-нибудь исключительной системы, отождествленной съ метафизикой, находится въ упадкѣ и, по распространенному мнѣнію, вся безъ остатка сдается въ архивъ, а на дѣлѣ, которое отъ мнѣнія и воли людей зависитъ мало, во всѣхъ просвѣщенныхъ странахъ и особенно въ Германіи выражается настойчивая потребность въ философіи» *).

Таковы характеристическія черты того пути, съ которымъ мы только-что ознакомились. Оглянемся назадъ и отдадимъ себѣ отчетъ въ его истинномъ значеніи.

Припомнимъ прежде всего, что еще ранѣе, чѣмъ мы приступили къ отчету о работахъ, давшихъ окончательный отвѣтъ на поставленный нами вопросъ, намъ пришлось распознаться среди тѣхъ продуктовъ философской мысли, которые вообще являются въ настоящее время подъ именемъ позитивной или научной философіи. Устранивъ изъ сферы нашего разсмотрѣнія Контовскій позитивизмъ и всѣ его развѣтвленія, а также и «научную философію», вдохновляющуюся «синтетическою системой» Спенсера, мы рѣшили прослѣдить только за тѣмъ направленіемъ научной мысли, которое примыкаетъ къ философскому критицизму въ широкомъ значеніи этого термина. Имѣя въ виду представите-

*) П. Милославскій. «Типы современной философіи въ Германіи», стр. 280—281.

лей этого направленія въ Англіи и Германіи, мы сосредоточили, главнымъ образомъ, наше вниманіе надъ научно-философскою школой, имѣющею значительную группу представителей въ послѣдней изъ этихъ странъ, и намѣтили ихъ, какъ такихъ, которые могутъ дать намъ «самое опредѣленное, полное и ясное рѣшеніе нашего основного вопроса».

Ознакомивъ читателей съ главнѣйшими моментами развитія научно-философской мысли, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, дали и ту точку зрѣнія, съ которой всѣ отмѣченныя нами явленія располагаются въ извѣстной перспективѣ. Намъ представляется поэтому совершенно излишнимъ останавливаться теперь надъ попытками смѣшенія моментовъ, характеризующихъ эволюцію, съ тѣми, которые соотвѣтствуютъ устойчивому состоянію. Проведенію различія, о которомъ идетъ рѣчь, посвящено такъ много мѣста въ нашей работѣ, что для не понимающихъ или не желающихъ понять насъ мы ничего уже прибавлять не станемъ.

Мы сказали во «введеніи», что установленіе теоріи познанія, какъ отдѣльной самостоятельной науки, отняло у философіи стараго типа ея послѣднее достояніе и лишило крова и пріюта всѣ пустыя безсодержательныя понятія и что такимъ образомъ положеніе философіи, какъ отдѣльной науки, потеряло почву. Подъ вліяніемъ этого факта сталъ вырабатываться тотъ взглядъ на общее значеніе философіи, который является заключительнымъ звеномъ разсмотрѣнной нами эволюціи: философія стала такимъ знаніемъ дѣйствительности, при которомъ представленіе цѣлаго привлекается для изученія единичнаго, а единичное охватывается взглядомъ, устремленнымъ на цѣлое.

Итакъ, саморазложеніе философіи стараго типа и, параллельно этому саморазложенію, совершившійся разростъ положительнаго знанія самобытно привели къ принципіальному рѣшенію поставленнаго нами вопроса. Рѣшеніе это со всѣми его мотивами, доводами и разъясненіями открыто предлежитъ теперь разсмотрѣнію и изученію всякаго, привлекаемаго къ тому такими или иными побужденіями; но это не значитъ еще, что бы метафизика перестала существовать и фактически, что бы всѣ

поклонники ея внезапно прозрѣли ея несостоятельность и оцѣнили значеніе новой истины. Ничего такого, само собою разумѣется, произойти не можетъ; метафизика осталась, какъ переживаніе, и въ силу реакціи должна была даже проявить не стимулированный ранѣе запасъ энергіи и дать новый распространяющій своего рода благоуханіе пустоцвѣтъ. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда «неутолимая жажда познанія» является предметомъ гордости, внушающей мысль о возвышенности присущихъ личности стремленій; когда жизнь, съ ея такъ часто идущей въ разрѣзъ съ личными хотѣніями и пареніями фантазіи суровою дѣйствительностью, представляется грубою и низменною; когда просторная и податливая область творчества, въ противоположеніи съ житейскою юдолью, выставляется какъ превыспренній міръ идей и неизреченныхъ созерцаній и во многихъ другихъ, подобныхъ, — метафизика остается и навсегда останется убѣжищемъ неизмѣннаго и сладостнаго успокоенія. Поэтическія души, импульсивныя натуры, волнуемыя побужденіями, подвергать которыя анализу имъ не подъ силу, не перестаютъ и не перестанутъ возвращаться къ самымъ разнообразнымъ формамъ отжитаго, какъ къ залогу блаженства, опирающемуся на опытъ вѣковъ. Всегда найдутся усердные Лаваны, которые ради этой цѣли станутъ ревностно рыться въ хламѣ, спѣшно и страстно разыскивая тѣ кумиры, которые они привыкли считать священными; — найдутся лукавыя Рахили, которыя охотнѣе солгутъ, нежели допустятъ потерю права на обладаніе этими источниками благополучія. Вокругъ этихъ персонажей всегда наберутся своего рода статисты—тщеславное и лицемѣрное ничтожество, которые постараются произвести вокругъ себя побольше шуму и пойдутъ на все, лишь бы получить возможность казаться чѣмъ-нибудь. Громкихъ фразъ, искусственной тьмы и напускной восторженности всегда будетъ, конечно, не менѣе, чѣмъ сколько ихъ имѣется въ обращеніи и въ настоящее время, и метафизика не одинъ еще разъ, конечно, переживетъ такую эпоху, когда «со всевластнымъ произволомъ и нескрываемымъ пренебреженіемъ станутъ трактовать результаты научнаго изслѣдованія, станутъ извращать и коверкать ихъ до тѣхъ поръ,

пока они не подойдутъ подъ требованія «системы», или просто на просто пренебрегутъ ими и скажутъ, что они упразднены».

Такъ живетъ и цвѣтетъ метафизика, а между тѣмъ идетъ своимъ чередомъ и жизнь положительнаго знанія, въ средѣ представителей котораго, само собою разумѣется, растетъ и крѣпнетъ сознаніе своей силы и, соотносительно, растетъ отрицательное отношеніе къ созерцанію. Все это, съ извѣстной точки зрѣнія, представляется «фанатизмомъ трезвомыслія» и «метафизиконенавистничествомъ», совершенно не соотвѣтствующимъ пытливости духа и ничуть нежелательнымъ *). Намъ, однако же, трезвомысліе это и это отвращеніе къ празднословію особенно интересно, и мы съ большимъ удовольствіемъ теперь къ нимъ опять возвращаемся.

Здѣсь на первомъ планѣ слѣдуетъ поставить тотъ «методъ элиминаціи», который былъ охарактеризованъ ранѣе. Авенаріусъ, какъ мы уже знаемъ, былъ первымъ, заговорившимъ о немъ и выработавшемъ при его помощи понятіе «чистаго опыта». Сопоставляя съ положеніями Авенаріуса взгляды писателей, охарактеризованныхъ нами выше, мы можемъ констатировать, что и всѣ они, несомнѣнно, шли къ «чистому опыту» тоже путемъ «элиминаціи» и что такъ двигалось дѣло съ самаго родоначальника научнаго направленія въ философіи—Давида Юма.

Первою характеристическою чертою эволюціи, о которой мы теперь говоримъ, является, такимъ образомъ, «поворотъ къ Юму», поглощающій собою тотъ «поворотъ къ Канту», о которомъ говорено было выше. Логическая необходимость «поворота къ Юму», вытекающая сама собою изъ всего того умственнаго движенія, которое мы старались намѣтить въ его главныхъ очертаніяхъ, была недавно констатирована и съ другой точки зрѣнія. «Въ настоящее время,—говорилъ Максъ Рунце въ 1885 году,—въ силу послѣдовательности назрѣваетъ убѣжденіе, что для правильной оцѣнки Канта и Кантовскаго движенія необ-

*) См. «Ueber die gegenwärtige Lage der deutschen Philosophie». Akademische Antrittsrede gehalten von Dr. Richard Falkenberg. Leipzig. 1890. S. 11.

ходимо воротиться къ Юму. Что до меня касается, я считаю именно Юма основателемъ теоріи познанія и, вообще говоря, исходнымъ пунктомъ научной философіи *).

Указаніе на Юма, какъ на личность, занимающую такое высокое историческое положеніе, необходимо требуетъ опредѣленія относительнаго его значенія для каждаго изъ послѣдующихъ періодовъ развитія научной философіи и намѣчаетъ характеръ той критической оцѣнки, съ которою слѣдуетъ подходить къ нему въ настоящее время. Вполнѣ правильно будетъ поэтому всегда помнить и по отношенію къ Юму то замѣчаніе, которое было сдѣлано однимъ изъ изслѣдователей періода, ему предшествовавшаго, а именно, что «Юмъ, какъ представитель своей эпохи, могъ отвѣчать только на возраженія, предъявленныя его современниками, и если мы теперь можемъ ставить ему новыя, то этимъ мы никому другому, какъ ему, и обязаны». Настаивать на недостаточности Юма для настоящаго времени—не великое дѣло, какъ вѣрно замѣтилъ Сиджвикъ; но нелѣпо твердить, будто научный методъ несостоятеленъ, потому что остается еще сдѣлать кое-что для его усовершенствованія, какъ то замѣтилъ Клиффордъ **). Поворотъ къ Юму означаетъ поэтому не возстановленіе всей совокупности Юмовыхъ положеній, а только возстановленіе направленія и духа Юмовой философіи. Дешевые лавры легкаго торжества надъ Юмомъ нисколько не обезпечиваютъ поэтому торжества надъ тѣмъ направленіемъ, въ исходномъ пунктѣ котораго мы видимъ Юма. Замѣтимъ при этомъ, однако же, что такое историческое положеніе Юма вполнѣ указываетъ на его высокое значеніе для современной философіи и въ достаточной мѣрѣ оправдываетъ то вниманіе, которое онъ въ настоящее время все болѣе и болѣе къ себѣ привлекаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ Юмѣ мы видимъ великій свѣточъ, озаряющій путь цѣлаго ряда поколѣній,

*) Мнѣніе это высказано при преніяхъ о тезисахъ Штукенберга въ Берлинскомъ философскомъ обществѣ 28 февраля 1885 г. (См. «Grundprobleme in Hume». Vortrag von Prof. J. H. W. Stuckenberg nebst der dabei stattgehalten Discussion. Halle a. S. 1887).

**) «Lectures and Essays» by the late W. K. Clifford. London, 1886, p. 34.

чтимъ разумъ свѣтлый, плодотворный, геніальный, отличающій «мудреца въ полномъ значеніи слова» *).

Мы видѣли, какъ шла далѣе работа, начало которой было положено Юмомъ. Если мы припомнимъ теперь приведенныя выше характеристическія черты ея и примемъ во вниманіе, что выработка принципа коррелативизма была тою почвою, на которой Лаасъ прочно утвердилъ элиминаціонной методъ, хотя еще и не называемый, но обозначенный уже весьма опредѣленно въ анализѣ, устраняющемъ математизированіе, раціонализированіе и спиритуализированіе мышленія и предостерегающемъ отъ стремленія къ постиженію сущностей, раскрытію абсолюта и т. п., то уяснимъ себѣ вполнѣ связь этого принципа съ понятіемъ «чистаго опыта». Если же вмѣстѣ съ тѣмъ мы не упустимъ изъ виду, что потребность очищенія мышленія, обусловливающая «методъ элиминаціи», предполагаетъ приложеніе принципа «наименьшей траты силъ», — принципа, плодотворно приложимаго только при сведеніи количества элементовъ всякаго даннаго ряда къ минимуму, то ясно представимъ себѣ, какимъ образомъ

*) A. Riehl o. c. I, S. 71. Иначе смотритъ на Юма г. Козловъ. Говоря объ «очищеніи» Юмомъ философіи отъ метафизики, г. Козловъ старается насъ увѣрить, что Юмъ «поступилъ съ философіей какъ Крыловскій крестьянинъ, чистившій червонецъ пескомъ, дресвой и мѣломъ; червонецъ сталъ чистъ и блестящъ, какъ жаръ, но вмѣстѣ съ тѣмъ потерялъ прежній вѣсъ и цѣну». Г. Козловъ ставитъ себя, такимъ образомъ, въ то самое положеніе, въ которомъ стоитъ къ крестьянину Крыловъ, считающій этого крестьянина, по безпредѣльному благодушію своему, только «простакомъ». Выходитъ что Юмъ—простакъ, не то, что г. Козловъ, а кто такіе всѣ эти Милли, Лаасы, Аевнаріусы—и говорить ужъ нечего. Если мы припомнимъ, что всѣ они продолжали чистить ужъ обезцѣненный Юмомъ червонецъ, то едва-ли сможемъ угадать тѣ эпитеты, которыми наградитъ ихъ г. Козловъ, когда возмутительный фактъ этотъ дойдетъ до его свѣдѣнія. Или, быть можетъ, совершаемое г. Козловымъ попятное движеніе настолько увлечетъ его въ глубь вѣковъ, что «голосъ» нашихъ злосчастныхъ философовъ никогда не достигнетъ его слуха. Когда бъ то! По крайней мѣрѣ, идеи этихъ «истинныхъ мыслителей» не подвергнутся тому передергиванію, котораго, подъ перомъ г. Козлова, не избѣгъ, какъ то было доказано критикомъ компетентнымъ и къ г. Козлову снисходительнымъ, и самъ Юмъ.

принципъ этотъ обусловливаетъ устойчивое состояніе элементовъ даннаго ряда и указываетъ на миноваціе надобности въ новой затратѣ силъ. Приводя на память отдѣльныя положенія, выработанныя тѣми мыслителями, о которыхъ говорено было выше, намъ придется признать, что эти положенія въ такой же мѣрѣ отвѣчаютъ принципу коррелативизма, какъ и элиминаціонному методу. Въ самомъ дѣлѣ, различеніе знанія отъ пониманія, отверженіе объективированія понятій, выдѣленіе чисто-субъективнаго элемента понятій и стремленія къ установленію знанія въ объективномъ его значеніи, вполнѣ отвѣчаютъ тѣмъ стадіямъ эволюціи, которая въ концѣ-концовъ приводитъ къ послѣднему выводу элиминаціоннаго метода, формулированному въ предшествовавшей главѣ. Далѣе, въ извѣстныхъ намъ тезисахъ Лааса, какъ было только-что замѣчено, въ идеяхъ Риля, такъ ярко выставляющаго отрицательное отношеніе къ метафизическимъ измышленіямъ, не устранимымъ безъ критики понятій, точно также очень ярко обнаруживается работа того же характера. У всѣхъ этихъ мыслителей, очевидно, идетъ разработка метода элиминаціи и, несомнѣнно, подготовляется отрицательное отношеніе къ признанію философіи отдѣльною наукой: у однихъ философія всецѣло сводится къ теоріи познанія, у другихъ она является какъ синтезъ наукъ; нигдѣ нѣтъ яснаго обозначенія обособленности ея предмета и метода. Многое, правда, остается еще неполнымъ, недосказаннымъ, половинчатымъ; происходитъ это вслѣдствіе нѣкоторыхъ заимствованій у метафизики — у однихъ, скрытому тяготѣнію къ идеализму—у другихъ *), или отъ неправильной гносеологической оцѣнки результатовъ научнаго метода, или отъ ошибочнаго взгляда на объемъ ихъ охвата. Читатель, прослѣдившій за нашимъ изложеніемъ, замѣтилъ, конечно, какъ ошибки и недомолвки однихъ исправляются и пополняются другими, и оцѣнилъ, вѣроятно, важность коллективной выработки понятій **). Мы знаемъ уже, что элиминаціон-

*) У Гёфдинга, по его собственному признанію. См. «Archiv für Geschichte der Philosophie». Band II, Heft 1, S. 74.

**) Мы имѣемъ въ виду ошибки и недомолвки чисто-философскаго характера, такъ какъ умолчаніе объ ошибкахъ историческихъ, къ числу

ный методъ получаетъ полное раскрытіе у Авенаріуса, но нельзя не признать, что въ установленіи принципа экономизаціи силъ у Фольца и Маха мы встрѣчаемъ уже весьма послѣдовательное и широкое приложеніе этого метода. Въ борьбѣ противъ раціонализированія опыта, въ отстаиваніи первенствующаго значенія фактовъ, въ твердомъ проведеніи взгляда на познаваніе, какъ на процессъ приспособленія мысли къ дѣйствительности, а также и многихъ другихъ положеніяхъ, развиваемыхъ этими двумя писателями, мы видимъ уже начало установленія понятія «чистаго опыта», получающаго окончательную выработку у Авенаріуса. У Авенаріуса же впервые высказывается, наконецъ, мысль, что между философіей и наукой можно установить только условное или даже произвольное различіе, что философія перестаетъ быть наукой въ обычномъ значеніи этого слова и остается только какъ философское, на единство предмета изученія направленное мышленіе. Но за всѣмъ тѣмъ все еще встрѣчаемъ здѣсь разсужденіе объ укладѣ философіи; тѣнь отдѣльной науки еще продолжаетъ мелькать и какъ бы ищетъ себѣ точки опоры. Нужно еще одно, послѣднее усиліе—и призракъ этотъ, наконецъ, исчезаетъ безповоротно. Петцольдтъ договариваетъ мысль Авенаріуса до конца, онъ подводитъ принципъ наименьшей траты силъ подъ болѣе общее понятіе развитія или эволюціи, показываетъ, что наименьшая трата силъ есть только форма состязанія конкуррирующихъ элементовъ и выясняетъ значеніе заключительнаго момента эволюціи — устойчиваго состоянія. Съ этой точки зрѣнія философія, какъ отдѣльная наука, теряетъ свой raison d'être. Выдѣлить ее, какъ самостоятельный элементъ, играющій свою опредѣленную роль въ процессѣ эволюціи, становится невозможнымъ потому, что такое выдѣленіе было бы и предвосхищеніемъ результата эволютивнаго процесса, и смѣшеніемъ средствъ съ цѣлью—состязанія и устойчивости. Признаніе ея отдѣльною наукой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, выразительницей

каковыхъ можно отнести, напримѣръ, сведеніе Риломъ в с е й греческой науки къ метафизикѣ, или педагогическихъ, встрѣчающихся у Гёринга и Лааса, не имѣетъ для насъ ровно никакого значенія.

устойчиваго состоянія всѣхъ элементовъ, принимавшихъ участіе въ эволюціи, дѣлается немыслимымъ, такъ какъ такое признаніе грѣшило бы внутреннимъ противорѣчіемъ и, все же-таки, не могло бы создать для философіи какое бы то ни было содержаніе, способное отрознить ее отъ общей совокупности спеціальныхъ дисциплинъ. Философія, такимъ образомъ, перестаетъ быть отдѣльною наукой; она выходитъ изъ того ложнаго положенія, которое создавало ей столько недоразумѣній и являлось источникомъ столькихъ, какъ сказалъ бы Лаасъ, конвульсивныхъ измышленій. Истинное ея значеніе—быть мѣрою высоты научнаго отвлеченія, показательницей ширн научнаго обобщенія, выразительницей характера науки, проявляющемся въ охватываніи единичнаго взглядомъ, устремленнымъ на цѣлое, и привлеченіи представленія цѣлаго для разсматриванія единичнаго. Ничего болѣе нельзя требовать отъ науки и ея философіи. Нельзя не согласиться поэтому съ Авенаріусомъ, что терминъ «научная философія» слѣдуетъ считать плеоназмомъ, оправдываемымъ только тѣмъ обстоятельствомъ, что истинное понятіе философіи остается и до сихъ поръ невыясненнымъ. Научную философію все еще представляютъ себѣ однимъ изъ направленій отдѣльной науки—философіи—и не хотятъ видѣть въ ней упраздненіе всѣхъ этихъ направленій, устраненіе этой мнимой философіи и замѣну всевозможныхъ созерцаній и мечтаній положительными результатами наукъ. Нашелся даже «проницательный» философъ, который въ терминѣ «научная философія» усмотрѣлъ «рекламный характеръ»: но философъ этотъ и самъ не понималъ, конечно, что̀ прорицалъ. Ужели называть общій результатъ всѣхъ наукъ научнымъ менѣе основательно, чѣмъ выдавать лицемѣріе и празднословіе за философію?

Всякій, кто вникнетъ въ разсматриваемый нами вопросъ, убѣдится, конечно, что какое бы то ни было рѣшеніе, уклоняющееся отъ указываемаго нами, не можетъ не быть искусственнымъ и химеричнымъ. Уже столько разъ было толкуемо и повторяемо, что древняя наука—философія вовсе не осталась такою, какою она была тогда, когда отдѣльныя науки находились еще въ зачаточной степени развитія и не могли и меч-

тать о самостоятельности. Въ теченіе долгаго времени философія выдѣляла изъ своихъ нѣдръ одну науку за другою, пока, наконецъ, все содержаніе стало исчерпываться психологіей и тѣсно примыкающей къ ней теоріей познанія. Память объ этомъ времени и до сихъ поръ еще держится у тѣхъ, которые отождествляютъ философію съ названными науками и въ особенности съ послѣдней, но въ наши дни нельзя не считать уже безповоротно миновавшимъ то доброе старое время, когда основныя и руководящія идеи психологіи созидались внѣ вліянія наблюденія и опыта и затѣмъ совсѣмъ готовыми поступали въ вѣдѣніе науки о душѣ, которая и принимала ихъ какъ научныя истины. Теперь миражъ этотъ окончился, и поборникамъ отдѣльной науки—философіи только и осталось, что навязывать этой наукѣ содержаніе всей совокупности спеціальныхъ наукъ. Намъ незачѣмъ говорить еще и еще разъ, что такая комбинація ничѣмъ не можетъ искупить своей явной призрачности.

Смѣшеніе философіи съ теоріей познанія, встрѣчаемое, какъ намъ извѣстно, и въ современной литературѣ, ведетъ, какъ то показываютъ многіе примѣры, къ сооруженію изъ теоріи познанія послѣдняго убѣжища для философіи, растерявшей все свое содержаніе. Такой исходъ можно считать для философіи общимъ мѣстомъ; но мы имѣемъ въ виду указать теперь на одно исключеніе, интересное для насъ потому, что оно принадлежитъ нашей литературѣ и является поучительнымъ прецедентомъ того рѣшенія нашего вопроса, которому посвящена наша настоящая работа. Мы имѣемъ въ виду статью г. А. Слѣпцова (Гдѣ искать основаніе здравой педагогикѣ?), помѣщенную въ Современномъ Обозрѣніи, издававшемся Н. Л. Тибленомъ въ 1868 году. Въ этой превосходной статьѣ рѣшеніе нашего вопроса было бы предвосхищено за двадцать слишкомъ лѣтъ тому назадъ, если бы только указанное выше смѣшеніе не воспрепятствовало правильной постановкѣ вопроса. Указавъ задачу философіи въ познаніи сущаго, г. Слѣпцовъ, упустивъ изъ вида распаденіе философіи на отдѣльныя науки и перенесеніе изученія познанія въ одну изъ этихъ наукъ, утверждаетъ, что философія имѣетъ и другую задачу: опредѣленіе границъ

доступныхъ человѣческому познанію. Сопоставляя объ эти задачи и видя, что правильное рѣшеніе второй вовсе отнимаетъ raison d'être у первой, г. Слѣпцовъ усматриваетъ въ этомъ явленіи саморазложеніе философіи, а потому и говоритъ: «дѣло философіи окончено: опредѣливъ границы, доступныя человѣческому знанію, она совершила все, что могла». Послѣ исчезновенія философіи мѣсто ея заступаетъ наука, «которая лучше соглашается знать сравнительно-немногое, лишь бы это немногое можно было доказать неопровержимо; наука поэтому и ограничилась предметами, доступными человѣческому изслѣдованію». Намъ незачѣмъ настаивать теперь, что границы человѣческаго познанія опредѣляетъ не философія, а теорія познанія, и что задачею своей она ставитъ не одно только это опредѣленіе, но и изслѣдованіе акта познанія въ самомъ широкомъ смыслѣ. Огульному осужденію вмѣстѣ съ философіей она поэтому не подлежитъ. Выработавъ же взглядъ на познаніе, какъ на приспособленіе мышленія къ явленіямъ дѣйствительности, установивъ различеніе представленій и понятій и указавъ на отношеніе пониманія къ знанію, гносеологія сохранила отъ крушенія не только себя, но и философію,—не ту, конечно, которая бьется надъ постиженіемъ бытія и разыскиваніемъ сущностей, но ту, которая, не обособляясь въ качествѣ особой спеціальной науки, неотдѣлима отъ научнаго познанія и всегда служитъ показателемъ его роста и охвата, какъ мы то и указывали уже ранѣе *).

Отрицаніе философіи, какъ отдѣльной науки, не есть еще отрицаніе самой философіи. Философія, переставъ играть обманчивую роль отдѣльной отрасли познанія, становится тѣмъ, чѣмъ она и должна быть — знаніемъ общимъ; она проникаетъ во всѣ отдѣльныя дисциплины, всѣмъ имъ сообщаетъ присущій ей духъ и такимъ образомъ завершаетъ то движеніе, которымъ испытующая критическая мысль свершала процесъ своего развитія она придаетъ окончательную устойчивость тому положенію, которое

*) См. статьи наши въ журналѣ «Дѣло» 1883 г. и «Сѣв. Вѣстн.» 1886 г., перепечатанныя въ «Этюдахъ и очеркахъ», стр. 276—291 355—363.

подготовлялось всѣмъ предшествовавшимъ развитіемъ и которое, ранѣе окончательнаго распаденія всей совокупности познанія на отдѣльныя самостоятельныя группы, было невозможно, немыслимо. Въ этомъ смыслѣ идея научной философіи нова, въ этомъ смыслѣ она исключаетъ, какъ излишнее и безполезное, все, принимаемое за истину мистиками и метафизиками. Старое остается, но остается какъ пережитое: горитъ электрическій свѣтъ, но горитъ и лучина, и если есть люди, которые продолжаютъ спорить о томъ, откуда дымъ и копоть—это ихъ дѣло. Въ этомъ именно смыслѣ и имѣетъ значеніе новое воззрѣніе на философію: оно ново, такъ какъ исключаетъ излишнее и безполезное повтореніе уже извѣстнаго.

Не надо упускать изъ вида, притомъ же, что указываемый нами переходъ къ устойчивому состоянію, выражающійся новымъ воззрѣніемъ на характеръ и значеніе философіи, совершился при такихъ условіяхъ, которыя тоже можно назвать совершенно новыми. Дѣло въ томъ, что вслѣдъ за разложеніемъ первоначальной общей науки философіи на рядъ отдѣльныхъ, спеціальныхъ наукъ, наступила пора уразумѣнія взаимной связи, существующей между всѣми этими науками, и дѣятельное искаціе тѣхъ общихъ элементовъ, которые обосновываютъ эту связь. Это движеніе, не совсѣмъ точно названное возвращеніемъ наукъ къ философіи, было вѣрнѣе возрожденіемъ философіи на почвѣ положительнаго знанія, процессомъ образованія новой философіи, не предшествующей наукамъ и предвосхищающей ихъ истины, а завершающей ихъ работу и увѣнчивающей ихъ зданіе. Это движеніе совершалось, какъ то и очевидно, въ непосредственномъ взаимодѣйствіи съ указанною выше эволюціей, руководимою элиминаціоннымъ методомъ, такъ какъ имѣло мѣсто въ пору установленія теоріи познанія, какъ самостоятельной дисциплины, и, слѣдовательно, не могло уже, какъ то было въ доброе старое время, отдаваться произволу личнаго творчества или увлекаться мечтательностью. Такимъ образомъ, выработка «чистаго опыта» и достигнутое при ея посредствѣ «устойчивое состояніе» научной философіи совершилось при такихъ условіяхъ, которыя дружно способствовали намѣченному результату

и своею помощью гарантировали его успѣшность. Эта «новость» положенія научной философіи и выражается въ противоположеніи ея старой метафизикѣ не только по постановкѣ вопросовъ, методу ихъ разработки и общему духу и характеру,—на что столько разъ было уже нами указано, но и по ея исходной точкѣ, не имѣющей ничего общаго съ тою пустотой, къ которой отправлялъ Фауста Мефистофель,—пустотой, гдѣ нѣтъ ни опоры, ни почвы, гдѣ царитъ созерцаніе и гдѣ пребываютъ таинственныя «матери», которыя «однѣ лишь схемы видятъ». Въ исходной точкѣ новой философіи нѣтъ ничего загадочнаго, никакой «бездны пустоты безъ очертанія и границъ», а только опытъ и методическое мышленіе. Изъ мистической пустоты, обманчивой и скучной, мысль ринулась въ полноту жизни, въ полноту фактовъ, и твердо установилась на незыблемомъ берегѣ дѣйствительности.

Рѣшая вопросъ о томъ, «что такое научная философія», мы, само собою разумѣется, держались въ области чистой теоріи; но результатъ, полученный нами, переходитъ ея предѣлы: онъ указываетъ на «законченное міровоззрѣніе» и сводитъ его на совокупность отдѣльныхъ дисциплинъ, сознающихъ свою взаимную связь и проникнутыхъ, благодаря этому сознанію, духомъ цѣльности и общности, иначе говоря — духомъ философскимъ. Понимая, такимъ образомъ, воздѣйствіе на «законченное міровоззрѣніе» выясненной нами «элиминаціи» философіи, какъ отдѣльной науки, мы утверждаемъ тѣмъ самымъ, что «научная философія», какъ мы ее разумѣемъ, обнимаетъ въ полной мѣрѣ «понятіе о работѣ, которую можетъ производить человѣкъ», т.-е. обнимаетъ не только умозрѣніе, но и дѣйствіе или, выражаясь языкомъ Ог. Конта, не только «область науки, но и область искусства». Неразрывную связь этихъ двухъ областей прекрасно показалъ одинъ изъ представителей научной философіи въ Германіи—проф. Гарнакъ—въ рѣчи, произнесенной имъ въ обществѣ естествоиспытателей въ Дрезденѣ, въ 1885 году. Въ прежнее время думали,—говоритъ Гарнакъ,—что сущность природы всецѣло представляется нашимъ мышленіемъ, такъ что

въ нашемъ разумѣ не оказывается никакого различія между міромъ и его отобразомъ. Дѣйствительное изслѣдованіе раскрываетъ намъ, напротивъ того, предѣлы нашего познанія, показывая, съ одной стороны, твердо установленныя предрасположенія нашего разума, и оставляя—съ другой—мнимые основные вопросы познанія безъ отвѣта. По этой причинѣ значеніе всего, вырабатываемаго наукою, можетъ быть измѣрено лишь пріобрѣтеннымъ имъ вліяніемъ на дѣятельную жизнь человѣчества, на жизнь, во всемъ объемѣ ея разнообразныхъ духовныхъ и тѣлесныхъ потребностей, во всей ширѣ ея общественности. И стоитъ только сознанію этой служебной роли науки понизиться, стоитъ только взять перевѣсъ надъ нимъ склонности къ отвлеченному познанію истины, какъ немедленно же обозначается печать безплодія и безпорядочности въ научныхъ изысканіяхъ. Великою истиною слѣдуетъ поэтому признать парадоксальное мнѣніе Гёте, что «auch in den Wissenschaften kann man eigentlich nichts wissen, es will immer gethan sein» *).

Тѣсная связь между наукою и искусствомъ, вытекающая изъ самаго понятія научной философіи, требующей взгляда,

*) Axel Harnack. «Naturforschung und Naturphilosophie». Leipzig, 1885. S. 9. Отмѣтимъ при этомъ случаѣ, что Гёте не разъ высказывался о значеніи дѣятельнаго начала въ жизни человѣка и соотношеніи этого начала къ познанію. Въ «Вильгельмѣ Мейстерѣ» онъ говоритъ, что «дѣятельность есть назначеніе человѣка, и что всякій невольный досугъ долженъ быть употребляемъ для болѣе яснаго познанія внѣшняго міра въ видахъ облегченія грядущей дѣятельности». Въ письмахъ своихъ онъ очень часто возвращается къ этой темѣ; но нигдѣ не выразилъ онъ своей мысли такъ ярко, какъ въ «Фаустѣ», гдѣ онъ иронизируетъ надъ метафизикой, которая даетъ отвѣты на все — «доступно-ли это, недоступно-ль намъ», и надъ пустымъ гелертерствомъ, которое всегда вытѣсняется, когда человѣкъ начинаетъ заниматься дѣломъ и перестаетъ «болтать по пустякамъ»; и гдѣ онъ со свойственною ему поразительною энергіею высказываетъ «послѣднюю и святую мысль» Фауста о великомъ значеніи вѣчной и неустанной борьбы и ея плодотворности.

Что же касается до тлетворнаго вліянія на дѣятельное начало метафизическихъ спекуляцій, то яркій примѣръ его представляетъ Edwin Hatch въ его «Hibbert Lectures, 1888». См. въ особенности окончаніе V главы.

устремленнаго на цѣлое, даетъ намъ идею объ объемѣ всего содержанія философской доктрины, охватывающей всю совокупность дѣятельности, на которую способенъ человѣкъ. Этика, въ области которой именно и лежитъ переходъ отъ мышленія къ дѣйствію, долго, считалась, а иными и теперь считается, чуть не открытою дверью для метафизики. Ключъ отъ этой двери находится, однако же, не здѣсь, а опять-таки въ рукахъ теоріи познанія, отъ достоинства которой и зависитъ, или охранить этотъ входъ, или оставить его открытымъ. Этика, какъ бы мы ни разсматривали ее какъ науку, или какъ искусство, т.-е. съ теоретической или съ практической ея стороны, нисколько въ метафизикѣ не нуждается; не обходится же она безъ метафизики только у такихъ мыслителей, которые вездѣ, а не въ одной только этикѣ, видятъ заопытныя умозрѣнія и чуть не во всякомъ отвлеченномъ понятіи усматриваютъ переходъ къ трансцендентному. Представители научно-философской школы ясно показали, что сведенія къ условіямъ общественности совершенно достаточно для уясненія происхожденія, послѣдовательнаго развитія и условій дальнѣйшаго споспѣшествованія человѣческой нравственности. Только слѣдуя принципу «антропономіи» нравственныхъ началъ, возможно надѣяться на наступленіе «regnum hominis» въ высшемъ значеніи этого понятія, предполагающемъ власть человѣка и надъ природою, и надъ самимъ собою *). Что же касается до основоположеній этики, какъ науки, т.-е. тѣхъ именно принциповъ, которые должны лечь въ основаніе этики, какъ теоріи искусства, то она,

*) Мы имѣемъ въ виду Лааса и Фольца, на сочиненія которыхъ было нами указано ранѣе, и кромѣ того еще на книгу Гижицкаго (Giżycki) «Moralphilosophie», Leipzig, 1888, и брошюру Чески (G. Cesca), сотрудника Авенаріуса—«La morale della filosofia positiva. Verona-Padova», 1866. Отмѣтимъ при этомъ случаѣ и сочиненія еще двухъ писателей—одного англійскаго, другого американскаго—во многихъ отношеніяхъ близкихъ по своимъ воззрѣніямъ къ научно-философской школѣ, а именно J. Cotter Morison. «The Service of Man». London, 1887, и Lester Ward. «Dynamic Sociology». New-York. 1883. Лестеръ Уордъ особенно настаиваетъ на экономизаціи психическихъ силъ и цѣлесообразномъ ихъ направленіи и очень обстоятельно выясняетъ необходимость замѣны въ об-

«подобно всякой другой положительной наукѣ, не считаетъ для себя возможнымъ переступать за предѣлы опыта и отрѣшаться отъ всего того, что констатировано согласно законамъ опыта, и такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ она не притязаетъ на познаніе первоустоя (Urgrund) коррелативнаго бытія, то и устраняетъ изъ своей области всѣ тѣ вульгарные психологическіе мотивы, на которыхъ построяется ходячая обыденная мораль, и отрицаетъ необходимость обоснованія своей устойчивости на опорѣ о какую бы то ни было метафизику». По этой причинѣ, «этика, какъ наука, должна ограничиться раскрытіемъ психологическаго и историческаго происхожденія и основанія нравственныхъ законовъ и указаніемъ на пути, ведущіе къ ихъ развитію». И въ самомъ дѣлѣ, продолжаетъ далѣе Лаасъ, ссылаясь на Ульрици, нелѣпо выводить достовѣрное изъ недостовѣрнаго и ясное изъ неяснаго, а само по себѣ лишенное прочности зданіе укрѣплять на зыбкомъ, совершенно не-

---

ласти искусства объективной точки зрѣнія науки точкою зрѣнія субъективною. Субъективная точка зрѣнія, какъ показалъ Лестеръ Уордъ, имѣетъ руководительное значеніе въ области научной теоріи человѣческой дѣятельности или дѣйственной соціологіи, какъ ее называетъ Уордъ, и приводитъ къ уясненію тѣхъ основоначалъ этой дѣятельности, безъ которыхъ роли человѣка по отношенію къ природѣ пришлось бы остаться навсегда пассивной. Лестеръ Уордъ настаиваетъ на примѣненіи строго-телеологическаго метода воздѣйствія на природу, долженствующемъ поднять человѣка на высоту владыки природы и установить, вмѣсто шаткаго и медленнаго прогресса, подвигающійся твердою поступью прогрессъ сознательно-телеологическій. Философіи, освобожденной отъ туманныхъ метафизическихъ умствованій, предстоитъ обширная и трудная работа воздѣйствія на жизнь и всесторонняго улучшенія ея. Ей предстоитъ, какъ то прекрасно выяснилъ Уордъ, провести идею необходимости перемѣнъ во всѣхъ сферахъ жизни, внушить предпочтеніе производительной умственной работы надъ губительною гимнастикой мысли и возбудить вкусъ къ изученію вопросовъ, способствующихъ человѣческому благу, вытѣсненныхъ теперь пустымъ многознаніемъ, и повліять на устраненіе изъ области общественныхъ отношеній преобладанія традиціи и рутины. Теоретическая мысль, которая потеряла бы изъ вида эту основную жизненную цѣль свою, оказалась бы неспособною пользоваться своими обновленными силами и снова превратилась бы въ пустое и безплодное созерцаніе.

прочномъ грунтѣ. Вѣдь если наши этическія понятія нуждаются въ болѣе прочномъ обоснованіи и болѣе ясномъ формулированіи, то все же они достовѣрнѣе и очевиднѣе основаній и положеній метафизики» *).

Итакъ, всѣ отдѣльныя научныя дисциплины, а также и всю область человѣческой дѣятельности, охватываемую теоріею искусства, заключаетъ въ себѣ и проникаетъ собою общее понятіе научной философіи, — всѣхъ ихъ, какъ совокупность ученій о единичномъ, имѣетъ она въ виду, не теряя вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣлое изъ области своего кругозора и постоянно привлекая это цѣлое къ изученію единичнаго. Поступая такъ, она слѣдитъ и за мышленіемъ человѣка, и за его дѣятельностью, и видя въ послѣдней завершеніе перваго, не уносится въ сферы безпечальнаго созерцанія, но всегда остается живымъ познаніемъ, наукою жизни. Въ этой ея постановкѣ осуществляется завѣтъ перваго ея провозвѣстника, утверждавшаго, что «человѣкъ долженъ внимать голосу природы, который, повелѣваетъ ему подчиниться стремленію къ знанію, и вмѣстѣ съ тѣмъ требуетъ, чтобы знаніе это было человѣчнымъ, чтобы оно никогда не теряло прямого отношенія къ дѣйствію и общественности. Я воспрещаю абструзныя мысли и глубокія изысканія, гласитъ природа; я строго караю неповинующихся мрачною задумчивостью, въ которую будетъ повергать ихъ усугубленіе въ мысляхъ, безконечною недостовѣрностью, въ которой отвлеченныя умозрѣнія будутъ держать ихъ, холоднымъ пріемомъ, съ которымъ будутъ встрѣчены всѣ ихъ мнимыя открытія. Будь философомъ, но и со всею философіею твоею оставайся человѣкомъ» **).

УЧЕТ 1935 г.
Философии
№
БИБЛИОТЕКА

*) Laas. o. c. S. 93—97.

**) D. Hume. «An enquiry concerning human understanding». Ed. of Green and Grose, p. 6.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		стр.
Глава I.	**Введеніе**	1
» II.	**Огюстъ Контъ и его школа**	19
» III.	**Англійскій позитивизмъ.** 1. Дж. Ст. Милль.	75
»	2. Бэнъ, Гёкели и др.	89
» IV.	**Нѣмецкая научная философія.** 1. Оцѣнка Контовскаго позитивизма въ Германіи	107
	2. Карлъ Гёрингъ.	114
	3. Гаральдъ Гёфдингъ.	124
	4. Алоизъ Риль.	134
	5. Эрнстъ Лаасъ.	146
	6. Гансъ Фольцъ	173
	7. Эрнстъ Махъ.	181
	8. Рихардъ Авенаріусъ.	196
	9. Іозефъ Петцольдтъ.	229
» V.	**Заключеніе**	239